**Андрей ЛАЗАРЧУК**

**СОЛДАТЫ ВАВИЛОНА**

*Если бы этот мир создавали мы с тобой, он выглядел бы лучше, не правда ли?*

*Э.М.Ремарк*

**НИКА**

Горели леса, и в маревом безветрии отстоявшийся дым сплывал в долину, в город, растекался по улицам, въедаясь в стены, одежды и лица. Днем небо обращалось в раскаленный алюминиевый колпак, на котором неясным бликом обозначало себя солнце. Кроваво-черные закаты пугали. По ночам наступало изнеможение — не от жары, а от несбывшегося ожидания прохлады. На рассвете происходила слабая подвижка воздуха, но тем все и кончалось. Соседи говорили о нашествии крыс, но Ника пока ничего такого не видела — кроме одной полувареной крысы, однажды переползшей ей дорогу. Ника вскрикнула от отвращения и хотела чем-нибудь в нее запустить, но ничего подходящего не было — а крыса остановилась, посмотрела через плечо на Нику долгим запоминающим взглядом и скрылась в дикой траве давно не стриженного газона. Несколько дней Ника не могла отделаться от гадкого привкуса этой встречи, но потом все стерлось. Иногда с наступлением темноты начинали выть собаки, все окрестные собаки, хором и вперебой, и тогда Сид просыпался и плакал, и не оставалось ничего другого, как брать его на руки и включать кондиционер. Она носила Сида и напевала ему на ухо: «А по морю, морю хмурому корабли плывут черемные, Хельга-конунга кораблики, к граду-то Константинополю…» Грегори приедет и будет ее ругать, и будет прав, потому что сквозь воркование кондиционера доносятся позвякивания, будто проваливается монета, и на счетчике арендной платы меняется цифра — а Сид должен засыпать без посторонней помощи, без всяких телячьих нежностей, потому что только так воспитывается настоящий мужчина… это так, это правильно, но как же можно не взять ребенка на руки, когда по всему поселку воют, и воют, и воют собаки, и тебе самой жутко, и надо стать чьей-то защитой, чтобы побороть эту жуть? Она обволакивала Сида собой и, наконец, он засыпал, а она еще долго ходила по комнате с ним на руках, оберегая от всех и всяческих напастей. Потом, конечно, засыпала и она.

Снилось ей только небо.

Слабые и прозрачные руки ловят восходящие струи и легко опираются о них, заставляя тело, которого как бы и нет, лениво скользить косо вверх, поворачивать, описывая пологую спираль и подставляя нежному солнцу то один, то другой бок. Восходящие струи невидимы, но руки сами чувствуют их и тянутся к ним; переход со струи на струю вызывает покачивание и легкий озноб. Земля глубоко внизу, раздавленные силой тяжести кварталы, голубовато-серая зелень городских больных деревьев, широкая полоса красного песка и красно-коричневая извитая лента реки, и где-то далеко — край моря… все похоже на утонувший город, видимый сквозь невыносимо прозрачную воду. И обязательно, рано или поздно, подступает: воздух из опоры превращается в пустоту, и — миг острого ужаса…

Липкая жара изводила. Ника принимала душ раз по пять в сутки — как только позволял Сид. Но тепловатая жидкость, текущая из труб, ни по температуре, ни по вкусу не напоминала воду. Это было так же тоскливо, как вой по ночам.

Дважды в день, утром и вечером, она выносила Сида на лужайку перед домом и пускала поползать по травке в тени выгоревшего полотняного навеса. Несмотря на запрет, она поливала траву, и санитарный инспектор Бенефициус знал это, но старался не замечать и не реагировал на нашептывания старухи Мальстрем. Бенефициус, сорокалетний лысоватый толстый сердечник, был давно и безнадежно влюблен в Нику. Никто, кроме них двоих, об этом не знал. Иногда он подходил, когда Ника пасла Сида, и рассказывал что-нибудь: что эпидемия среди крыс, как, наконец, выяснилось, не перекинется на людей, и то, что воду для ребенка следует сначала заморозить, а потом использовать только верх ледышки, и то, что в будущем году, может быть, откроют береговую линию, и тогда можно будет если не купаться, так хоть лежать вблизи воды, а это уже много значит… Он смотрел на Нику строгими глазами, и соседи думали, что он выговаривает ей за лужайку, а Ника в ответ кивала и виновато улыбалась, и казалось, что она обещает никогда-никогда… Изредка, раза два в неделю, звонил Грегори и, экономя, торопился быстро-быстро сказать все, и лицо его от этого делалось напряженное и чужое. Обычно он звонил с заправочных станций, последний раз — откуда-то из пустыни, за спиной его были серые, сточенные ветром песчаные холмы и серые жесткие кусты без листьев. Он сказал, что получил очень выгодный фрахт с премией за скорость и что теперь уж точно вернется домой, потому что устал и соскучился. Ждать его надо было со дня на день. Впрочем, бывало, что на полдороги он урывал еще один выгодный фрахт… Денег все равно хватало только-только.

Бенефициуса звали Лотом. Лот Бенефициус. Он очень смущался, когда называл свое имя.

Ника почувствовала приближение — непонятно как, но почувствовала. Сид, голенький, спал под марлевым пологом и крутился во сне. По раме показывали «Коктейль», и Ника, нацепив на ухо ракушку, ждала, что дадут хотя бы фрагменты из вчерашней демонстрации мод — она всю неделю хотела ее посмотреть, но Сид проснулся и раскапризничался, пришлось бросить все и укачивать, и петь, и носить на руках, успокаивая. Он никак не хотел возвращаться в кроватку, отбивался, плакал, и только через час устал, сдался и уснул, обиженный на всех. И вот сейчас Ника вполуха слушала музыку и петушиный голос конферансье Карлоса, отпускающего бессмысленные шутки — и вдруг встала и шагнула к двери, еще не понимая, кто ее позвал. Постояв и ничего не увидев, она сунула ракушку в карман шортов и вышла из дому. Все вокруг было черным или желтым. Куда-то заторопилось сердце. Ника дошла до калитки и остановилась. К угнетающей духоте добавился странный внутренний жар. Через несколько минут из-за поворота пустынной улицы появилась черно-желтая морда «чудовища» — солнце плавилось в ветровом стекле — и возник его низкий рык, знакомый, родной, свой — Ника вытянулась в струнку и неподвижно ждала, когда этот дредноут приблизится, запыхтит, сбрасывая обороты, отдуется сжатым воздухом тормозов и намертво станет, горячий, обратив к ней слепой профиль кабины, и с той стороны хлопнет дверца, и возникнут шаги — два, три, четыре шага, — и Грегори, лохматый, клетчатый, широкий, весь в облаках сложных машинных запахов Грегори возникнет из-за… Нику подбросило в воздух — и, пока она летела, рот Грегори все шире и шире растягивался в улыбке, а руки раскидывались крестом, посадочным знаком "Т", а из распахнувшейся рубашки перла буйная растительность, и в эту-то растительность мягко приземлилась Ника, обхватив руками и коленями все, что можно было обхватить — и целуя беспрестанно эту жесткую, колючую и ненаглядную морду…

— Ну-ну-ну, — довольно заворчал Грегори, подхватывая Нику своими лапищами. — Я пыльный, я соленый… — не отпуская Нику, он легко зашагал к дому. — Сейчас мне кое-кто ванну соорудит, бельишко свежее даст…

— Что, только бельишко?..

— Да ну что ты, если бы только бельишко, и базару бы не было, я же кобелина, ничего не поделаешь…

— Кобелина, небось, девок полная кабина была… там, за поворотом только и высадил, знаю я, что на дорогах делается…

— Ничего ты не знаешь и не представляешь даже, у тебя устарелые сведения, едешь вот так ночью, фарами светишь — а через каждые сто метров по девке, представляешь, девки, девки, девки, и, что характерно, все стоят раком, ничего себе, а?

— Какие ужасы ты рассказываешь, — Ника потерлась носом об его плечо.

— Пусти, я ванну… — они были уже в доме.

Она отрегулировала воду: тридцать градусов, как он любит, — бросила в воду таблетку фитона и слепо смотрела, как тугая струя взбивает зеленоватую пену. Дышалось ртом и, как от щекотки, подбирался и втягивался живот, и Ника присела рядом с ванной, прижалась к ней боком…

Вошел Грегори в трусах, Ника засмеялась и крепко зажмурилась — он до сих пор стеснялся раздеваться при ней. Потом раздался громкий плеск и фырканье. Ника открыла глаза: Грегори стирал ладонью пену с лица.

— Черт-те что, — сказал он. — Как из огнетушителя… Да, слушай, а чем это таким странным в коридоре пахнет?

— Не знаю, — сказала Ника. — Не чувствую.

— Вроде как чесноком — и чем-то еще.

— Ничего там нет.

— Ну, показалось. Сидди давно спит?

— Больше часа.

— Надо поторапливаться… — Грегори стал быстро тереть себя мочалкой.

— Задерни занавеску, я под душем ополоснусь. Все, завтра приварю к «чудовищу» ванну и бак для воды — невыносимо…

Ника перепорхнула в спальню, расстелила чистую простыню, вернулась к двери, встала, прислонясь к косяку. Ежась, провела рукой по плечу, груди, животу, бедру. Все на месте? — ехидно спросила сама у себя. На месте… Похотливая кошка… А хотя бы? Почему-то медленно и тяжело стала открываться дверь ванной. Открылась. Закутанный с головой в простыню, вышел Грегори. У него была странная, какая-то одеревенелая походка. Люди так не ходят. Он приближался, и Ника чувствовала, как ее охватывает настоящий страх. Потом простыня соскользнула с головы. Лицо Грегори было синевато-белым, и наискось шла, вскипая кровью, рубленая рана… Он сделал еще шаг, и Ника, теряя себя, опрокинулась и полетела в глубокую звенящую темноту…

Она сидела на подоконнике, обхватив руками колено. Ей было уже почти хорошо. Почти хорошо… Она усмехнулась. Лучше сказать: почти не больно. Почти спокойно… И очень досадно. Прошли все чувства. Как всего этого жаль: ожидания, радости, желания — всего. Ничего не осталось. Рубец. Обидно… За окном с наступлением сумерек летали бессмысленными кругами какие-то новые мухи: медленные и крупные, как шершни, но безвредные. Раньше их не было. Впрочем, раньше многого не было… За спиной возникли мягкие шаги: Грегори опять шел извиняться. Ника обернулась. Грегори был голый по пояс, в каких-то немыслимых шароварах и красном тюрбане. В руках он держал блюдо с персиками.

— Зернышко… — с придыханием начал он; на этот раз голос был приторно-нежным. — Зернышко мое родное, ну, прости ты дурака.

— Дурак и есть, — сказала Ника. — Господи, какой ты дурак! Я ведь не за это сержусь… — Она сама не могла понять, за что сердится. За пропавшее настроение? Не совсем, что-то еще… На миг ей показалось, что она сама — уже из последних сил — расковыривает обиду. — Я ведь и не сержусь даже, не то слово… а, да что с тобой говорить…

— Не говори, госпожа! — ослом взревел Грегори. — Не надо слов, пусть все нам скажет музыка!

Он махнул рукой в сторону рамы, экран осветился, из глубины его поплыли цветные шары, которые, лопаясь, издавали ксилофонные звуки. Это был, наверное, какой-то новый тоник, он привез, он знает, что она это любит и коллекционирует — но вот сейчас, сию минуту это оказалось поперек всего.

— Выключи, — сказала Ника.

Грегори сделал ладонью движение, будто протирал стекло, и экран погас.

— Тебя не развеселить, наверное, — сказал Грегори.

— Так — нет, — сказала Ника. — Знаешь что: ты постереги пока Сида, а я прогуляюсь… проветрюсь.

— Пешком? — спросил Грегори.

— Да. Впрочем, нет: если ты позволишь, я возьму мотороллер.

— Возьми. Все так глупо получилось…

— Ладно, — сказала Ника. — Я проветрюсь, и все пройдет. Ты же не хотел, я понимаю.

— Я думал, ты… Нет, я просто дурак и не думал ни о чем.

— Где эта гадость? Дай, я выброшу.

— Я уже сунул ее в измельчитель.

— Ты ей отомстил?

— Да. Стер в порошок.

— Туда ей и дорога. Какая же сволочь придумала это делать?

— Да вот… нашлись. Ладно, ты приезжай скорей.

— Проветрюсь и приеду. Ты жди.

Крошечный мотороллер был закреплен на кузове «чудовища» — как шлюпка на борту лайнера. Ника шепнула пароль в замок и махнула рукой: вниз. Зашуршала лебедка. И что это я собралась делать, мельком подумала, удивляясь себе, Ника. Мотороллер опустился к ее ногам. Ладно, все равно. Сиденье почти горячее… Она тронула пальцем глазок ключа. Загорелись контрольные лампочки, приборный экранчик, фара. Ника мягко послала мотороллер вперед. Дорога была пуста. Можно погасить фару. Светло. Все еще светло. Мотор работал беззвучно, только легкая вибрация ощущалась подошвами. У поворота на Загородное шоссе ее обогнал белый «Ниссан». Сидящий за рулем толстяк послал ей воздушный поцелуй. Ника отвернулась. Грегори говорил, что все такие микроавтобусы забрала себе служба эрмеров. Наверное, это тоже эрмеры. «Ниссан» свернул налево, поэтому Ника поехала направо — к центру.

До самого переезда дорога была скучная: пустырь направо и налево, справа пустырь кончался полутемными громадами корпусов авиазавода, а слева тянулась, и тянулась, и тянулась черная полоса стены, и за стеной все тоже было черное, и лишь иногда на фоне сиреневато светящегося неба возникали невразумительные силуэты.

Наконец, Ника нырнула в гудящий туннель — поверху, похоже, шел тяжелый состав — и вынырнула совсем в другом месте, среди домов и огней. Здесь было оживленное движение и множество людей на тротуарах — и, естественно, множество желающих перебежать улицу не там, где положено — поэтому приходилось держать ухо востро и не зевать по сторонам. Потом Нике надоело ехать в общем потоке, и она свернула в показавшийся уютным переулок. Впрочем, ничего уютного и интересного в переулке не оказалось, зато он вывел ее в совершенно незнакомое место: к солидного размера пруду с островом посередине. На острове росло большое дерево. Удивляясь, что никогда не была в таком приятном месте, Ника объехала пруд кругом и решила, что пора возвращаться — но, очевидно, попала не в тот переулок. Здесь были старые двухэтажные домики, собранные в маленькие и очень зеленые квартальчики, и под колесами вдруг оказался не асфальт, а каменная мостовая. Понимая, что окончательно заблудилась, Ника решила развернуться и поискать дорогу назад от пруда, как вдруг увидела знакомую машину. Белый «рейнметалл» с красным крестиком под ветровым стеклом и до сих пор не покрашенным левым крылом стоял двумя колесами на тротуаре у подъезда. Сама не зная зачем, Ника остановила мотороллер, обошла машину и поднялась на крыльцо. Четыре кнопки звонков, все разные, и возле одной — медная табличка: «Д-р медицины Л.Л.Бенефициус». Странно, подумала Ника, доктор медицины — а работает санитарным инспектором. Впрочем, кого сейчас этим можно удивить? Она коснулась пальцами таблички. Табличка оказалась неожиданно холодной. Задержав руку и чувствуя, как эта прохлада проникает в пальцы, Ника подумала: а что будет, если позвонить?.. — но мысль эта оказалась сухой, пустой и никчемной. Что-то новое, большое и пока совершенно непонятное переполняло ее. Бездумно неся это в себе, Ника спустилась — три ступеньки — вновь обогнула машину — «рейнметалл» показался ей чудовищно громадным — оседлала мотороллер и позволила ему везти себя. Минуты через две он вывез ее к ослепительно блестящему «Золотому веку» — целому кварталу ресторанов, ночных магазинов и клубов, кинотеатров, театров, голо, а также прочих «ристалищ и развлекалищ», как говаривал Грегори. Раньше они нередко совершали рейды по здешним подвальчикам и этажам. Раньше, до Сида, и пока Грегори мог выступать со своим номером, зарабатывая втрое против нынешнего… Здесь было светлее, чем днем. Рекламы, фонари и витрины. У полупустого уличного кафе Ника затормозила. Остро захотелось чего-нибудь сладкого. В кармане лежала смятая десятка, трехдинаровая монета из черного с золотыми точками пластика и несколько стареньких «никелей». Она взяла бутылку «Трокто» и три пирожных. «Трокто» рекламировали повсюду: полезен в любых количествах! Дышите желудком! Молодейте! По вкусу напиток походил на микстуру от кашля, которой Нику поили в детстве. Пирожные казались большими, но исчезли мгновенно. Выходя на тротуар, Ника заметила ночную галантерейную лавочку. На прилавке лежало все, что можно отнести к галантерее, в том числе и ночной, и кое-что сверх того: например, очень похожий на настоящий игрушечный револьверчик. Сколько это стоит? — спросила Ника продавца, смуглого мальчика. Для вас — даром! — воскликнул продавец. Всего пятнадцать динаров! У меня только десять, огорчилась Ника. Ну, если вы добавите улыбку… Ника охотно улыбнулась. А вы не торгуете этими страшными масками? — спросила вдруг она. Нет, сказал мальчик, я ими не торгую, я их боюсь. Спасибо, сказала Ника. А можно, я вас за это поцелую? О-о-о!.. — мальчик был наверху блаженства. Дело в том, сказала Ника, что я их тоже боюсь. Очень-очень боюсь. Они еще поулыбались друг другу, пока Ника пыталась засунуть револьвер в карман шортов. Карман был слишком узкий и тесный. Наконец, это получилось. Вот теперь можно возвращаться, подумалось ей. Ну, я его напугаю, я его так напугаю…

Сид вдруг заплакал — громко, навзрыд.

— О, Господи, — сказала Ника.

— Не обращай внимания, — сказал Грегори. — Поорет и успокоится.

— Он собак боится, — сказала Ника.

— Я тоже не люблю, когда воют, — сказал Грегори. — Но должен же он привыкать.

Сид уже не плакал — кричал.

— Нет, — Ника села. — Как он кричит. Нельзя же так.

— Будем бегать к нему — он привыкнет и будет реветь постоянно. Пусть выплачется один раз.

Минуты две они пытались не обращать внимания на крик.

— Сколько же у него сил… — пробормотал Грегори. Похоже, ему становилось не по себе.

— Я схожу, посмотрю, — сказала Ника. — Вдруг что-нибудь…

Крик перешел в какой-то хрип.

— Я сам, — сказал Грегори. Он натянул трусы и шагнул к двери. — Я ему покажу… — и Ника поняла, что Грегори испуган.

На каком-то немыслимом звуке хрип оборвался, и слышны были только удаляющиеся шаги Грегори, скрипнула дверь… Ника, замерев, прислушивалась. Ничего. Ни звука. Как долго… Она вскочила, стала искать халат. Халата не было, под руку ей попались шорты, она натянула шорты, ни майки, ни рубашки — плевать… Свет в коридоре горел, и дверь в детскую стояла полуоткрытой. Ника вдруг вспомнила об игрушечном револьверчике, вытащила его и маленькими шажками приблизилась к двери. Вообще у Грегори может хватить ума пугнуть ее сейчас из-за угла… Грег! — позвала она. Молчание. Нет — короткий звук, будто проволокли что-то тяжелое. Ника заглянула в дверь.

Света из коридора в комнату попадало достаточно, чтобы увидеть все — и ничего не понять. Где прямой свет ложился на пол, ковер был чист, но по сторонам от светлой полосы копошилось что-то темное, по колено и выше, похожее на плотную пену, и вдруг там, под пеной, что-то дернулось, пена прорвалась, на миг показалась костяная рука, судорожно сжалась и исчезла; и снова звук, будто рывком проволокли плотную тяжесть. Левее, у стены, стояла кроватка Сида, и в кроватке копошилась эта же пена, а за кроваткой Ника увидела будто бы наклонившегося вперед человека, нет, не человека — что-то округлое, плотное, сжатое, похожее на боксерскую перчатку в человеческий рост, и в следующий миг то, что там было, распрямилось, и Ника поняла, что оно на нее смотрит. Она стояла, оцепенев, не в силах ни шевельнуться, ни крикнуть, потому что крикни она или шевельнись — смерть, нет, что-то еще более страшное и более неотвратимое… То, что там стояло, с тошнотворным чмоканьем выдвинулось из-за кроватки и вдруг раскрылось, именно как перчатка, и из него выпал, тут же исчезнув в пене, крошечный скелетик. Ника отшатнулась, и потому метнувшиеся в нее раскручивающиеся спирали ее не достали: одна почти задела лицо, а другая ударила в револьверчик и с нечеловеческой силой рванула его на себя. Хрустнули пальцы. Ника попятилась, не в силах повернуться и бежать. В темноте усилилась возня, раздался хруст, будто давили стекло. Продолжая пятиться, не отрывая глаз от страшных дверей, она дошла до спальни — и вдруг поняла, что и в спальне кто-то есть. Ее швырнуло из дому — и, воя, она побежала, не разбирая дороги, не понимая, кто перед ней, уворачиваясь от людей, от рук, и когда ее уже схватили и держали, она продолжала бить, кусать, царапать — и выла, выла… ей сделали укол — она поняла, что это укол — и тут же руки и ноги перестали слушаться ее, рот наполнился слюной, а на лицо упало что-то липкое, душное, жаркое — смерть… и она не захотела сопротивляться.

А потом — сразу — она открыла глаза. Очень белый свет, и шум в ушах, как далекая музыка… и тошнит. Что-то было? И вообще — где я? Она подняла голову. Кто-то сидел рядом, но она никак не могла увидеть лицо — все плыло.

— Ника, — сказал сидящий и наклонился, и голос показался ей знакомым.

Она заморгала глазами, и пелена рассеялась. Это был Бенефициус.

— Вы, — сказала Ника. — Господи, где это я? Что случилось?

— Ничего, — сказал Бенефициус, — ничего. Все бывает. Это гипнологическая клиника.

— У меня… что-то… не так?

— Да, немного. Вы же знаете, как это случается… да и потом — такая жара…

— Почему жара?

— Не знаю. Никто не знает.

— Нет, подождите… Что со мной было?

— Ну, вы же слышали, наверное: это называется «поймать кодон». Когда человек вдруг начинает видеть и слышать то, чего нет… галлюцинации без наркотиков.

— Да-да-да… Я действительно что-то видела… что-то страшное. Но я не помню. Что я видела, Лот?

— Не знаю. Вы бежали по улице и кричали. Будто убегали от кого-то. Это неважно. Не пытайтесь вспомнить. Главное, что вы пришли в себя. Вам скоро сделают еще один укол, и вы опять уснете. Хорошо?

— А вы будете здесь?

— Я никуда не уйду.

— Как хорошо… Лот? Почему я ничего не помню? Чего я не помню, Лот?

— Не нужно пока вспоминать. Потом. Старайтесь не думать.

— Хорошо. Я не буду думать. Только останьтесь со мной.

— Я останусь.

— Не уходите никуда, ладно?

— Никуда.

— Лот…

— Что?

— Скажите мне что-нибудь…

— Все будет хорошо.

— А еще?

— Все будет хорошо.

Ника тонула в собственном сне — выплывала на секунду, чтобы глотнуть воздуха, и снова погружалась в зеленую бездну; потом она открыла глаза там, внизу, и увидела дно, увидела то, что ее ждет: буро-коричневая, медленно шевелящаяся масса, похожая на громадную амебу, ленивую и равнодушную, знающую наверняка, что пища не денется никуда… мимо Ники медленным градом падали, закрыв глаза, птицы с бессильными крыльями — и из последних сил она забарахталась, продираясь сквозь зелень, сквозь ставшую вдруг густой, как патока, воду, она всплыла, открыла глаза — синеватый свет сбоку и спасительный холод — она лежала, совершенно голая, на измятой простыне, подушка и одеяло исчезли, она перегнулась через край кровати и увидела их — и сама, преодолевая не боль, не слабость — тошноту во всем теле — сползла на пол, чудом — так качало — поднялась на четвереньки, потом, цепляясь за кровать — на колени. Так она стояла долго, привыкая к непонятным ощущениям в теле: тошноте в руках и ногах и мятному холоду в животе; голова не кружилась, а раскачивалась, как маятник, но все меньше и меньше. Наконец, Ника смогла встать на ноги. До подоконника было два шага. Мягкое жужжание ее не обмануло: это был кондиционер, он работал, и Ника нашла регулятор и выкрутила его до отказа: через минуту прохладная струя стала ледяной, Ника наклонилась и подставила под нее лицо, голову, грудь — это было упоительно.

В слабом синем свете ночника палата была таинственно-огромной: кровать, как мост, подушка и одеяло на полу — как облака, над которыми пролетаешь, дверь — крепостные ворота… Ника нашла выключатель, и в белом свете тайны исчезли. Тесная клетушка, которая в высоту больше, чем в ширину, бледно-зеленые неровные стены, серый потолок, под которым проходит короб вентиляционной трубы. Оконное стекло стало черно-зеркальным, и в этом зеркале Ника увидела себя: ломкий силуэт. Отражение было не свое и не чужое. Она и не узнавала его, но в то же время не ожидала увидеть кого-то другого. Поднесла руки к лицу: узкие кисти с тонкими пальцами, коротко стриженные ногти без лака, на среднем пальце правой руки тонкое белое кольцо с угольно-черным камнем. Она не знала, откуда у нее это кольцо, но и не испытывала уверенности, что видит его впервые. Ладони белые, все остальное — почти шоколадного цвета. Негритянка? Она посмотрела на себя: маленькая грудь, втянутый живот, узкие бедра — все равномерно-шоколадное… нет, на бедрах узкая контрастно-белая полоска. Загар. Ничего не помню…

Ничего не помню!

Ее вдруг бросило в дрожь. Может быть, от холода. Закутавшись в одеяло, она села на край постели. Так… Меня зовут Ника Буковчан. Мне двадцать три года. Я живу… нет, не помню. Работаю… нет, кажется, учусь… не помню. Ничего не помню. Помню, как зовут — и все. Боже ты мой…

Нет, ложиться нельзя. Эта кровать только и ждет, когда я лягу… эта пасть притворилась кроватью и ждет… Ника вскочила. То, что было кроватью, как бы вывернулось наизнанку и стало похоже на ярко освещенный въезд в туннель. Воздух был ледяной, и пол тоже был ледяной. Она стояла на тонкой, прогибающейся под ногами льдине, а под льдиной ее ждала бездна. Да что же это делается, беззвучно зашептала Ника, Господи, что же это делается, делается… Она шагнула к двери, и тут дверь сама открылась навстречу ей. Это было так страшно, что Ника закричала.

Рот тонкий, глазки маленькие, жидкие волосики стянуты в фигу, и говорит, как пилит: вжик-вжик, вжик-вжик… туда-сюда, туда-сюда… Мымра, неуверенно подумала Ника. Она слышала слова, которые произносила доктор Кимли, слова были знакомые, но до сознания доходили с огромным запозданием.

Итак, данные дактилоскопии показали, что вы — Ника Буковчан, двадцати трех лет, последнее место жительства — кемпинг «Соло», предполагаемый источник доходов — незарегистрированная проститутка. Шестнадцатого августа две тысячи четвертого года в двадцать три часа сорок минут подобрана бригадой скорой помощи на улице Прапорщика Пранова в состоянии фобического шока третьей степени, вызванного, предположительно, кодоном. Эрм-исследование не проводилось ввиду ясности клинической картины — с одной стороны — и необходимостью принятия неотложных мер по купированию шока — с другой. На месте подвергнута медикаментозно-инструментальной гипнотерапии по методу Штольца-Гусмана; в стационаре лечение продолжено. Шок купирован, следовые мнемонические расстройства в пределах допустимого. Стационарное лечение не показано, выписывается немедленно, рекомендуется амбулаторное наблюдение в гипнологическом кабинете. От себя доктор Кимли имеет добавить следующее: на момент оказания помощи Ника Буковчан была одета только в шорты из джинсовой ткани; денег, драгоценностей и документов при себе не имела. Обследование показало, что незадолго до случившегося ею был совершен коитус. Мазок взят, и в течение суток можно передать его в генетическую лабораторию для установления личности партнера. Опыт доктора Кимли показывает, что обычно поражение кодоном происходит при просмотре нелегальной видеопродукции: порнофильмов и наркоклипов. Доктор Кимли советует Нике Буковчан начать судебное преследование партнера, поскольку психика и сама жизнь пострадавшей были поставлены под угрозу; сумма же компенсации за моральный ущерб может составить несколько сот тысяч динаров. Поэтому в первую очередь надо перевести в генетическую лабораторию плату за анализ: двести пятьдесят динаров. Затем следует обратиться с любую адвокатскую контору и составить судебное исковое заявление. Доктор Кимли настоятельно рекомендует заняться этим немедленно. От себя она может предложить, поскольку Ника Буковчан была одета более чем легко, старый операционный халат. А теперь пойдемте со мной, через час вас отвезут к месту последнего жительства…

— Ника, — тихо сказал кто-то за спиной.

Ника обернулась. Прислонясь к стене, стоял пожилой грузноватый человек в измятой и испачканной рубашке. Ника никогда не видела его, но он, очевидно, ее знал, потому что повторил:

— Ника. Иди за мной. Ни о чем не спрашивай и иди за мной.

Он говорил это очень тихо, глядя куда-то мимо нее и едва шевеля губами. Лицо у него было отекшее, глаза измученные. Наверное, поэтому Ника ему поверила.

Человек оттолкнулся от стены и пошел куда-то в противоположную от выхода сторону (Нике показали дверь и сказали: выходи и жди), и Ника пошла за ним. Они пересекли коридор — в коридоре стояли койки и стулья, бродили тени, происходило медленное и неприятное больничное движение, — свернули на темную лестницу, поднялись на второй этаж, пошли вдоль по коридору, точно такому же, как внизу, и точно так же набитому до отказа; двери палат стояли открытыми, и в палатах было столпотворение. Коридор кончился, направо открылась глубокая темная ниша, заставленная больничным хламом. Человек, который шел впереди, толкнул незаметную дверь, и они вышли на узкую темную лестницу. Очень осторожно, сказал человек. Ступени были железные. По этой лестнице они спустились на четыре пролета, явно ниже первого этажа. Здесь был тускло освещенный туннель. Стоял запах немытой посуды. Пол местами был скользкий. Они шли довольно долго, потом туннель раздвоился. Боковой ход вел немного вверх. Тихо, сказал вдруг человек. Они остановились и стали слушать, но никаких посторонних звуков не было. Ты не помнишь меня? — спросил человек. Нет, сказала Ника, но это ничего на значит, я почти ничего не помню. Сказали, что это скоро пройдет. Человек достал из кармана зажигалку, высек огонь. Оказывается, они стояли перед дверью. Дверь была закрыта на засов, в проушины засова вдет замок. Человек вынул из кармана ключ и стал возиться с замком. Ключ явно не подходил к этому замку, человек возился долго, а Ника ему светила зажигалкой. Наконец, замок открылся.

Воздух снаружи был теплый и почему-то затхлый. Они стояли на широкой асфальтовой площадке. Справа возвышался прочерченный вертикальными строчками синих огней — лестницы? — темный больничный корпус. Слева, совсем рядом, стояла огромная железная клетка. На решетке ее висел красный противопожарный щит. Проходя мимо, человек снял со щита лом. Обогнув клетку, они оказались перед сетчатым забором и пошли вдоль него по протоптанной в траве тропинке. Метров через пятьдесят в заборе обнаружилась дыра. По ту сторону дыры тропа продолжалась, и по этой тропе они вышли к слепым коробкам многоэтажных гаражей. А дальше, в промежутке между коробками, видны были фонари нормальной человеческой улицы. Они прошли половину пути, когда с улицы навстречу им свернула длинная машина, осветив их фарами. Бежать было некуда. Они стояли, ослепленные, держась за руки. Фары остановились в двух шагах перед ними, позади фар раздались непонятные звуки, потом кто-то вышел и подошел к ним. Ника почувствовала прикосновение чужих рук, не злое, но решительное, ее повели, легонько направляя и подталкивая, и усадили в пахнущую табачным дымом прохладу. Снаружи раздался сдавленный стон, что-то звонкое упало и покатилось. Человек, который вел ее, сел рядом, прижимая к груди руку. Ника вздохнула. Перед глазами плыли черные круги. А с этим что будем делать? — спросил кто-то кого-то сзади. Действительно, — сказал другой голос, холодный, аристократический. Как вы могли, государственный служащий, санитарный инспектор… вы же знаете, какая обстановка в городе… черт-те что. Провожатый молчал. Черные круги стали лиловыми, сквозь них Ника на фоне освещенной фарами стены гаража видела профиль водителя и рядом с ним — профиль обладателя аристократического голоса, острый, четкий. Ника оглянулась. Сидевшего позади, на третьем сиденьи, видно не было. Вы же знаете, как предписано поступать в подобных случаях, продолжал острый профиль. Или вас не инструктировали? Что вы молчите? Вы понимаете, надеюсь, что и вас придется изолировать? Не дождавшись ответа, он кивнул водителю: поехали. Ника посмотрела на своего провожатого. Он поймал ее взгляд и улыбнулся ей. И Ника, как могла, улыбнулась ему в ответ своими деревянными губами.

— Прошу, мадемуазель, — сказал один из тех, кто привез ее сюда — высокий, белый, тонкий. — Присаживайтесь, устраивайтесь поудобнее.

Ника послушно села. Кресло, кожаное на вид, оказалось холодным и скользким. Еще в машине ей дали понюхать что-то, и теперь лицо онемело, глаза не мигали и почти не двигались, а мысли стали рыхлыми и медленными. С ней что-то сделали и собирались сделать что-то еще, но значения это уже никакого не имело.

— Смотрите, пожалуйста, сюда, — сказал тонкий.

Собственно, никуда больше она смотреть и не могла — кроме как на экран, большой и плоский — не голо. Экран осветился, появились и стали растекаться, превращаясь во что-то другое, человеческие фигуры, и понять это было невозможно. Потом все стронулось и потекло, покатилось на нее, понемногу убыстряя скорость, и скоро Ника, захваченная этим движением, неслась, едва успевая поворачивать, сквозь живой, кипящий, взрывающийся новыми, неизвестными природе цветами лабиринт, а потом, не удержавшись на краю, полетела куда-то вниз в потоке упруго поддающейся телу перламутровой ртути… Там, куда она падала, медленно вращался багровый водоворот… И тут же резкий сигнал зуммера вонзился в уши. Мигала тревожная лампа на пульте, и автопилот готовился перехватить управление. Если глаза закрыты более трех секунд… Она провела ладонью по лицу. Все нормально. Это туннель. Туннель ее укачал. Она никогда не любила туннелей.

Все, осталось немного… Ч-черт, пот пробил. Ровно год назад разбился Джэб — ехал без автопилота и на ровной дороге уснул за рулем. С тех пор она никогда не выключала автопилот, хоть это и считалось дурным тоном.

На выезде из туннеля по глазам ударило таким световым контрастом, что опять пришлось жмуриться и нервировать этим «черного Сэма». Асфальт казался фиолетовым в обрамлении сверкающих склонов, горы были небесно-белыми, как облака, а небо над ними имело такой сказочно-чистый синий цвет, какого вообще не бывает нигде, кроме как в небе над горами. Машина легла в плавный поворот, и сразу перед глазами, закрывая солнце, воздвиглась темная громада «Горной твердыни».

Площадка паркинга была еще почти пуста: дюжина машин, из них лишь две знакомые: черный «Сабр» барона и новый, купленный месяц назад и уже помятый «Форд-шериф» Яна Богница. Барон, конечно, приехал самым первым — его машина крайняя в ряду… У подъема на мост стоял седовласый дядюшка Гастингс. Увидев ее, он растянул серые губы в широчайшей улыбке.

— Наша маленькая принцесса! — воскликнул он. — Как давно я вас не видел!

— Чуть больше года, дядюшка, всего лишь чуть больше года, — она улыбнулась в ответ. Опираясь на его мощную, как из бронзы, руку, она поднялась по ступеням на мост и оглянулась. Ее «Мерлин» уже стоял в ряду с другими машинами, выделяясь своей плотной тяжестью и нескрываемой мощью, как артиллерийский снаряд рядом с детскими колясками.

— И правда, — согласился старый негр. — Чуть больше года. Но как долго тянулся этот год!

— Ничего, — сказала она. — Тяжелые времена тем и хороши, что проходят рано или поздно.

— Воистину так. Я желаю вам, принцесса, провести приятный вечер… а если захотите поболтать со старым негром и послушать разные истории, как слушала их девочка Аннабель… приходите.

— А чай будет с ромом?

— С черным ямайским ромом из большой зеленой бутыли с литой печатью на пробке…

— Спасибо, дядюшка. Если ничего не случится, я обязательно приду.

И, вновь ощутив себя почему-то девочкой Аннабель, она, пританцовывая, зашагала через мост. Дубовые брусья глухо принимали в себя удары ее каблучков. Вот здесь, где несмываемое темное пятно, двести лет назад стрела поразила преступную леди Канолу…

У ворот донжона дядюшка Гастингс передал ее дворецкому. Аннабель незаметно пожала твердую надежную ладонь старого привратника.

— Ее высочество принцесса Аннабель! — провозгласил, распахивая перед ней резные створки парадного входа, дворецкий.

Оркестр играл что-то легкое, полетное, и леди Денниус, хозяйка, маленькая и подвижная, шагнула к ней, поцеловала в щеку и шепнула: «Ты здесь, слава Богу!» Сэр Денниус, давний друг, наставник, почти отец — напротив, холодно коснулся губами запястья и молча посмотрел в глаза, и Аннабель вдруг поняла, что он боится за нее.

И — почувствовала, что благодарна ему за этот страх.

— Богниц, — сказал барон лениво, — вы неизбежны, как судьба. Как удар молнии. И так же несносны.

— Судьбу вы считаете несносной? — сделал домиком свои белесые брови Богниц; глаза его смеялись.

— Я с ней конфликтую с момента рождения, — сказал барон.

— Нельзя ли несколько подробностей для прессы?

— В раздел скандальной хроники?

— Как можно! В спортивный, разумеется. Кстати, правда ли, что вы оба,

— Богниц поклонился Аннабели, — намерены выступить одним экипажем в «Трансафрике»?

Барон, не глядя, поставил пустой бокал — под бокалом тут же оказался поднос, а мгновением позже при подносе материализовался официант. Другой официант, несущий свежие коктейли, качнулся было в их сторону, но барон отмахнулся от него.

— Это неплохая мысль, — медленно сказал он, — поэтому, наверное, она мне в голову и не приходила… А что скажет ваше высочество? — повернулся он к Аннабели.

— Я вообще не собиралась заявляться на эту «Трансафрику», — сказала Аннабель. Сейчас он спросит: почему? — мелькнуло в голове. Надо что-то сказать… — Хотела бы не торопясь подготовиться к Кубку Наций.

— Это, конечно, цель… — протянул Богниц недоверчиво. — А можно политический вопрос? То есть я обращаюсь к вам не как к знаменитым спортсменам, а как к представителям виднейших фамилий Конкордиума. Ваше мнение о завтрашней Конференции Гор и Долин?

— Я отвечу как частное лицо, — сказала Аннабель. — Я считаю, что в нынешней ситуации любые шаги навстречу друг другу надо только приветствовать — и помнить, что есть вещи важнее застарелых обид.

— А я вообще не отвечу, — сказал барон. — Во-первых, я ничего не понимаю в политике, о чем вы, Богниц, прекрасно знаете. Во-вторых, что бы я ни сказал, это будет вразрез с мнением моей семьи — кажется, так получается автоматически.

— Послушайте, Ян, — сказала Аннабель. — Вы тут знаете всех — кто вон тот человек с черной розой?

— О, это же Яппо. Говорят, он \_н\_а\_с\_т\_о\_я\_щ\_и\_й\_ маг. Из старых. Я знаю, что его очень боялся покойный король Томас.

— Понятно, — сказала Аннабель.

Значит, вот он какой, этот Яппо, подумала она. Почему-то думала — старик, с бородой, с посохом… Как Хиид — таким он запомнился ей. Впрочем, может быть, это детские аберрации, тогда все, кто старше тридцати лет и выше пяти локтей, казались глубокими стариками и великанами…

— Король Томас, по-моему, боялся всего, — сказал барон. — Даже собственной тени.

— Вот именно, — поднял толстый палец Богниц.

Барон уже набрал в грудь воздуха, чтобы задать вопрос, когда Аннабель перехватила брошенный мельком на них взгляд высокого человека во всем черном и с черной розой в петлице и положила руку барону на плечо.

— Давайте лучше о скачках, — сказала она. — Или о боксе. Ведь наш друг Ян…

— В прошлом, ваше высочество, в прошлом!

— Не столько в прошлом, сколько в душе, правда ведь, Ян? Вот, допустим, волею судеб вы снова стали спортивным репортером — пари, что будете втрое счастливее, так? Или нет?

— Если с нынешним окладом — о, вдесятеро! Кстати, о пари: хотите свеженький скандал? Помните бой Раулингсон — Ферри? Третьего апреля? В восемнадцатом раунде Ферри проиграл техническим нокаутом?

— Сломал руку, кажется, — уточнил барон.

— Тот самый бой, — закивал Богниц. — Так вот, выяснилось, что оба боксера заключали пари на победу противника! Огромные суммы! Раулингсон дисквалифицирован и по уши в долгах, а Ферри вообще скрылся — но зато с двумя миллионами. Хотя, если его найдут, миллионы ему вряд ли понадобятся…

— То есть руки он не ломал? — приподнял бровь барон.

— Естественно. Массажист в перерыве незаметно впрыснул ему под кожу что-то, вызывающее отек, и Ферри осталось только удачно упасть…

— Свинство, — сказала Аннабель. — Массажист его и продал, наверное?

— Нет, — сказал Богниц. — Случайный снимок, и фотограф не сразу обратил внимание…

— Что осталось более или менее честного, — сказал барон, — так это теннис, шахматы, яхты и большие ралли. Все остальное…

— Я сказал бы иначе, — прищурился Богниц. — Бокс, лошади и футбол. Это продано, куплено и продано снова. Все остальное — с вариантами.

— Лошади, — сказала Аннабель. — Знаете, Ян, есть лошади и лошади…

— Я не имел в виду выездку, — сказал Богниц. — Я говорил про ипподром.

— Самый честный вид спорта — это рулетка, — сказал барон. — Ты знаешь, что всегда выигрывает казино…

— Смотрите, это Берт, — сказала Аннабель.

К ним подходил, заранее широко улыбаясь, Берт Яскульский, рыжий и круглолицый; четыре года назад, когда он только начинал свою карьеру, его простецки-легкомысленная внешность страшно мешала ему. Как и островной акцент. От акцента и веснушек он избавился — но не это, конечно, стало причиной его стремительного взлета. Сейчас он был товарищем премьер-министра Маргитании, второго по значению королевства Конкордиума.

По слухам, влияние его в кулуарах власти самого Конкордиума было колоссальным.

— О, милая Аннабель, как я рад вас видеть! Лео, я слышал, у вас проблемы? Поговорим за картами. Ян, никаких интервью, я отдыхаю. Что интересного в мире? Господа, позвольте мне похитить у вас принцессу…

Конечно, и Берт с ними, думала Аннабель, увлекаемая мягкой превосходящей силой. Как же без Берта… Она автоматически раскланивалась со знакомыми, окидывала взглядом платья и украшения дам, и вдруг оказалось, что они идут как бы по длинному коридору, в конце которого стоит, вовсе на них не глядя, человек в черном, но в последний момент коридор слегка вильнул, и их пронесло мимо, куда-то ко входу в зимний сад…

— Берт, куда вы меня тащите? — спросила она, оглядываясь.

— Как, вы еще не знаете? У Денниусов зацвела инстрелла. Вы видели цветок инстреллы?

— Я выросла в этом доме, Берт, — сказала Аннабель.

— Ладно. Тогда сами подскажите место, где можно поговорить без посторонних. При этом не пропадая с глаз.

— Значит, то, что нас будут видеть беседующими — не страшно?

— Предпочтительно. Мои агенты уже распускают слухи о моих матримониальных намерениях.

— Берт, вы совсем не в моем вкусе.

— Вкусы — вещь переменчивая… впрочем, говорить мы будем о другом.

— Тогда поднимемся на галерею.

На галерее слышен был мягкий шорох климатизатора и ощущались токи прохладного воздуха. Пахло подтаявшим снегом. В зале собралось уже около сотни гостей, разговаривали, пили, знакомились и знакомили, было немало юных дам и молодых кавалеров, и кто-то замечал стоящих на галерее Аннабель и Берта — замечал, обращал внимание, запоминал для последующего перемывания косточек… А что, подумала Аннабель, с их точки зрения — Берт для меня прекрасная партия… как и я для Берта. Принцесса-изгнанница, пожизненная правительница государства площадью в один номер-люкс на территории отеля «Палас», которая не гнушается брать деньги за победы в автогонках… и молодой политик, представитель древнейшего дворянского рода, более древнего, чем коронованные Мартиниусы…

— К развлечению гостей меры приняты.

— Так в чем дело, Берт?

Невидящими глазами Берт смотрел куда-то в противоположную стену.

— Отвечайте, — сделала улыбку Аннабель. — Или вы хотите, чтобы я ушла?

— Я хочу предложить вам участие в грандиозном предприятии. Риск колоссальный. Победитель получает все. Но на кон ставится, пожалуй, не только смертное тело, но и бессмертная душа…

— Заговор?

— Да. Мы хотим вернуть вам корону.

— У меня ее никогда не было.

— Была. Король Евгений за день до смерти тайно короновал вас.

— Не может быть. Я запомнила бы. Мне ведь было уже пять лет.

— Вы пробыли в руках у… мы называем их упырями, но это условно… вы пробыли у них неделю, прежде чем Конкордиум вытащил вас оттуда. Странно, что у вас вообще осталась прежняя личность.

— Берт, вы говорите что-то такое… Может быть…

— Да.

— Что «да»?

— Мы расскажем вам все. В последние несколько месяцев нам удалось добыть немало новой информации об Альбасте, и… это страшно, принцесса. Меры надо было принимать десять лет назад. Я боюсь, что сегодня уже поздно. Но ничего не делать — тем более нельзя. Сейчас Яппо расскажет нам кое-что… и еще — генерала Паулина вы помните?

— Нет.

— Он командовал внешней охраной дворца еще при вашем отце. Неделю назад бежал из-под ареста. Он сейчас здесь. Поговорите с ним тоже.

Конечно, она помнила этого генерала. Маленькая, она боялась его. У генерала — в те времена, наверное, полковника — был низкий лоб, приплюснутый нос, узкие губы и мощные челюсти. Вечно прищуренные глаза напоминали серые льдинки. Он никогда не улыбался. Люди с такими лицами не меняются десятилетиями и становятся стариками в одну зиму. Похоже, что генерал был на грани этого превращения.

Он уже замолчал, а Аннабель все пыталась зрительно представить себе хоть что-нибудь из рассказанного: котлованы, на дне которых живут сотни и тысячи людей — абсолютно, идиотически счастливых людей, которым вообще ничего не нужно; живых мертвецов, по ночам патрулирующих улицы столицы; необъяснимые и жуткие перерождения домашних животных и птиц; покинутые, но продолжающие жить непонятной жизнью села и города; и брата, короля Германа, до недавнего времени — слабоумного морщинистого мальчика, куклу в руках матери-правительницы… он стал выше ростом и тверже лицом, речи его разумны и указы точны, но никто не может встретить взгляд его глаз и остаться в здравом рассудке…

— Он умер, принцесса, — сказал Яппо, поняв, о чем она думает. — И смерть его души была долгой и невыносимо тяжкой. Снедаемая заживо, она…

— Не надо, — сказала Аннабель. — Я поняла. Но — что мы можем вообще сделать? Если все так…

— С нами Яппо, — сказал Берт.

— Яппо… — Аннабель подняла глаза на мага. — Яппо, а почему вы с нами?

— Потому что могущество тех, кого вы назвали упырями, угрожает и мне,

— сказал маг.

— Только поэтому?

— Да, только поэтому. Восстановление справедливости в вашем смысле меня не занимает. Меня вообще не занимают людские отношения.

— Хорошо. А чем конкретно вы можете помочь?

— Информацией. В ближайшие дни я буду знать все о сегодняшней структуре Альбаста. Узнав это, я смогу найти для вас способ проникнуть на его территорию. Научу бороться с магией упырей. Возможно, смогу нарушить их системы наблюдения и воздействия…

— Вы говорите — упыри… — начала Аннабель.

— Это вы так говорите, — поправил ее Яппо.

— А как на самом деле? И — кто они?

— Вот этого вам как раз пока знать не следует. Вы же не хотите, чтобы они слышали, что мы тут обсуждаем? В нужный момент я сообщу вам их настоящее имя.

— А пока?

— А пока, принцесса, остерегайтесь красного света. Закрывайте глаза, отворачивайтесь, не смотрите. С его помощью упыри способны перебрасывать людей в другой мир.

— Как это? — хором спросили Аннабель и Берт.

— Ваше активное начало, ваша истинная личность окажется где-то в другом месте, в другом мире, в другом теле. А это тело останется здесь — пассивной игрушкой в руках судьбы. Все будет как раньше, никто не заметит — только противостоять жизни вы уже не сможете.

— Интересно… — протянул Берт. — Об этом писал Келлер, если я не ошибаюсь?

— Да, Франц Келлер. Он умел перемещаться из мира в мир собственной волей. Трактат «Существование» — вовсе не результат употребления африканских грибов арау-рау, как писали его враги…

— То есть, вы хотите сказать?..

— Дорогой господин, давайте отложим лекции до более легких времен. Скажем, через год после возведения принцессы Аннабель на трон Альбаста я готов познакомить вас с полной картиной мира. Правда, это будет стоить вам нескольких лет жизни и множества иллюзий. Хотите?

— Пожалуй, да.

— Я уважаю такие характеры, как у вас. Я буду заниматься вами с удовольствием.

— А мной? — спросила Аннабель.

Яппо покачал головой.

— Я помогу вам взойти на трон. В ученики вы не годитесь.

— И можно узнать, почему?

— Нет.

Это было сказано так, что от продолжения расспросов Аннабель удержалась.

— Через несколько минут, — продолжал Яппо, — вам придет в голову такая мысль: а почему мы должны доверять этому человеку — то есть мне — и действовать по его указке? Не преследует ли он свои интересы и не использует ли нас для собственных надобностей? Отвечаю: да, преследую. Использую. Из Альбаста сейчас исходит страшнейшая за всю историю Земли угроза для человечества — в том числе и для меня. В моем плане противодействия этой угрозе одним из основных пунктов значится: вернуть светскую власть в Альбасте живым людям. Сейчас у власти живых нет. Если вы откажетесь, принцесса, мне придется начинать головоломную династическую игру или пытаться создать там республику — что сложно, малонадежно и требует времени, которого у нас и без того практически нет. Если вы согласитесь участвовать в этом деле, вам придется принимать на веру все, что я буду говорить, так как добыча доказательств опять же потребует огромного времени и сил. Вот живой свидетель, — Яппо кивнул на молчащего генерала. — Это чудо, что он здесь, с нами. Чудо вдвойне, что это влиятельный человек, за которым гвардия пойдет на смерть. Я долго не видел возможности нанести поражение упырям. Сейчас эта возможность у нас появилась. Если мы ее упустим, то, я думаю, всем нам лучше умереть как можно раньше…

Стало очень тихо.

— Если вы ждете моего слова… — Аннабель начала и замолчала. Ей даже не было страшно. Как перед лобовым столкновением, которого не избежать. Так уже было однажды. — Да. Разумеется, да.

**ВИТО**

— Докуривай, и пошли, — повторил Стас. Он всегда куда-то спешил, но сегодня это было просто невыносимо.

— Суетишься, — сказал Вито, раздавливая окурок в пепельнице. — Нервничаешь. А смысл?

Стас не ответил. Он прекрасно понимал, что суетиться смысла не имело.

Дверь открылась, и вошли Джиллина и Ноэль Куперман по прозвищу Суперман. Джиллина был в оперкостюме и при полном снаряжении, Супер — в шортах и маечке, с кобурой на предплечье.

— Сидите, сидите, — махнул рукой Джиллина.

— Никак не возможно, — вздохнув, сказал Вито и поднялся с дивана. — В присутствии дамы-с?

Джиллину будто ударили по лицу. Вито догадывался, что слухи о его пристрастиях действительности не соответствуют — иначе не дергался бы так, — но не удержался и ткнул в уязвимое место. Без подготовки. Но Джиллине уже объясняли, и не раз, что непритязательные розыгрыши, принятые, может быть, в армии, здесь, в Корпусе, практиковать не следует. Вот, наконец, Джиллина напоролся на свой камень.

— Брэк, — предупреждая развитие событий, Супер положил руку на плечо Джиллины — и, наверное, не только положил, потому что Джиллина скрежетнул зубами и непроизвольно под рукой подался.

— Не надо, Ноэль, — сказал Вито. — Извини, Джи, сорвалось с языка. Не хотел тебя обижать.

Он подошел к Джиллине и протянул руку. Джиллина через силу протянул свою. Ладонь его была совсем мокрая.

— Идем? — сказал Стас. — Время уже.

— Вот вы тут курите и ничего не знаете, — сказал Супер. — А там приехал Томаш.

— Вот это номер, — сказал Вито. — И что?

— Велено болтаться в пределах досягаемости.

— Ты с ним успел поговорить?

— Я сунулся к нему, но он, знаешь, такой… — Супер изобразил, как Томаш пальцами раздирает слипающиеся веки и никого не узнает. — Сказал только, что новостей целый вагон.

— Черт… — Вито вдохнул и выдохнул, чтобы не позволить начаться нервной дрожи. — Знать бы — получилось или нет?

— Думаю, получилось, — сказал Супер.

— Это надо перекурить, — сказал Стас и заозирался.

— У меня «Гренадир», — полез в карман Джиллина. — Давайте по гренадирчику задавим.

Против «Гренадира» возражений не возникло. Помня об эрмеровских приметах, Джиллина своей рукой раздал сигареты, начав с того, кто слева — с Супера. Супер выцарапал из тесного кармана обшитую кожей зажигалку, прикурил, погасил пламя и подал зажигалку тому, кто слева от него — Вито. Пытаемся обдурить судьбу, подумал Вито. Это уже даже не смешно.

— Ты их сушил? — спросил Стас, принюхиваясь к дыму.

— Нет, а что?

— Вроде горчат…

Голос Стаса дрогнул, и могло показаться, что Стас просто поперхнулся, но Вито все понял и среагировал:

— Клинч!

Он повис на правой руке Стаса, на руке, ставшей вдруг железным рычагом, и на миг замедлил движение этого рычага к кобуре, а Супер в прыжке опрокинул Стаса на спину и заблокировал левую руку, и лишь Джиллина ничего не понял и смотрел остолбенело, руки Стаса напряглись еще, все тело напряглось и изогнулось, Супер вдруг взлетел в воздух, а освободившаяся рука Стаса впилась Вито в шею, и только тут Джиллина бросился в кучу-малу, пытаясь разорвать хватку Стаса и освободить Вито — и теряя бесценные секунды, но тут Супер снова оказался рядом, выхватил из патронташа Джиллины гипноген и прижал его к лицу Стаса. Багровая вспышка ударила по глазам, оставив на сетчатке подобие фотографии, и смежив веки, Вито все равно продолжал видеть то, во что превратилось тонкое нервное лицо Стаса: кровавую вампирью маску. Хватка постепенно ослабевала, по телу Стаса пробегали волны дрожи. Наконец, можно стало подняться на ноги.

— Вот так это и бывает, солдат, — сказал он Джиллине. Джиллина сидел на полу, весь белый, зажимая пальцами нос.

— Вовремя ты просек, — сказал Супер. Он стоял на коленях, плотно зажав голову Стаса, и скенером снимал движения глаз. Это позволяло судить о характеристиках разрушенного кодона. — Еще бы секунда — и все.

— Я с утра на него косился, — сказал Вито. — Что там получается?

— «Матрешка», естественно. Лиловый снаружи, внутри, кажется, желтый. Киллер прогрыз наружный слой — ну, и…

— Дерьмо наши киллеры. Пора пойти и набить морду Алеку. Уже полгода обещает сделать новый киллер.

— Где он мог его поймать? — пробормотал Супер. — Бережемся ведь, как монашки…

— Кумулянт, скорее всего, — сказал Вито. — Черт, как он меня сдавил…

— Но ты молодец, толстый. Мне бы такую реакцию.

— Ладно, не прибедняйся.

— Какое… Ну, Джи, как тебе все это?

— Неслабо, ребята… — Джиллина пошмыгал носом, обтер пальцы о брюки.

— Так я и не понял, кто мне двинул.

— Похоже, что я, — сказал Супер. — Ты в следующий раз не в потягушки играй, а за гипноген хватайся. Учили тебя, учили…

— Да я же знаю… на тренировках — все правильно делал…

— Ничего, Джи, — сказал Вито. — Нормально. Тренировки тренировками, а научиться можно только на поляне. Если за месяц не сморгнут тебя — станешь эрмером.

— Это я понимаю…

Супер отложил скенер и похлопал Стаса по щекам.

— Эй, старый, подъем! Просыпайся!

Стас поднял голову. Взгляд его был мутный и неосмысленный.

— Стас! Ты меня слышишь?

— М-да? Что? А, это ты… чесночная твоя душонка… что?

— Просыпайся, просыпайся. Нам всем пора к Стрептоциду.

— Не знаю такого… Пусти, я сплю. Я пьян и сплю.

— Желтый, — прокомментировал Супер. Вито и сам понял это. Кодоны желтого спектра вызывали сильнейший выброс эндорфинов, и клиника постдеструкционного синдрома напоминала банальное опьянение. На поляне, случалось, это приводило к серьезным ошибкам.

— Что делать, пусть спит, — сказал Вито. — Давайте-ка, ребята, я вас проверю на всякий случай.

Через полтора часа, наконец, все, кого это касалось, собрались в «бункере» — особо изолированном помещении в пристройке. Попасть туда можно было только с помощью специального лифта, управляемого с центрального поста охраны. В случае чего оттуда же, с центрального поста, в бункер подавался усыпляющий газ.

Автономный стац-эрм гудел и попискивал, загружаясь. Томаш нервно расхаживал перед ним, потирая пальцами виски. Выглядел Томаш плохо. Нос заострился, скулы торчали, глаза ввалились и горели. Со щек не сходил лихорадочный румянец. Вито, увидев Томаша, прямо спросил — и получил прямой ответ, что да, Томаш ввел себе «джерри» — род лилового кодона семисотого разряда, который вызывает сильнейшее постоянное возбуждение; вот уже неделю он ходит под «джерри», возможно, нахватался чего-нибудь еще, но проверку и освобождение придется отложить хотя бы до вечера, потому что тогда он сразу уснет — и все, а дело не терпит отлагательств. Но ты уж, Вито, дружище, приглядывай за мной — вдруг…

Всяческие «вдруг» случались все чаще — хотя техника становилась все более совершенной, а методики — отлаженными. Несмотря на введенные программы-киллеры, на ежеутренние проверки гипногенами, на поощряемую склонность обращаться за проверкой по малейшему подозрению, несчастные случаи с эрмерами продолжались. То, что только что было со Стасом, относилось к рядовым и легчайшим инцидентам. В прошлом году была волна смертей от остановок сердца в момент проверки — как оказалось, примитивнейший серый кодон соответствующим образом модифицировал киллер. С этим научились справляться, но весной появились многослойные кодоны, и киллер, разрушив внешнюю оболочку, высвобождал то, что было внутри. Первой их жертвой в Корпусе стал, похоже, Поплавски. Почувствовав усталость и раздражение, он решил, что поймал простой лиловый кодон, попросил кого-то освободить его — и вдруг учинил побоище на этаже, убив четверых и четверых ранив, после чего застрелился сам. Снятая с остывающего мозга ноограмма показала, что височные, теменные и затылочные поля охвачены сверхвозбуждением, и можно только догадываться, что он видел и с кем сражался в свои последние минуты… После этого все стали в обязательном порядке сдавать оружие при проверках, но смертельные случаи продолжались. Бергель сразу предложил перевооружить Корпус — чтобы пистолеты стреляли не пулями, а капсулами с парализующим веществом. Почему-то оказалось, что существующие виды оружия для такой переделки не годятся, и только к осени новые револьверы «серпент» начнут поступать — сначала для натурных испытаний.

Что ж, а пока — надежда, в основном, на то, что за несколько секунд до эксплозии человек начинает вести себя немного необычно и это удается заметить тому, кто стоит рядом…

Эрм издал сигнал готовности, загорелся глазок лазерной головки — и в воздухе повисло изображение того, что Томаш слепил из грязи, осевшей на фильтрах городской информсети.

Вито присвистнул, втягивая воздух. Ноэль ударил себя кулаками по коленям. Не до конца проснувшийся Стас бормотнул неразборчиво, но энергично. Старик Вильгельм встал. Кароль и Бергель одинаковыми движениями взялись за подбородки. Только стажеры: Джиллина и Гектор — ничего толком не поняли. Впрочем, усмехнулся про себя Вито, все остальные тоже вряд ли поняли.

Свертка кодона — условная проекция его свойств на трехмерную сетку — напоминала по форме немного удлиненного морского ежа. На концах некоторых игл были утолщения, а одна из игл, изгибаясь, возвращалась в тело, образуя нечто, подобное ручке чайной чашки.

— Разряд порядка четырех тысяч, — на глаз определил Ноэль. — И цвет от желтого…

— Разряд у этой хреновины — восемь тысяч четыреста тридцать пять плюс-минус пятнадцать, — перебил его Томаш. — А цвет меняется от синего до инфракрасного. Вот так… — он провел рукой над пультом, и свертка пришла в движение; иглы сдвинулись и поплыли к основанию «ручки», укорачиваясь, но делаясь толще, и на самой «ручке» сглаживались и исчезали; а из воронки, обнаружившейся с противоположной от ручки стороны, стали появляться подобия лунных кратеров, между которыми змеились узловатые корни.

— Это же по типу бутылки Клейна! — сказал Вильгельм. — Односторонняя поверхность.

— Именно так, — сказал Томаш.

Кратеры собрались у основания «ручки», превратившись в бородавки, а поверхность кодона вокруг воронки стала зеркально гладкой.

— А ведь это артефакт, Том, — сказал Вито.

Томаш молча кивнул.

— «Черный шар», — добавил Ноэль. — Вот и дождались…

Год назад Ноэль, Вито, Томаш и покойный Сихард в обстановке самой неформальной родили идею о возможности возникновения «черного шара», неуловимого и неуничтожимого кодона; название родилось по аналогии с «черным кубом» — возбудителем компьютерной чумы две тысячи второго года. Занявшись проработкой этой темы, они нашли огромное количество дыр в фильтрах и разработали несколько возможных моделей «черных шаров»; правда, тогда они исходили из предпосылки, что «черный шар» должен иметь возможно меньший разряд, так где-то на уровне полусотни, для лучшего прохождения через фильтр. О том, что могут существовать такие вот выворачивающиеся полиморфные кодоны, тогда просто не догадывались. Тогда о многом не догадывались. Это были как раз последние дни стабильности: киллеры успешно разрушали все известные виды кодонов, а фильтры не менее успешно их все задерживали, и о «черном шаре» заговорили, в общем-то, только для того, чтобы произвести впечатление на дам. Дамам было наплевать, но идея запомнилась…

— Покажи, где исходный материал, а где ты додумал сам, — сказал Вильгельм.

— Додумал вот это, — Томаш показал на утолщение в виде буквы "Н" у конца длинной иглы; гладкая поверхность втянулась внутрь, и кодон вновь походил на морского ежа. — Когда я допер до этой штуки, остальное сложилось само.

— Разверни, посмотрим.

— Довольно простой синий кодон двухсотого разряда. Вызывает положительные эмоции, легкую эйфорию и легкую потерю ориентации в пространстве. Но вот вкупе со всем прочим выступает, можно сказать, сборщиком.

— Именно сборщиком, Том? — решил уточнить Вито.

— Тут двухступенчатый процесс, — сказал Томаш. — Вначале синий играет роль пассивного центра адгезии, и в результате формируется агломерат, не имеющий свойств кодона, но активно собирающий те фрагменты информагентов, которые мы условно назвали грязью…

Парень и вправду нахватался чего-то, подумал Вито, говорит, как лекцию читает. Или это его научное окружение так испортило?..

— …агломерат же, в свою очередь, выступает в роли активного сборщика, полностью формирующего данную структуру.

— Сколько времени занимает полный цикл? — спросил Ноэль.

— Сорок часов.

— Процесс идет на фильтре?

— Да.

— Я думаю, нам нужно, не теряя ни минуты, перенастроить фильтры так, чтобы они задерживали синие кодоны, скажем, от сотых до тысячных — и аннигилировали их без запроса.

— Задание группой Рацека получено.

— Это может оказаться долгой историей… — сказал Вито.

— А что ты предлагаешь?

— Можно попробовать сделать обманку и запустить…

— Это тоже долго. Пока сделаешь и проверишь…

— Кстати, о проверках, — вспомнил Вито. — Том, какой у него эффект?

— Не знаю, — сказал Томаш.

— Ты что, не пробовал его?

— Сам — нет. Ты же видишь, какой я. Дважды вводил лаборантам. Непонятно. Внешний проявлений почти никаких. Становятся… спокойнее, что ли. Послушнее. Вялость появляется. Легкая такая вяловатость. Реакция ухудшается, рефлексы замедляются — совсем немного. Аберраций восприятия нет. Так что эффект неясный…

— Освободил легко?

— Вроде да. Но я не вполне уверен, что освободил. Очень маленькая разница между…

— То есть может оказаться так, что он действует не сразу?

— Может. За парнями, конечно, наблюдают.

— Слушайте, а может быть, у этой штуки вообще нет никакого эффекта? — предположил Вильгельм. — Произошел качественный скачок, и кодон такой степени сложности на мозг уже не действует?

— Зачем-то же его лепили, — сказал Томаш.

— Ладно, ребята, — сказал Вито, — все равно надо проверять. Давайте быстренько с этим разделаемся — а потом, по результатам, будем соображать, что делать.

— Можно подойти еще с другой стороны, — подал голос Кароль. — Проверить грязевые источники.

— Если удастся, — сказал Томаш. — Я уже пробовал — правда, наспех. На ком испытаем? — он огляделся.

— На мне, естественно, — сказал Вито.

— Почему это вдруг: естественно, на тебе? — спросил Ноэль. — Что это ты себе за привилегии придумываешь?

— Никаких привилегий. Просто я первый сказал. Реакция у меня хорошая, ты же знаешь. Или ты решил, что я так проявляю свой антисемитизм?

— Я к тебе никогда не привыкну, — сказал Ноэль.

— Привыкнешь когда-нибудь… Держи пока, — Вито стянул с плеча кобуру, подал Ноэлю. Тот принял ее двумя руками. Ноэль с величайшим уважением относился к оружию. До Корпуса он был снайпером в спецбатальоне федеральной полиции. — Поехали, Том.

— Поехали, Чип. — Томаш на счастье назвал Вито старым прозвищем. — Будем жить.

— Будем жить… — Вито улыбнулся.

Свертка кодона исчезла, эрм запел, и на месте «морского ежа» появился туманный экран, постепенно набирающий яркость свечения. Потом светящийся туман поплыл навстречу, Вито привычно расслабился, отдаваясь этому движению, не отвлекаясь на причудливые мгновенные картины, возникающие по краям поля зрения — он знал, что подсознание фиксирует их, накапливает, а когда они накопятся и сольются, произойдет нечто… еще неизвестно, что; надо ждать красного пятна… вот оно: рубиновый глаз, широко раскрывшийся навстречу, и в нем — алые и багровые волны, разбегающиеся от центра и в бесконечность… Вито повис над ним, над этой пылающей бездной, преломил страх — и рухнул вниз. Пробил багровое вязкое ничто — и вдруг с костяным стуком ударился лбом…

— Фу, ч-черт… — он протер глаза; казалось, все окутано туманом. В комнате было полутемно. Он так и уснул за столом, уронив лицо на скрещенные руки. Сколько же времени?.. Половина четвертого. От долгого и, похоже, неудобного сиденья ноги затекли и начинали отходить. Он застонал от боли. Наконец, это прошло. Доковыляв до окна, он посмотрел на солнце.

Сквозь голые ветви берез солнце было отчетливо видно: яркий ободок и темная бахромистая клякса в центре. Кажется, сегодня ободок стал еще тоньше…

Только на восходе и закате солнце выглядит прежним…

В дверь поскреблись, а потом стукнули тихонько, кончиками пальцев: та — та — та — та-та. Он зашарил по карманам в поисках ключа.

— Это я, Дим Димыч, — сказали за дверью. — Оськин.

— Сейчас, Оськин, ключ найти не могу…

Ключ оказался на столе. Под конвертом из грубой оберточной бумаги.

Оськин проскользнул в дверь. Дима выглянул в коридор, прислушался. Никого.

— Принес? — шепотом спросил он. Оськин кивнул.

Одет Оськин сегодня был импозантно: выношенная школьная курточка, застегнутая на единственную пуговицу, не скрывала кроваво-красной надписи на зеленоватой футболке: «COCA-COLA». Коричневые трикотажные штаны были в пятнах краски и пузырились на коленях. На впалом пузе тускло поблескивала латунная пряжка флотского ремня. С ремнем в руках Оськин был непобедим.

— Принес? — повторил Дима, не поверив.

Оськин завел руки за спину и стал там что-то делать, напряженно улыбаясь. Наконец, он извлек из-за спины матерчатый сверток со свисающими полосками лейкопластыря, положил его на кровать и отошел на шаг, оправляя майку. Дима осторожно развернул ткань.

Там лежали пять чайных ложечек, вилка, половинка браслета, портсигар, смятая ажурная вазочка, моток проволоки, два полтинника двадцать пятого года чеканки, перстень, серьга в виде полумесяца, подстаканник и часы-луковица с толстой цепью.

— Шестьсот пятьдесят граммов, — сказал Оськин с гордостью.

— Ну, ребята!.. — присвистнул Дима.

— У бабки Егорышевой самовар есть, — сказал Оськин. — Кило на два, не соврать. Не дает. Вот, говорит, если бы власть собирала… Может, побазарите с ментами, Дим Димыч?

— Побазарю, — сказал Дима. — Мать ничего не передавала?

— Вроде нет. Смурная она какая-то…

— Засмурнеешь тут.

— Пойду я. Выпускайте.

— Ну, счастливо. Благодарность тебе от имени штаба.

— Да ну. Пятерки на выпускном — вот так бы хватило!

Дима засмеялся.

— Год впереди — накачаю тебя на пятерку.

— Это не так интересно, — засмеялся в ответ Оськин. — Вот на халяву бы. На халяву, говорят, и уксус сладок, а?

— А еще говорят: тише едешь — морда шире. Беги. А то засекут тебя здесь…

Дима выглянул в коридор, убедился, что никого нет, и пропустил Оськина мимо себя. Прячемся уже просто по привычке, подумал он. Оськин, умудрившись ни разу не скрипнуть половицей, свернул на лестницу. Дима дождался, когда хлопнет входная дверь, запер замок и вернулся к столу. Шестьсот пятьдесят граммов… Он свернул ткань — застиранную фланельку, похоже, четвертушку старой пеленки. На рубашку одной пули уходит два грамма. Если Оськин добудет и самовар… Ладно, это пока мечты. Что нам пишут? Он вскрыл конверт. Как и в предыдущие дни — голубоватая, очень тонкая бумага. Черные чернила. И его, Димин, почерк…

«Мой тебе привет и наилучшие пожелания! А также поздравления: ты включен в список. Впрочем, этого следовало ожидать: тебя сходу назвали восемь из Одиннадцати. Как понимаешь сам, это — не только честь, но и хлопоты, и дальняя дорога, и, может быть, пиковый интерес. Будь готов ко всему. Неизвестно, как долго продержатся сами Одиннадцать, напор все нарастает, оракулы же, по обыкновению, либо молчат, либо говорят банальности — которые постфактум будут признаны эталоном провидческой мудрости. Такие пророчества сбываются при любом исходе дел. Кассиус передает просьбу: присмотреться к жене Архипова. По всем константам она из Неизменных, но либо латентна, либо предпочитает находиться вне игры. Либо… понимаешь сам. Постарайся вызвать ее на разговор о древних цивилизациях, древних знаниях — возможно, тогда что-то прояснится. Но не нажимай слишком — если она латентна, а ты вызовешь сдвиг, то на тебя все и выльется. Действуй мягко, осторожно, ненавязчиво. Да, и еще: телефон 2-1-2 больше не ответит. Там все кончено. Остались 2-8-6 и 2-9-0, это Стасик Пионтковский и Маша Чепелкина. Постарайся остаться в живых. Ты нам очень нужен.»

Как и вчера, и позавчера, Дима испытал вначале оторопь, потом — чувство, что написанное чрезвычайно важно, потом — странное, тайное, недоступное самому понимание, понимание, вызывающее мутный, багровый жар в затылке. Сквозь этот жар он видел, как руки сами мнут письмо и тянутся за спичками… Потом все кончилось.

Он растер тонкий пепел и долго сидел неподвижно, уставясь сквозь стекло, сквозь голые, как зимой, костяно-белые ветви на дальние сопки, на высокий правый берег Ошеры, на огромный вековой кедр над крышей больницы. Как в темном котле, кипели какие-то мысли, чувства, предчувствия, и постепенно со дна поднималась, вытесняя все прочее, горькая спокойная гордость, ясное понимание того, что да, теперь все решено и подписано, все будет так и никак иначе, я сам того хотел и к тому стремился, и продолжаю хотеть и стремиться, я предупрежден о неминуемых последствиях, но решение остается прежним… что-то подобное он мог бы сказать, если бы кому-то нужны были эти слова. Но никто его не слушал и не слышал. А потом раздался громкий стук.

Бросив в сумку сверток с серебром и проверив, в кармане ли нож, Дима отпер дверь. На пороге стоял капитан Ловяга.

— Добрый день, Дмитрий Дмитриевич. Разрешите войти?

— Входите. Садитесь вон… — Дима показал на стул. — Чаю хотите?

— Пожалуй, что нет. Я хотел еще порасспросить вас о делах этой ночи…

— Попробуйте. Но, мне кажется, я сказал все, что знал. Добавить нечего.

— Наверное. Допускаю, что вы рассказали все, что знаете по конкретному убийству. Но давайте расширим круг тем, что ли. Вообще все, что происходит — как вы расцениваете?

Дима хотел ответить резкостью, но сдержался. Ночью он пытался тыкать Ловягу носом в вопиющие нарушения обыденности, но тот, как кот Базилио, изображал из себя слепого и говорить хотел только о пяти сольдо…

— Вы «Солярис» читали? — спросил он.

— М-м… давно. Подзабыл уже. А что?

— Там события происходят с несколькими людьми. С тремя. И материализуются воспоминания — то, что хочется забыть. А у нас — двенадцать тысяч человек. И материализуются страхи.

— Как это — материализуются? Каким образом?

— Не знаю. Честно говоря, меня это даже не очень интересует.

— Не понимаю. Ведь в этом все дело! Выяснить причину…

— И устранить ее? Знаете, Родион Михайлович, я больше чем уверен, что устранить причину будет не в наших силах.

— Почему вы так в этом уверены?

— Как сказать… Если все происходит вне нас и независимо от нас — как учит диалектический материализм — то, значит, мы имеем дело с физикой, до которой еще не доросли. Вон, взгляните на солнце… или взять этот барьер вокруг города… Если же все происходит в нашем сознании, то дело еще безнадежнее: в поисках причин мы заберемся лишь в собственные дебри. Наконец, если правы мои пацаны и над нами ставят эксперимент инопланетяне… или кто-то еще, не важно… то, думаю, они позаботились о том, чтобы ни до целей эксперимента, ни до методики его мы не докопались…

— То есть — все бесполезно?

— Я бы сказал — бессмысленно.

— И в рамках этого убеждения…

— Давайте вспомним, как это началось, — предложил Дима. — Черные машины и ночные аресты. Вы, как я понимаю, к этому причастны не были… Потом — волки. Потом — окаменевшие. И дальше — как снежный ком… Страх — это великая сила.

— Хорошо. Допустим, я согласился. Что дальше? Дальше-то что?

— Перестать быть стадом. Подавить страх. Уничтожать все эти… материализации. Тогда, может быть, удастся переломить… Если не удастся — нам всем конец. У вас есть какое-нибудь оружие?

— Только «макаров».

— А вообще в городе?

— У милиции шесть автоматов и десяток пистолетов. У военкома два автомата. Охотничьи ружья — почти в каждом доме.

— Вот и взялись бы — отряды самообороны, патрули по ночам… Побольше шуму. Это отгоняет страх.

— Допустим… А вы — лично вы, что намерены делать?

— А я, — усмехнулся Дима, — как всякий беспринципный интеллигент, собираюсь пойти наперекор всему тому, что только что вам говорил, и добраться до первопричины. Только не просите, чтобы я что-то объяснял. Здесь все так накручено… Впрочем, действуя в том же направлении — преодолении страха. Может быть, чуть более интенсивно, чем предлагаю вам.

— На всякий случай держите меня в курсе.

— Вряд ли это необходимо… Кстати, кто у нас сейчас власть?

— Не знаю. Я, наверное, еще Василенко, потом военком… все.

— Удрали остальные?

— Удрали. Возле барьера горкомовский «уазик» стоит, черный весь, а внутри что-то шевелится. Я не стал подходить.

— Правильно. В общем, объявляйте мобилизацию, объясните, что нужно ходить с оружием… пусть лупят во все, что подозрительное.

— Ладно, это мы обговорим.

— Главное — чтобы не жались по домам и не боялись.

— Попробуем. Вы собирались идти куда-то? — Ловяга кивнул на Димину сумку.

— Да, в школу.

— Я провожу, не возражаете?

— До школы. Там, внутри — я один.

— Разумеется…

Выпустив Ловягу в коридор, Дима присел на корточки и мелом на полу начертил пятиконечную звезду — лучом к порогу. Так его научила Леонида. Ловяга с удивлением смотрел сверху.

— Вы что — верите в это?

— Здесь и сейчас — да.

— Хм…

— Поймите же, черт возьми, — с накатившим раздражением заговорил Дима, — мы попали в ситуацию, в которой весь наш опыт — ноль, и прежние знания — ноль, и вообще здесь все абсолютно другое, а что похоже на прежнее, так оно обман… Представьте, что наш город — декорация, поставленная на другой планете, и об этой планете мы знаем только одно — тут все иначе, понимаете? Все по-другому. Непредсказуемо. И надеяться можно только… только на… — Дима замолчал. Ловяга осторожно смотрел на него, и Дима понял, что капитан боится, но еще не осознает собственного страха. Боится услышать что-то такое, что испепелит последние его надежды… — В общем, забудьте, кто вы есть, забудьте все — и смотрите так, будто видите все впервые…

— «Взглядом младенца смотрите на тени, и ошибки богов откроются вам», — сказал Ловяга. Дима сделал вид, что не обратил внимания на цитату. — С другой стороны, Дмитрий Дмитриевич, если ваши рассуждения верны… получается, мы сами себя запугиваем, и это идет по нарастающей, правильно?

— Да. Тихо! Смотрите!

Они уже спустились на первый этаж и были в шаге от входной двери. Дима помнил, что дверь хлопнула, когда выходил Оськин — пружина была очень сильной. Теперь она стояла открытой настежь, пружина растянулась; так делали иногда, чтобы проветрить подъезд: подпирали дверь кирпичом. Сейчас ее ничто не удерживало.

— Что такое? — шепотом спросил Ловяга.

— Не понимаю…

Ловяга достал пистолет, снял с предохранителя; держа стволом вверх, сделал несколько мелких шажков к двери.

— Не ходите, — сказал Дима. — Тут что-то не так.

Они стояли и смотрели в проем, слыша только дыхание друг друга. Им виден был свежий, недавно обновленный дощатый тротуар, кусочек плотно утрамбованной гравийной дороги и дом напротив — такой же черный двухэтажный барак послевоенной постройки. Потом послышались звуки: медленное цоканье копыт. Оно приблизилось, и Дима вдруг почему-то взял Ловягу за рукав и потащил назад, вглубь, в темноту подъезда. Они прижались к обитой дерматином двери первой квартиры, Дима увидел пломбу и вспомнил, что за этой дверью ночью зарезали азербайджанского парня Максуда и кровью его написали на стене: «За Сумгаит!» — и еще какие-то значки, похожие на армянские буквы — но не армянские буквы, это Дима знал твердо. С тех пор прошла, кажется, вечность, и даже Ловяга, похоже, перестал подозревать в убийстве армянских строителей-шабашников, работавших в леспромхозе… тем более, что до них не добраться…

Наконец, звук копыт — неимоверно громкий — достиг высшей точки, и Дима увидел человека в черных очках, ведущего в поводу громадного коня. Конь шел, опустив голову, и при каждом его шаге вздрагивала земля. Он был неопределенной масти, Диме показалось — серо-розоватый. В седле, сгорбившись, сидел кто-то, с головой укрытый черным покрывалом. Эта процессия не могла быть в поле зрения больше трех-четырех секунд, но почему-то они все шли, и шли, и шли, и грохот копыт заполнял собою все на свете… Наконец, это кончилось. В наступающей тишине возник какой-то новый звук — рядом. Дима с усилием перевел взгляд на Ловягу. Капитан скрежетал зубами. В полумраке глаза его казались огромными.

А потом из-за открытой створки двери вышла крыса. Встав столбиком и наклонив голову, она долго и напряженно вглядывалась в сумрак подъезда. «Стреляй», — шепнул Дима. Ловягу не слушались руки. Крыса повернулась, еще раз посмотрела внимательно, словно запоминая, через плечо, и ушла. И тут же дверь с грохотом захлопнулась.

— Ключ! — клацнул Дима, и капитан его понял. Замок опломбированной квартиры сдвоенно щелкнул, Ловяга скользнул в приоткрывшуюся щель, Дима за ним. Привалившись к двери изнутри, Дима перевел дыхание. В подъезде послышался мягкий множественный шорох.

Дима крошащимся мелком нарисовал на двери звезду Давида, а на полу — пентаграмму. Не забыть взять в школе мел, этот кончается…

— Боже мой… — прошептал Ловяга. Он стоял на пороге комнаты, в которой был убит Максуд. Дима заглянул в комнату через его плечо.

Внутри мелового контура лежавшего здесь тела творилось что-то дурацкое: растущие из пола тонкие светящиеся нити, похожие на нежную плесень, дрожа, то складывались в лежащее навзничь тело с откинутой головой, и лицо его менялось, переходя от мучительного оскала к странной умиротворенности, — то вдруг тело исчезало, и появлялся кусочек городского пейзажа: угол большого дома и маленький домик, кусты и деревья, тротуар, переходящий в лестницу, неподвижные фигурки: мужчина с собакой, женщина в шляпке, мальчик на трехколесном велосипеде и тоже с собакой…

— Пошли, — Дима тронул Ловягу за плечо.

От окна он оглянулся: пятна крови в углу и кровавые буквы на стене поросли той же плесенью, и там тоже происходило какое-то движение, но фигурки были слишком мелкие, и разбираться в них было некогда. Ловяга потянулся к шпингалету, но Дима поймал его руку, подышал на стекло и пальцем изобразил на туманном пятне рунный знак «двойной лев». Стекло рассыпалось на мелкие осколки и вылетело наружу, будто с той стороны внезапно исчез воздух. С подоконника Дима спрыгнул на завалинку, а с завалинки — высокой, почти в полтора роста — на землю. Капитан последовал за ним.

Дворик Диминого дома был тесен и весьма покат; отсюда начинался склон лощины, выходящей к Ошере пониже пристани. Но идти по лощине Диме решительно не хотелось. Поэтому, проскользнув под забором по сухому водостоку в соседний двор, он круто свернул направо, к жалкому огородику бабки Мамаихи, выдернул из грядки две недозрелые чесноковины, одну сунул в карман себе, другую подал капитану. По почерневшим от времени доскам они прошли мимо мамаевского осевшего набок домика. На калитке ворот Дима мелом изобразил тот же рунный знак, но ничего не произошло. Тогда он отворил калитку и вышел в переулок.

Переулок был пуст. Неимоверная чистота повсюду и скелеты деревьев над крышами придавали пейзажу вид незаконченной декорации.

— Слушайте, — шепотом сказал Ловяга, — откуда вы все это знаете?

— Объяснили, — не вдаваясь в подробности, ответил Дима. Он оглядывался по сторонам, стараясь почувствовать обстановку. Тишина была неполной, и это тревожило. Впрочем, полная тишина тревожила бы еще больше.

— Но надо же всем… чтобы все знали…

— Делается, — сказал Дима. Он посмотрел на часы. Было без четверти пять. — Уже напечатали, наверное. К ночи разнесут.

Загавкали впереголосок собаки. Гавкали смущенно, презирая себя за пережитый страх.

— Вы мне что-то начали говорить там, на лестнице, — сказал Дима. — Что-то интересное. Но нас прервали.

— Напомните.

— Ну, вы процитировали «Черный посох», а потом начали подвергать критике мою гипотезу…

— Да-да, что-то же пришло тогда в голову… забыл. Вроде того, что, если ваша теория верна, то те, кто вызывает к жизни те или иные страхи, будут становиться их первыми жертвами, и постепенно все пойдет на убыль…

— Выгорят дрова, да?

— Можно и так сказать. После гибели какого-то наиболее образованного слоя изощренные кошмары исчезнут, и останется что-то примитивное…

— Уж не думаете ли вы ускорить этот процесс?

Ловяга споткнулся. Диму вдруг затошнило. Ловяга не заслуживал таких слов. Впервые увидев его, Архипов сказал: «Странно: гэбист, а глаза людские». Ловяга был по-настоящему озабочен теми исчезновениями пацанов и сумел даже организовать прочесывание тайги. До последних дней он был убежден, что имеет дело с какой-то террористической группой, избравшей далекий Ошеров учебным полигоном. В общем, от подлеца Петрунько он отличался диаметрально…

— Извините, Родион Михайлович, — сказал Дима. — Мне не следовало этого говорить. Я не думаю так.

— Я понимаю, — сказал Ловяга. — Я не обижаюсь. Надо быть в ответе…

Из переулка они свернули на Коммунистическую. Улица, на которой жил Дима, была Ленина, а переулок — Колымским. Вся слободка называлась Колымой. Это был один из ошеровских анекдотов: от Ленина к коммунизму путь лежал только через Колыму.

— Я тогда еще вот что хотел сказать, — вспомнил Ловяга. — Вы говорите: страх. А эти деревья? Или солнце, луна? Или барьер? Ну, барьер еще туда-сюда, а пыль и мусор куда делись? В этом-то какой страх?

— Нечеловеческий, — сказал Дима. — Я подозреваю, что в нашем городе уже не все жители — люди.

— Хотел бы я знать, кто из нас сумасшедший, — с тоской сказал Ловяга.

— Я пришел, — сказал Дима. — Думаю, мы еще увидимся сегодня. И вот что: попробуйте позвонить 2-86 или 2-90. Не знаю, что из этого получится…

— Хорошо, — сказал Ловяга. — Тогда мы не прощаемся…

Школьную калитку украшала замысловатая рунная фраза, которой Дима не знал. Но нанесена она была явно рукой Леониды, поэтому Дима вошел смело и двинулся по песчаной дорожке мимо зарослей татарской жимолости — единственного, кроме травы, растения, оставшегося зеленым — к школьному крыльцу. Некоторое время он чувствовал на себе взгляд капитана; потом это прошло. Ступени тоже были испещрены. На крыльцо он подниматься не стал, а пошел в обход, к котельной. Дверь в котельную была запечатана тавром царя Соломона. Дима постучался особым стуком и на вопрос: «Кто?» назвался:

— Третий.

Почему-то вдруг, пока с той стороны гремели засовом, он испытал острую необходимость оглядеться. Не оглянуться, а именно оглядеться. Слева, за голыми деревьями и зелеными кустами проступал забор, черная литая решетка с поднявшимися на задние лапы львами. Клумбы пылали настурциями. Там, где забор кончался, виднелись такие же литые чугунные перила лестницы, ведущей под обрыв: там, на обширной террасе, было продолжение школьного двора. Стадиончик и тому подобное. Дальше берег уже окончательно обрывался к воде, но отсюда Ошера была не видна — только справа, далеко, блестел кусочек ее черного зеркала. Прямо же, рукой подать, будто это и не противоположный берег судоходной реки, возвышалась светло-серая, в мелкую крапинку, осыпь, а над осыпью нависал сплошной, похожий на мох, еловый ковер. Дальше, образуя горизонт, шли полусферические, как каски, сопки, с редкими светлыми проплешинами. Небо было равномерно белесым и излучало свет. Касаясь угла школьного здания, висело солнце — призрачным кольцом. Почему-то сильно пахло разогретой хвоей — как в бору в солнечный безветренный день.

— Входите, Дим Димыч, — сказали ему.

Снимки были отличные, четкие, и, перебирая их, Дима думал: это вторжение. Вторжение. Вторжение… Ах, как славно, если это действительно вторжение! Как это легко и понятно. Это то, чего мы даже немного ждем и к чему исподволь готовы. Просто гора бы с плеч… и не ломать голову над темой возвращения старых богов в завершение шеститысячелетнего единобожеского цикла… Голос Леониды был странно безжизнен тогда, и лицо не менялось. Великие битвы полыхали в долине Иордана, и под ударами адептов Яхве пали города Адме, Севоим, Гоморра. Почитающие богов пантеона держались только в Содоме, за его неприступными стенами. Все меньше их становилось… В ослабленные голодом и огнем сердца вкрадывалась слабость, и кто-то, не вынеся мук осады, открыл ворота врагу. Две ночи и день шла резня на улицах города, и рушились поруганные храмы. Лишь храм Ашеры, богини-воительницы, стоял неприступной цитаделью среди пожаров и крови. Высоко над стенами его поднималось божественное древо. А когда оно вспыхнуло, подожженное смоляными горшками, ворота храма открылись и плечо к плечу, по двенадцать в ряд, вышли закованные в медь жрицы. Короткие мечи они погружали в тела пьяных вином и кровью победителей, боевыми косами смахивали головы с их шей. Неудержим и страшен был их поход, и много воинов легло им под ноги. А когда они захватили и окружили кольцом городские ворота, по пробитому ими коридору пролетела конная сотня — это высшие жрицы уносили ветви и семена божественного древа. И когда конные скрылись в ночи, пешие воительницы перестали убивать… Много лет торговали ими на рынках от Египта до Шумера и дальше — до самой страны Шэнь, требуя огромную цену за редкую красоту и умопомрачающее искусство любви. А конные жрицы ушли в земли хеттеев, и след их преследователи потеряли. Шесть лет длился великий поход: по землям эниан, молоссов, дагаев и дальше — в край людей, не знающих меди и обычаев, но искусных в кремнях и кости; из них жрицы брали себе мужчин, мужей и проводников, а потом убивали их, чтобы не оставлять о себе ненужной памяти. С коней жрицы пересели в лодки и плыли по рекам, великим и малым, по воде и против воды, и остановили движение лишь тогда, когда в живых осталось одиннадцать из тех, кто вырвался когда-то из подплывающего кровью Содома. Одиннадцать — это был наименьший счет для того, чтобы вырастить божественное древо. И семя древа опустили в землю и поочередно полили своей кровью, пока росток не дал третьего побега. Но зимние морозы убили росток. И тогда весной вместе с новым семенем божественного древа опустили и иное семя — семя растущей здесь исполинской сосны с длинными хвоинами, собранными по три. И сущность древа перешла в росток этой сосны, и сосна выросла и уцелела. И рос вместе с ней храм — в глубину, в мягкий пористый камень сердцевины холмов. И стали сменяться поколения в тихой неторопливой жизни здесь, на краю тайги, над прекрасной рекой, под сенью вечного древа…

Ашереи-мужчины били в тайге зверя, чтобы есть его мясо и греться его мехом, и добывали плоды дерев, подобных вечному древу, чтобы вкус мяса никогда не наскучил; а женщины, метательницы стрел, взимали дань с воды и неба. И не переставал куриться жертвенный очаг у подножья древа, и одиннадцать жриц, меняя смертные тела, продолжали свое вековое служение. Каждая имела посвящение зверю: вепрю, быку, льву, коту, волку, коню, оленю, серне, крысе, обезьяне, агнцу. И только над своими зверьми имела власть жрица-воительница… Племя росло не быстро, потому что, благодаря содомским обычаям, каждая женщина имела лишь столько детей, сколько хотела сама и сколько дозволяли жрицы — но все же росло и расселялось по реке вверх и вниз, одолевая в мелких стычках и больших войнах приходящих иногда с Большой реки врагов, ибо боевое искусство храма Ашеры стараниями жриц не забывалось никогда… И так, почти в неизменности, ашереи прожили половину срока, назначенного старыми богами для своего возвращения…

Беда пришла с Большой реки. На тысяче лодок приплыло с низовий и поселилось на берегах ее племя, называющее себя Охон. Они поклонялись медвежьей голове, знали огонь и медь и были невозможно любопытны. Их нельзя было прогнать, от них не удавалось отгородиться. Повадки и обычаи их, шумные, веселые и простодушные, показались привлекательными многим молодым ашереям… Сменилось всего одно поколение, и царь ашереев перестал считаться с Храмом, а следом за царем — и многие из народа. Но, придя однажды с огнем, они нашли лишь обрушенные входы… Просто к тому времени Храм был уже устроен так, что коридоры его и переходы пронизывали и времена, и пространства. И жрицы, рассеявшись по необъятному миру, все равно присутствовали в Храме. Меняя смертные тела, они продолжали служить вечному древу — до завтрашних дней, до исполнения пророчеств, когда старые боги в блеске своем и величии возвратятся в этот мир — но прежде того через открываемые врата хлынут толпы порождений тьмы, бегущих от богов… и жрицам предопределено погибнуть в этой последней битве, ибо не могут державшие мир воспользоваться плодами своего служения…

Дима перетасовал фотографии, сложил в конверт. На него смотрели.

— Я возьму? — спросил он.

— Конечно, Дим Димыч, я много наделал, — солидно сказал Иван. — Берите.

— Как вам все это?.. — жадно спросил Павлик; глаза у него горели.

— Очень может быть, — сказал Дима. — Особенно те, где паровоз тащат…

— А зачем им паровоз понадобился, как вы думаете?

— Никак не думаю.

— Для балласта, — сказа Иван. — Чтобы не качало.

Этот узкоколейный паровоз валялся бог знает сколько лет у подножья Серафимовской сопки, километрах в десяти от города. На фотографии он как бы плыл над землей, оплетенный светлыми ветвящимися лианами. Перед паровозом и позади него шли двое — чем-то неуловимо отличающиеся от людей.

— Это ведь полное доказательство, Дим Димыч, правда? — не унимался Павлик. — С этим уже не поспоришь?

Дима пожал плечами. Совсем не хотелось втягиваться в дискуссию, тем более, что Павлика переубедить — дело безнадежное, так он бредит всякими пришельцами… И вдруг Дима испытал странное ощущение: как будто долго-долго звенело в ушах, и он к этому притерпелся и научился справляться — и вдруг звон прекратился. Что-то подобное случилось сейчас с его мыслями, но что именно — понять было нельзя, и осталось только чувство облегчения…

— Снимали, значит, с Сивой горки… — начал он, но тут в дверь постучали условным стуком.

— Это Танька, — сказал Иван и пошел открывать.

— В общем, так, Павлик, — сказал Дима. — Задание на завтра: поднимись на Катеринину сопку и сделай круговую панораму. Постарайся успеть до полудня. Потом — сюда. Договорились?

— А зачем?

— Есть одна мысль…

По лестнице спустились Иван и Татьяна. Иван, галантный кавалер, шел первым и нес Татьянин рюкзачок.

— Тяжеловато вам будет, Дим Димыч, — ухмыльнулся он, взвешивая рюкзачок на руке. — Постаралась девушка…

Поставленный на стол, рюкзачок тяжело и глухо звякнул.

Татьяна молча откинула клапан, распустила узел. Связками по семь штук, до самой горловины лежали латунные гильзы.

— Пороха три банки, капсюля и девять пачек снаряженных патронов, — сказала она. — Все на дне.

— Танюха! — Дима прижал руку к сердцу.

— Да ладно, — сказала Татьяна. — А это вам, как обещала…

Она повернулась к Диме спиной и задрала свитер и майку до лопаток. Прямо к телу полосками пластыря был прикреплен пистолет. Дима осторожно отодрал пластырь. Потертый зеленоватый «ТТ» с деревянными накладками…

— Ну, Танюха, у меня слов нет, — сказал Дима. — Спасибо тебе.

— Патронов только одна обойма, — сказала она.

— У Василенки попрошу.

— Не говорите только, откуда ствол.

— Я еще не…

Долгий вибрирующий звук, идущий то ли сверху, то ли из-под ног, заставил его замолчать. Все прислушались, переглянулись. Звук не повторялся.

Дима завернул пистолет в газету и опустил в сумку. Шуршание бумаги было неприятно громким.

— Пойду посмотрю, — наконец, сказал Иван. Пашка молча пошел за ним.

Татьяна улыбнулась — полурадостно, полувиновато. Дима взял ее руки в свои и поднес к лицу. Пальцы Татьяны пахли металлом и ружейным маслом. Дима поцеловал их — все по очереди. Татьяна провела кончиками пальцев по его щеке, потом приподнялась на носочках и губами коснулась губ. Тут же отпрянула и сделала знак: тихо! По лестнице кубарем скатился Пашка.

— Идемте, там такое!.. — он не закончил и снова бросился вверх.

Там, наверху, в дверях стоял Иван в позе вратаря, пропустившего наилегчайший мяч. Что-то было не так, но что именно, Дима понял, только оказавшись под открытым небом. Само небо. Он уже успел за последние дни привыкнуть к равномерно светящемуся белесоватому куполу. Сейчас небо приобрело сиреневый цвет и гнусно мерцало, как ненагревшаяся кварцевая лампа. Солнце, которому положено было быть за школьным зданием, висело прямо перед глазами: даже не багровое, а вишневое, огромное, лохматое по краям и с темным, почти черным зрачком в центре. Кровавый глаз…

Это безумное солнце, возникшее в неположенном месте, вдруг высекло в Диме вспышку какой-то темной безжалостной радости. Что-то с чем-то сходилось, он получал ответы на не им заданные, но в нем звучащие вопросы… Мосты сожжены… Обратной дороги нет… Занавес подымается… Багровый глаз гипнотизировал его, притягивал, звал сделать шаг… И тут Татьяна закричала.

Она кричала дико и показывала рукой куда-то левее, Дима оглянулся и тоже заорал: из кустов к нему боком, по-крабьи, бежал огромный, с собаку размером, паук. Бежал он, к счастью, помедленнее собаки, и Дима успел влететь в дверь и захлопнуть ее изнутри, и прыгнувший паук с грохотом ударился в нее. Дверь в котельную была двойная: наружная, обитая железом, открывалась наружу и запиралась на засов; внутренняя, фанерная, открывалась внутрь и не имела ни засова, ни защелки — ничего, только проушины для навесного замка, да и те с той стороны! И оставалось только налегать на нее всем весом и стараться удержать, не дать открыться… Заскребли когти. Лом, лом тащите! — закричал Дима. Ребятишки посыпались вниз. Паук ударил еще раз, гораздо сильнее, Дима чудом удержался на ногах. Одолею ли я его ломом?.. Черт, иметь бы пару секунд — тогда можно закрыть наружную дверь… Но пары секунд не было. Паук ударил опять. Казалось, в дверь с силой метают пудовые гири. Мальчишки бежали обратно, один с ломом, другой с дворницким ледорубом: топором, наваренным на железную трубу. Дима взял ледоруб. Дождался, когда паук ударит снова, досчитал до трех и распахнул дверь, поднимая оружие — и понял, что проиграл. Пауков было два, один пятился от двери, другой шагах в семи подобрался для прыжка — и прыгнул. Дима попал в него — в самую морду. Тупое лезвие застряло в хитине, ледоруб чуть не выбило из рук. Паук с хрустом, ломаясь, врезался в косяк, а Диму отбросило на несколько ступенек вниз — он еле устоял на ногах. Второй паук метнулся ему на грудь, и он успел только заслониться, громадные жвалы сомкнулись на стали, когти впились в плечи и бока, передние короткие лапы тянулись к лицу и почти доставали, и страшная, сводящая с ума вонь не позволяла вдохнуть, и Дима давил, давил, давил из последних сил, уже ничего не понимая и ничего не видя — и вдруг оказалось, что схватка кончилась, что он встает, царапая ногтями по стене, а у ног его валяется бледным брюхом вверх этот безумных размеров паук, и лапы его вразнобой сгибаются и разгибаются, брюхо подрагивает, а из брюха вываливается и падает на пол толстая, как веревка, паутина. Он видел это как бы сверху, с большого расстояния — а потом внезапно вернулось все. Дима согнулся, и его вырвало желчью. По стенке он кое-как отодвинулся от этого кошмара, и тут оказалось, что паутина прилипла к штанам, и это было свыше всех сил — его опять чуть не стало рвать, но он все-таки сумел переломить себя, нашарил под ногами какую-то палку и кое-как отодрал плотно прилипшую гадость. Только после этого он смог осмотреться.

Иван стоял, сунув руки в карманы, и изредка икал, а пончик Пашка, обняв лом, рыдал в углу. Суровая Татьяна с «ТТ» в опущенной руке стояла над ним и отрывисто повторяла: «Сопля. Сопля. Сопля».

— Танька! — выдохнул Дима.

— Ништяк, — проворчала она. — Говорила же — берет их обычная пуля. Аргентум, аргентум…

И тут Диму настигла настоящая боль.

Он кряхтел и стонал, когда Татьяна раздевала его, когда промывала из чайника раны, бормоча: «Хуже рыси, хуже рыси, ей-богу…», когда перевязывала его же и ивановой разодранными рубашками. А потом боль как бы отдалилась, и стало легче — если не двигаться.

— Еще один, — вдруг будничным тоном сказал Иван. — Пончик, давай сюда лом.

Дима, вскрикнув, вскочил и оглянулся. Но это был не еще один. Это был все тот же. Он полз, цепляясь правыми ногами и стуча костяным телом о ступени. Левые ноги волочились, как хвосты.

— Погодь лом, — сказала Татьяна.

Она передернула затвор, подняла двумя руками пистолет на уровень глаз и выстрелила. Заложило уши. Паука подбросило на ступеньку вверх, секунду он будто бы балансировал, потом покатился и распластался у подножия.

— Берет их свинцовая пуля! — с нажимом повторила Татьяна. В звоне, наполняющем подвал, голос ее прозвучал странно.

— Это дневная тварь, — из своего угла сказал Пашка. — А то о ночных речь шла.

— А ты бы помалкивал, боец, — сказала Татьяна. — Не обоссался хоть?

— Танюха, не надо так, — сказал Дима. — Не добивай его. Мало ли, что по первому разу бывает?

— Когда бы по первому, — сказала Татьяна. — А то…

— Сам не знаю, что со мной, — сказал Пашка. — Не боюсь, не боюсь, не боюсь — а потом как лопнет что…

— Все это лирика, — сказал Дима. — Давайте как-нибудь выбираться отсюда.

**МИКК**

Девочка провела его в комнату без окон — впрочем, в этом доме нигде не было окон, — предложила посидеть на диване и вышла. Диван был неплох, но Микк все равно не сумел откинуться на спинку — сидел, склонившись чуть вперед и твердо упершись ногами в пол. В любой миг он мог вскочить. Здесь это ни к чему, но сбросить напряжение он был не в состоянии. Вернулась девочка — принесла чай и печенье. Чай был густой и без сахара. Кип не забыл. Кип много чего забывает, но как раз такое помнит железно.

— Он ничего не говорил? — зачем-то спросил Микк.

Девочка молча покачала головой и ушла. Странная девочка. Похожая на мягкую рыбку.

Микк потрогал портфель. Еще почти горячий. А здесь хорошо, прохладно. Правда, пахнет какой-то дезинфекцией. Прошлые разы, кажется, не пахло. Или пахло? Он стал вспоминать. Снова вернулась девочка и поставила на стол букет цветов.

— Чем это пахнет? — спросил Микк.

— Фильтры новые, — сказала девочка. — Утром меняли.

Ушла.

Вот так, подумал Микк. То ли пахнет новыми фильтрами, то ли пахнуть ничем не может, а значит, мне кажется. Галики идут. Или, как теперь их называют, нашки. Тот парень, Аспес, упоминал о запахе. Резком и на что-то похожем. Запах тревожил и отвлекал — перебиваемый ароматом цветов, еще сильнее, чем прежде.

Что скажет Кип? Интересно, что скажет Кип? Микк стал представлять себе все возможные ответы Кипа. Это мгновенно надоело, но остановиться он не мог. Надо выпить, подумал он. Надо срочно выпить. Граммов сто. У Кипа должно быть. По крайней мере, спирт есть наверняка.

Как же долго он моется…

Он только успел подумать об этом, как дверь открылась, и вошел Кип, доктор Кипрос Эф Маренго, в одних белых шортах и шлепанцах, с огромной черного стекла бутылью в руке. Запах дезинфекции усилился.

— Привет, ковбой! — сказал он, протягивая щетинистую руку.

— Привет, жопорез! — Микк эту руку пожал. Несколько секунд они давили друг другу кисти, и Микк победил, как всегда — но ему почему-то показалось, что Кипрос поддался.

— Примем в организм, а? — предложил Кипрос, встряхивая бутыль.

— Я что, когда-нибудь отказывался? — вернулся на диван Микк.

Вот теперь он смог сесть нормально: откинувшись, заведя за голову руки, положив ногу на ногу… Лет десять назад на курсах социальной гигиены — занесло же, запоздало удивился Микк — лектор доказывал им, что алкоголь на организм практически не влияет, а влияет ритуал: добывание бутылки, ожидание, разлив, тост… На следующую лекцию вместо воды ему налили чистого спирта в стакан. Порезвились.

Но вот надо же — не пил, а полегчало…

В бутылке оказался ромовый пунш. Кипрос поверх бокала подмигнул Микку.

— Ладно, — Микк поставил пустой бокал на журнальный столик; получилось слишком громко. — Что скажешь?

— Что скажу? — переспросил Кипрос. — Что тут можно сказать… Мне кажется, что это не артеноны… Ты знаешь, что такое «артенон»?

— Существо искусственной природы, — сказал Микк.

— Примерно так… да. Так вот: я надеялся — надеялся, старина, действительно, надеялся — что это те твари, которых сделала группа Лорана. Не слышал про это? Артеноны-насекомые, которые питались бы всяческими отходами… Потом оказалось, что они не отличают отходы от двуногих прямоходящих… Мозгов-то нет. Два ганглия, и все. Я участвовал в ликвидации лаборатории. И было это в позапрошлом году. Так вот, я надеялся, что это те… Оказалось — только похожи. Хромосомный набор совсем другой, я уж не говорю про анатомию… Мутанты, Микк. Явно мутанты. С теми — я знал, что делать. Этих берет только серная кислота.

— Мутанты? Это что — из-за радиации?

— Если б я знал… Вряд ли — лучевые мутации калечащие, а здесь все гладко. Кроме аппарата размножения. Редуцирован почти до ничего. Как у рабочих пчел.

— Что же они — рой? Семья?

— Думаю, да.

— Очень мило…

— Зато можно прихлопнуть матку.

Микка передернуло. Он с детства почему-то терпеть не мог ни муравьев, ни пчел. Именно из-за того, что они размножаются таким мерзким конвейерным способом. К паукам и тараканам он относился спокойно.

— Я подозреваю, что тут без генного инженеринга не обошлось, — продолжил мысль Кипрос. — Но он какой-то… несистемный. Логики не чувствую. То есть чувствую, но это не логика. Как будто… Давай еще тяпнем.

— Давай.

— Это как шифр: понятно, что для чего-то цифирки стоят именно такие. Но для чего именно… При этом цифирки бегают и все подряд жрут. Даже стекло. Ты видел, что они в той бутылке почти прогрызли дыру?

— Нет. Дыру? Не может быть…

— А то, что в бензине две недели жили — это может? Абсолютно без кислорода. Высшие анаэробы — точнее, облигатные анаэробы… не бывает. Но есть. Жрут все и все усваивают. Не удивлюсь, если обнаружится, что и элементы синтезируют. Надо добыть их еще.

— Да, — с уважением сказал Микк. — Это ты здорово придумал. Как охотиться будем? С борзыми или с таксами?

— С подсадной! — взорвался Кипрос. — Какого дьявола! Не делай вид, что не понимаешь! Ты все… — он внезапно замолчал и снова потянулся к бутылке.

— Мне хватит, — сказал Микк. — А то усну. Неделю уже…

— Кофе будешь?

— Да, пожалуй.

— Флора, кофе господину сыщику! Побольше и покрепче!

Забавно, подумал Микк, я почему-то никак не могу заставить себя задать вопрос, а он уже знает этот вопрос, знает ответ — и молчит. Значит, все плохо…

Два часа назад он просмотрел материал, полученный от Купермана. Запись была сделана в конце июня в палате псионического центра. Сам инцидент произошел сутками раньше. Пострадали — фобический шок третьей степени — два эрмера. Их привели в сознание, накачали транквилизаторами и сняли показания.

Первый, Бруно Аспес, сорока лет, имеющий двадцать восемь месяцев горячего стажа, производил жутковатое впечатление. Так выглядел бы биоробот с подошедшим к концу ресурсом. Бумажные глаза и равнодушная прерывистая речь — будто человек говорит не сам от себя, а переводит, весь уйдя в слух, неслышимые другими фразы. …Получив информацию, что в полицейском участке района Хикон находятся мужчина и женщина, оба в состоянии глубочайшего испуга или, как мы это называем, фобического шока, отправились туда с Карлом Сониным… Информацию передал полицейский по фамилии Йерико, я его знал по предыдущей работе… Мы надеялись успеть раньше скорой помощи, чтобы произвести скенирование, поскольку скорая при подобных случаях всегда вводит наркотики, после чего скенирование невозможно… Но мы не успели, пострадавших уже увезли в больницу, начав подготовку к методу Штольца-Гусмана… Тогда мы отправились по месту жительства этой пары, в участке мне сообщили фамилию и адрес, но сейчас я их не помню… Карл остался в машине, а я прошел у него проверку и вошел в дом, соблюдая обычные меры предосторожности… Мне показалось, что в доме стоит странный запах, который я не могу определить… В спальне было почти темно, потому что на окнах висели плотные металлизированные шторы… Показалось, что запах усилился… Сначала мне показалось, что на полу лежит мохнатый ковер… Но этот ковер шевелился, я остановился, чтобы рассмотреть… В одном месте он поднимался на стену примерно на высоту моего роста, а в углу комнаты, немного выглядывая из-под ковра, лежало еще что-то… что-то непонятное, я даже не могу его описать… Оно шевелилось и шуршало, как бумага… И все. Больше я ничего не помню.

Второй, Карл Сонин, девятнадцати лет, стажер. Коротко стриженый мальчишка с упрямым ртом и крепкой шеей. Сумел обездвижить беснующегося Аспеса, но применить гипноген не смог — не хватило рук. Тогда принял решение: доставить Аспеса в расположение Корпуса, а поскольку источником заражения могли стать именно служебные каналы связи — сделать это без предварительного уведомления. Оглушенного Аспеса он посадил на переднее сиденье, приковал наручниками к двери и на большой скорости погнал на ближайшую эрмеровскую базу. По дороге он пытался восстановить речевой контакт, но безуспешно: Аспес говорил, но понять его было невозможно. Потом боковым зрением Карл уловил какое-то движение. Он повернул голову: по лицу Аспеса ползали длинные извивающиеся тараканы. Именно длинные извивающиеся тараканы. Казалось, они выползают из носа, изо рта… лицо Аспеса было неподвижно, глаза закатились, он был как мертвец и говорил как мертвец. И Карл уверен, что было помимо этого что-то еще, чего он не запомнил, потому что у него крепкие нервы и ни тараканов, ни говорящих мертвецов он не испугался бы… не испугался бы так. Было что-то еще… Карл Сонин резко затормозил прямо на разделительной полосе, выбросился из машины, упал, сломав ногу, бежать не мог, но полз куда-то… счастье, что его не раздавили. Их отвезли в тот же полицейский участок и позвонили в Корпус. Прибывшая дежурная группа пыталась применить гипноген — безуспешно. Проверка скенером показала, что кодон чрезвычайно низкоразрядный, но необычного цвета — его сходу окрестили инфракрасным. Поэтому пришлось загружать пострадавших наркотиками и перенастраивать гипноген. Лишь на следующее утро попытки освобождения дали результаты… частичные, как оказалось: Бруно Аспес через неделю повесился, а Карл Сонин резко переменился: стал вспыльчив и одновременно медлителен; псионики не гарантируют выздоровления.

Микк поймал себя на том, что разглядывает Кипроса: сине-бритый череп, синие полоски на месте бровей, уже начинающие обрастать щеки и подбородок. Когда Кипрос был помоложе и роскошной шевелюрой приманивал девушек сильнее, чем маяк — перелетных птиц (с тем же, кстати, исходом), — ему приходилось бриться дважды в день… зато — только лицо. Сейчас он сидел, обхватив сплетенными пальцами голое колено и, вытянув губы, беззвучно дудел себе под нос. И Микк понял вдруг, что Кипрос страшно напряжен, напряжен еще больше, чем он сам, но зачем-то играет роль, нацепив маску прежнего Кипа…

— Что случилось, Кип? — тихо спросил он. — Что-то с?..

— Да.

— Когда?

— Последний раз я видел ее неделю назад. Соседи сомневаются — четыре дня не видели или пять…

— Полиция?

— Как всегда.

Вошла девочка, неся огромную коническую колбу, до половины полную густой черной жидкостью. Микка тут же накрыла волна запаха — настоящего кофейного.

— Спасибо, Флора! — Микк испытал острый позыв чмокнуть девочку в щеку, но удержался.

— Пожалуйста, — не улыбнулась в ответ девочка.

— Она что, всегда такая? — спросил Микк, когда девочка вышла.

— Это племянница Агнессы.

— Боже…

Они помолчали. Потом Микк налил — осторожно, тонкой струйкой, чтобы не треснуло стекло — кофе в бокал. Пальцы никак не хотели сжиматься, рука подрагивала, но он пересилил себя и довел дело до конца.

— А теперь рассказывай, — глядя на него поверх своего бокала, сказал Кипрос совсем новым голосом. — До чего докопался?

— Докопался… — Микк сделал глоток, обжигающий сладкий комок камешком упал в желудок. Почему-то бросило в пот. — Докопался вот, понимаешь…

И он стал рассказывать, перебивая себя, о том, до чего докопался — в самом прямом смысле слова — за последние дни и о том, что из этого, возможно, следует. О февральском скандале с заменой главврача скорой помощи и о первом приказе нового главврача, бывшего полковника медслужбы, бывшего начальника секретной лаборатории так называемого «Центра Меестерса» Ладислава Савицкого: согласно этому приказу при фобическом шоке врачам линейных бригад предписывалось не подпускать к пораженным сотрудников любой немедицинской службы — а кому, кроме эрмеров, это надо? — и немедленно вводить наркотики. Тогда фобического шока было мало, единичные случаи — и эрмеры, кстати, справлялись с ними лучше медиков. Так что был странен и сам приказ, и то, что уже в апреле фобический шок стал одним из самых распространенных диагнозов, и даже шок четвертой, критической, степени случался едва ли не ежедневно… Тогда же, в апреле, участились исчезновения людей — правда, заметили это по-настоящему только в мае-июне. В большом городе такие случаи бывают постоянно, кого-то убивают преступники, кто-то уходит из дома, начиная новую жизнь, кто-то умирает там, где его долго не могут найти… тем более это часто случается в этом безумном городе с его закрытыми зонами, которые только считаются безлюдными… Но в апреле стали массово пропадать люди состоятельные, имеющие свои дома, как правило — одинокие пенсионеры, хотя и не только… и вот если все случаи таких исчезновений нанести на карту, а потом на нее же, но другим цветом — те точки, где «скорая» поднимала людей в состоянии фобического шока четвертой степени, то лягут они в прямоугольник размерами три на семь километров, в этакий коридор, соединяющий закрытые кварталы района Лимен с закрытой же зоной, которую в просторечии называют «Чертовой лапой». Именно там, над «Чертовой лапой», взорвался тот самолет, из-за которого добрую треть города пришлось эвакуировать. Но бог с ним, с самолетом. Пройдя по домам, из которых пропали люди, Микк — представлявшийся где страховым агентом, где просто желающим купить или арендовать недорогое жилье — обратил внимание на то, о чем не было информации в сводках: дома эти были только деревянными. Ни каменных, ни кирпичных, ни гипсоблочных, ни бетонных. Только деревянные. В одном из них он нашел ту самую бутылку, где в бензине плавали два длинных десятиногих таракана. Он вручил их Кипросу и, чувствуя свежесть следа, двинулся дальше. Но самое интересное он нашел, чуть свернув с тропы — случайно. Благодаря несчастью — если можно благодарить несчастье. Умер клиент — три дня назад. Отставной полицейский майор Ланком был найден в своем — деревянном! — доме, когда сосед — тоже бывший полицейский — прибежал на выстрелы. Ланком лежал, скорчившись, у порога. В правой руке был зажат револьвер, полицейский «Смит-Вессон» тридцать восьмого калибра. Пять патронов были израсходованы, шестой цел. Одна пуля разбила висевшее на стене зеркало, четыре попали в стену-перегородку, пробив ее насквозь. Микк, подходя к дому, увидел только, как увозят тело. Лицензия позволяла Микку осматривать места происшествий, да и полицейский следователь оказался нормальным парнем, не из тех, для которых нет злее врагов, чем частный сыщик и адвокат. Да, следователь слышал, что у майора пропал сын с женой… так это вы их ищете? И как успехи? Понятно… А теперь и сам, бедняга… врачи говорят — инсульт. Поймал, наверное, кодон, что-то померещилось — стрелять стал… много ли старику надо? Конечно… если что найдете — зовите… И Микк нашел. Но звать полицейских не стал, а пришел вечером… Позади дома была вырыта яма метра два глубиной, все ее, конечно, видели — яма и яма, мало ли зачем хозяин роет яму? Прямо под стеной. Ветряк, может, хочет поставить, сейчас многие ставят ветряки… То, ради чего была вырыта яма, напоминало корень, идущий из земли, изгибающийся и тремя ветвями врастающий в фундамент. Ветви были толщиной в большой палец, у дна ямы корень был с руку, а то и потолще. Нож по нему скользил, как по стеклу, лопата отскакивала. Микк углубился еще на полметра и наткнулся на разветвление. Чуть более тонкая ветвь уходила под дом, проникая, должно быть, в подвал. На следующий день он продолжил раскопки и обнаружил еще четыре ответвления. Сам корень стал толщиной с хорошее бревно. Потом копать стало невозможно, так как появились родственники и чиновники из мэрии. Микк пришел ночью и при свете фонаря алмазной ножовкой перепилил самую тонкую ветвь. Она была полой, как он и ожидал. Для того, чтобы исследовать материал, Микк сделал еще один пропил, но в последний момент отпиленный кусочек выскользнул из рук и упал в яму. Просвет в трубе был с мизинец, стенка трубы на распиле напоминала чугун. Из трубы шел сильный запах, напоминающий запах горящего полистирола. В свете фонаря были видны вылетающие пылинки. Микк спустился в яму за упавшим куском «корня», увидел его, наклонился — и тут произошло что-то странное: оказалось, что он стоит на мосту через Лайву и смотрит вниз, и что еще только закат…

Микк дошел до этого места и замолчал, ожидая, что Кипрос скажет: поищи психиатра… или что-то в этом же духе — но Кипрос молчал и смотрел куда-то мимо, и непонятно было, слышит он или нет, и Микк вылил в свой бокал тепловатую жижу со дна колбы, плеснул туда немного из бутылки, взболтал и выпил, и лишь тогда Кипрос посмотрел на него и спросил неожиданно:

— Ты с Дедом давно разговаривал?

— Давно, — подумав, ответил Микк.

— Давай съездим к нему. Я уже месяц собираюсь…

— А зачем? Что мы ему, собственно…

— Он умный, Микк. Он старый, но голова у него отличная. Не нашим чета.

— Не замечал, признаться.

— Он просто не показывает этого. В смысле — не выпячивает. Но если его как следует раскрутить, можно услышать дельные вещи.

— Н-ну…

— Он не боится, например, делать выводы. А вот я, например, боюсь. И он, мне кажется, многое понимает. А я не понимаю. Так что давай возьмем бутылочку, возьмем пожрать чего-нибудь…

— Послушай, речь ведь пойдет о вещах, которых он просто не может знать. Бывший церковный сторож — что он понимает в генетике?

— У Деда, между прочим, еще довоенный диплом Технической Академии плюс пожизненный полковничий чин инженерных войск. С правом ношения формы. В сторожа у него был уход. Как в кокон. Говорит, что нигде лучше не думалось, как на кладбище лунной ночью. А ты думал — он так… самородок?

— Да ничего я не думал.

— Врешь — думал. Ладно, сейчас я оденусь…

Снаружи было темно и душно — двойной контраст со светом и свежестью лабораторного корпуса. Зеленые цифры на фасаде, в числе прочего, показывали температуру: плюс тридцать три. Парниковый эффект, черт бы его побрал, подумал Микк, жара и постоянная влажность — но нет дождей, трассы циклонов сместились к югу, и дожди идут над морем. Интересно, что же нас, в конце концов, доконает: парник, озоновые дыры, насекомые-мутанты, эпидемии… Зверь, железная саранча, вода, ставшая желчью? Голод? Урожаи снижаются; пока выручает техника, но как долго это может продолжаться?..

Кипрос закончил формальности с пропуском Микка и вышел следом.

— Ты на машине?

Микк покачал головой:

— После этих дел… не решаюсь водить.

— Понятно. Тогда ловим такси.

— А твоя?

Кипрос махнул рукой.

Такси они поймали за углом, и Кипрос сказал адрес Деда.

**НИКА, ИЛИ АННАБЕЛЬ**

К вечеру второго дня маленький отряд вышел, наконец, к излучине реки. Этого ждали — и все равно получилось неожиданно: только что был лес, еловый, темный, едва проходимый — и вдруг деревья остались за спиной, и вместо пружинящего мха под ногами оказался щебень осыпи, уходящей к самой воде. Вода была темной, без бликов. Сразу потянуло холодом.

— По одному — за мной, — сказал Яппо. — Смотрите на меня и делайте так же.

Он просунул посох под мышку и, опираясь на него, как на хвост, поехал по осыпи на широко расставленных ногах. Потревоженный щебень покатился следом, догоняя и обгоняя его, засыпая ноги по щиколотку и выше — но Яппо доехал до самого низа, не покачнувшись даже, отошел чуть в сторону и махнул рукой.

Следующим пошел Берт. Он изобразил что-то вроде слалома, вызвав обвал посильнее предыдущего, и чудом вывернулся из-под каменной волны там, внизу, в последний миг запрыгнув на край русла осыпи. Яппо сказал ему что-то резкое, и Берт виновато покивал, прижимая руки к груди.

Генерал спускался в точности так, как показал Яппо. За генералом спустился Ваиз. Последней была Аннабель.

Берт уже разделся и стоял теперь, ежась от холода, лицом к реке. Генерал сбрасывал с себя одежду быстро и деловито, а Ваиз вдруг зарделся — и, заразившись от него, вспыхнула Аннабель. Она знала, что им предстоит, но не думала, что это будет так стыдно.

— Скорей, принцесса! — сказал Яппо. — У нас нет лишних секунд.

Аннабель кивнула и дрожащими пальцами принялась развязывать шнурки берестяного плаща. Потом стянула через голову свитер из грубой нечесаной шерсти, сбросила войлочные сапоги и, задержав дыхание, распустила узел на поддерживающей юбку веревке.

— Мазь! — сквозь долгий звон пробился голос Яппо.

Она полной горстью зачерпнула из берестяного туеса вязкую, пахнущую медом мазь и принялась размазывать по телу. И там, где мазь касалась кожи, исчезало чувство холода и стыда. И уже свободно она намазала спину Берту и повернулась, чтобы и он помог ей. Яппо быстро собрал сброшенную одежду в кожаный мешок, добавил туда несколько тяжелых камней, размахнулся и бросил — мешок, еле видный, упал где-то на стремнине, подняв фонтан брызг.

— Лицом к воде, скорее!

Все опустились на колени и, как учил Яппо, обхватили себя за плечи и наклонились вперед низко, как только возможно — чтобы лицо нависло над водой. Аннабель вдруг поняла, что не чувствует тела — а лишь камни под коленями. Вода заблестела, как покрытая лаком. В ней, даже стоячей, прибрежной, обнаружились два течения: одно, голубое, уходило вправо, вниз, к океану; другое, прозрачно-черное, быстрое, пульсирующее, из океана, из самых его глубин вело к вершинам гор, к истокам реки, а оттуда дальше — в зенит, в темное горное небо, впадая в вены медленных великанов, шагающих куда-то с известной лишь им целью… Черные волны накатывались, наполняя и раздувая вширь, как оболочку аэростата, несуществующее тело, и в какой-то миг Аннабель поняла, что давно уже не стоит на берегу, а летит, кружась, среди таких же аэростатов, мягких и почти бесформенных, и лаковая вода блестит то сверху, то снизу, и сквозь нее видны блестки, или звезды, или солнца, или лица, этого было нельзя понять, потому что взгляд не мог ни на чем остановиться. Делалось темнее, но это была не темнота ночи; странные, непохожие на снег хлопья закружились вокруг. Пурпурное мятое пятно проплыло наискось перед лицом, потом еще раз и еще, становясь все отчетливее и ярче, приближаясь и увеличиваясь, а Аннабель вдруг вспомнила предупреждение Яппо о красном свете и закрыла глаза. Исчезло все, лишь на изнанке век черненым серебром проступили незнакомые буквы, обозначавшие приближение конца пути. И это было так, скорость потока стала предельной, пульсация — переходящей в гул, и Аннабель, приоткрыв глаза, вновь зажмурила их, не в силах вынести смешения неистовых цветов. А потом в беззвучном грохоте столкнувшихся планет ее подняло, закрутило — уже телесную, тяжелую, живую — и понесло низко над землей, и уронило в обжигающий снег, и ничего больше не было очень долго…

Ее поднял на ноги холод, пронзительный, необоримый холод, и она вскочила, застонав от жуткой боли в переостывших мышцах. Голая, она стояла на дне засыпанной снегом лощины — одна. Потом рядом зашевелился снег, и встал генерал. Остальные, сказала она, не чувствуя рта и не слыша голоса, но генерал, наверное, услышал или понял так, потому что шагнул вперед, наклонился и погрузил руку в снег, и рядом с ним встал Ваиз. Берт, закричала она, Берт, Берт! Я здесь, сказал за спиной чужой голос, она оглянулась — нет, это был все-таки Берт, Берт… Куда, куда идти? За мной, идите за мной, сказал генерал и пошел, проваливаясь по бедра, по лощине вверх, и все двинулись за ним. Больно было невыносимо. Аннабель казалось, что ноги ступают по битому стеклу. Она падала, садилась в снег, но тут же вставала — сама — и шла дальше. До пещеры полмили, сказал Яппо, и эти полмили вам надо пройти… Было легче умереть, чем их пройти. Аннабель кричала и плакала, и рыдал за спиной Берт, а Ваиз лег в снег и не вставал, его поднимали, теряя последние крохи накопленного движением тепла, и подняли, и он пошел, а потом вдруг стало все равно и притупился холод, и ног не стало вообще, чужие механические подставки, а вокруг был только снег, а прямо впереди — синие вершины до половины неба. И они прошли бы мимо пещеры и погибли, если бы не Берт, он увидел вход и стал звать, а когда не услышали — обогнал всех, силой повернул и повел к красновато-серой проплешине, скрытой за ледяным бастионом. Аннабель еще успела увидеть черное круглое отверстие и слабый парок, идущий от него, и больше она ничего не помнила.

Просто была темнота — и все.

Потом вновь возникли время, звук и свет.

Время пришло с ударами сердца. И это был не единственный звук, раздавались еще мокрые шлепки капель и ритмичное бульканье. А свет исходил от широкого желтого язычка огня, питаемого неизвестно чем. И были ни во что не складывающиеся световые пятна. И все это было ничем, потому что ничего не означало. И так прошло много лет.

— Я понял, что вы очнулись, — сказал откуда-то голос Берта. — У вас изменилось дыхание.

Аннабель шевельнулась, и вернулось осязание. Но ожидаемой вспышки боли не было, к удивлению, и Аннабель шевельнулась сильнее, попыталась поднять руку… Рука слушалась, но двигалась с трудом, будто одолевая что-то вязкое, и вдруг Аннабель — сразу — поняла, что лежит в какой-то грязи, теплой и плотной, а голову ее придерживает ладонями Берт. И огонек лампы, освещающей своды пещеры, тоже стал ясен и понятен. И звуки, множество тонких звуков, приходящих отовсюду…

— Да, Берт, — сказала она. — Давно я… так?

— Без сознания? Часа два.

— А как остальные?

— Отогреваются…

— То, что говорил…

— Аннабель!

— Я помню. То, о чем говорил Дракон, нашлось?

— Все на месте, не беспокойтесь. Все хорошо.

— Мне надо вымыться и одеться.

— Не торопитесь. В рапе надо пролежать не меньше трех часов.

— Долго. Слушайте, Берт, а вы верили, что… получится?

— М-м…

— Понятно.

— Верил, думаю. Иначе не пошел бы…

— Это, наверное, не зависит одно от другого.

— Интересная мысль.

— Нет, правда. Вот подумайте как следует…

Они замолчали, и Аннабель опять соскользнула в сон. Ей приснился берег моря, дюны, поросшие искривленными соснами, опускающееся в воду багровое солнце. Она смотрела на солнце, а потом оттолкнулась от земли и полетела к нему — и в какой-то миг ей стало так страшно, что она вздрогнула всем телом и проснулась.

И одновременно с этим рука Берта потрепала ее по щеке, а голос сказал:

— Принцесса, пора.

Было светлее, за поворотом, невидимый сам, но щедро рассылающий оранжевые лучи, горел костер. Слышались голоса и звуки какой-то работы. Аннабель потянулась и села.

— Отвернитесь, Берт. Я встаю.

— Минутку, я дам накидку. Воздух холоднее рапы.

— Спасибо.

— Озеро рядом — вон там. Отмывайтесь. И осторожнее — там сразу по шею.

— Я помню — будто уже была здесь.

— В каком-то смысле — так оно и есть.

Берт подошел сзади, набросил ей на плечи мягкую шкуру какого-то несчастного зверя. Аннабель встала, удивляясь, как чудесно подчиняется тело. Закуталась — шкура доходила до колен — и, выдирая ноги из вязкой рапы, пошла к озеру.

Костер горел на самом берегу, дымок стелился над водой. Свод нависал совсем низко и метрах в сорока от берега, подобно небу, образовывал горизонт, смыкаясь с водой. Вода была неподвижна настолько, что это пугало. Против природы воды — быть такой неподвижной. И, разгоняя боязнь, Аннабель погрузилась в озеро.

Вторую часть путешествия Аннабель перенесла намного легче. Хотя путь из подземного озера к источникам, бьющим в долине, и дальше по ручьям, мелким речкам, застревающим в болотцах, каналу, перегороженному шлюзами — был извилист и долог. Выброшенная на песчаный пляж, она сразу обрела себя, приподнялась и огляделась. Ущербная луна, красная и тусклая, касалась края земли, а над водой небо светлело. Потом она почувствовала вкус соли на губах. Все правильно, это озеро Татль, оно же — залив Спасения, оно же — Брандтова Бездна… полусоленый-полупресный водоем в устье Акрона, отделенный от моря островной грядой на западе и неимоверно глубокий на востоке, там, где со стометровой высоты рушатся в него воды реки Лоуи…

Поднялся и выпрямился во весь рост генерал. Чуть дальше зашевелился Берт.

— Ваше высочество, вы в порядке? — очень тихо спросил генерал, не поворачивая головы — и что-то в его вопросе относилось не к самочувствию Аннабель.

— Да, мой генерал, — так же тихо ответила Аннабель. — Берт, — позвала она.

Берт подошел молча и встал рядом. Повернувшись лицом друг к другу, они втроем особым образом сомкнули руки и закрыли глаза. И опять на изнанке век Аннабель увидела непонятные знаки…

— Туда, — сказала она и показала рукой.

— Туда, — подтвердил генерал.

Они пошли в ту сторону, куда позвало их чутье, и через десять минут слева, на самом краю поля зрения, Аннабель увидела зеленовато светящееся пятно. Стараясь не менять угол зрения, она сделала несколько шагов в том направлении.

Это был песчаный холмик чуть выше колен. При взгляде в упор он не светился, но начинал мерцать, как только Аннабель отводила глаза в сторону.

— Нашла, — сказала она.

Втроем они быстро раскидали песок. В трех мешках была одежда, в четвертом — еда. Под мешками лежал длинный кожаный чехол, и когда Берт поднял его, лязгнула сталь. Последним извлекли солдатский ранец. Открывать не стали — знали и так, что там амулеты, документы и деньги. Бросив в яму по камню, заровняли ее руками и только тогда стали одеваться.

Теперь надо было уходить — далеко и быстро. Генерал вел, Аннабель старалась не отставать. Сзади дышал Берт. Становилось все светлее и светлее. Двести шагов бегом — двести шагом, двести бегом — двести… двести… двести… Меч бил по спине, по правому бедру колотил кинжал, по левому — наручень. Так они бежали до того момента, когда край оранжевого солнца возник над сине-дымчатым горизонтом и от всего вокруг брызнули острые тени. Тогда генерал сбавил шаг. Надо было искать место для отдыха.

Оно нашлось вскоре — огромное, как комната, дупло в теле полувыгоревшей секвойи. Осторожно войдя туда и никого не обнаружив, генерал махнул рукой. Берт и Аннабель сотворили знак закрытия. Может быть, теперь их не найдут.

Вернее — не заметят случайно. Потому что если будут искать…

Аннабель жестко усмехнулась про себя. За последние две недели, проведенные у Яппо, она достаточно четко уяснила, с кем именно ей придется иметь дело.

Шансов на успех не было ни малейших.

Но не было и возможности избежать схватки.

А победитель получал все.

Оставалось лишь принять этот жребий…

Они продолжили путь с наступлением темноты, отдохнувшие, выспавшиеся, почти сытые. Запас вяленого мяса и галет следовало растянуть на несколько дней, до выхода из приграничья. Пить воду можно было, но только выдержав ее в серебряной фляжке до потепления. Иначе невидимости, пусть относительной, пришел бы конец.

«Кошачьим глазом» Аннабель пользовалась и раньше, до знакомства с Яппо, но никогда не достигала такого эффекта. Казалось, что этот длинный тонкий ремешок, трижды охватывающий лоб, проходящий над и под глазами и перекрещивающийся на переносице, лишь немного осветляет сумерки и делает четче контуры предметов. Сейчас, после подготовки, Аннабель видела в полной темноте — но не глазами. И даже не видела, хотя и не могла назвать это новое — и именно шестое — чувство. Просто оказалось, что ей не нужно видеть предметы, чтобы знать о их присутствии, расположении и свойствах. И она шла, как днем, беззвучно и быстро. И так же беззвучно и быстро шли ее спутники.

Они наткнулись на стену там, где никакой стены не должно было быть. Шедший впереди генерал резко остановился, и рука Аннабель сама метнулась к рукояти меча. Берт, мгновенно обнажив оружие, повернулся к ним спиной, прикрывая от нападения сзади. Никакого движения не ощущалось, но в воздухе возник вдруг привкус спертости, несвободы. А потом — подозрительно кстати — в сплошном облачном покрове образовался разрыв, и свет луны лег на высоченную, может быть, в сотню человеческих ростов, гладкую стену с ровной, по линеечке, кромкой.

Генерал попятился, Аннабель, наоборот, шагнула вперед, и они столкнулись и остались стоять рядом, глядя на чудовищное сооружение, преградившее им путь. Неслышно подошел Берт.

— Бог ты мой! — сказал он шепотом.

— Месяц назад этого не было, — откликнулся генерал.

— Мне не нравится запах, — сказала Аннабель.

— Не чувствую, — сказал Берт.

— Мерзкий запах, — сказала Аннабель. — Очень слабый, но мерзкий.

— Да, что-то есть, — сказал генерал. — Похоже на соляр.

— Нет, что-то другое, — не согласилась Аннабель.

— Вообще-то, ваше высочество, по всему Альбасту теперь гуляют всяческие ароматы. А в столице пахнет хуже, чем в казарме. Правда, это редко кто замечает…

— Проклятая луна, — сказала Аннабель. — Только портит все…

— Не могли же такую махину отгрохать за месяц… — неуверенно сказал Берт.

— Я об этом же, Берт, — сказала Аннабель. — Тихо, не мешайте.

Обогнув генерала, она медленно двинулась вперед.

— Ваше высочество… — бессильно прошептал генерал.

Аннабель отошла настолько, чтобы ощутить себя стоящей отдельно. Прикрыла глаза веками, слегка развела руки и повернула их ладонями вперед и чуть-чуть вверх. И не почувствовала ничего…

И тогда, не открывая глаз, она сделала — считая их про себя — тридцать шагов. Остановилась и посмотрела глазами на то, что получилось.

Верхний край стены уже не был ровен и прям. Получилось так: по сторонам стена стояла, как стояла — зато прямо перед Аннабелью она то ли просела, то ли отдалилась, это было трудно понять… и еще Аннабель почувствовала, не оглядываясь, что спутники приближаются к ней и что мечи в их руках занесены для удара, и она оглянулась — и увидела кошмарную пасть, раскрывшуюся на нее, ощутила неистовую вонь, хлынувшую волной, отпрянула и упала на спину — но успела крикнуть:

— Это морок, морок!

Наверное, ее услышали и поняли. И не только спутники — пасть рассыпалась рыхлыми хлопьями. За пастью ничего не было. Мы выдали себя, подумала Аннабель. Но изменить уже ничего нельзя.

Берт не успел подать ей руку — она вскочила на ноги и скомандовала:

— Закройте глаза — и за мной!

— Это иллюзии? — уточнил генерал.

— Наверное. Нельзя здесь задерживаться. Уходим.

Их обдавало волнами смрада, пока они, пользуясь лишь приходящим откуда-то знанием обо всем вокруг, шли сквозь несуществующую стену. Ничего телесного не было вокруг них, и земля была ровной и мертвой — мертвой на всю глубину. Казалось, под ногами вечный лед, для приличия припорошенный пылью. В какой-то миг Аннабель не удержалась и приоткрыла один глаз — и тут же зажмурилась от испуга и отвращения. Разложившийся, в клочьях отставшей кожи, волоча выпавшие из разорванного живота внутренности, на нее шел мертвец. Необыкновенный свет исходил из земли, и запах разрытой могилы перехватил дыхание. Но Берт и генерал были рядом, Аннабель чувствовала их — и только их. Потом, сколько-то шагов спустя, она узнала, что впереди возникло, наконец, реальное препятствие.

Стена была, и точно такая же, какой они увидели ее в тот первый момент — но только высотой по пояс. На лице генерала не отразилось никаких эмоций, а Берт плюнул в сердцах. Он дышал учащенно, и Аннабель поняла, что Берт на всякий случай шел с открытыми глазами.

— Хитро придумали, сволочи, — охрипшим голосом сказал он. — Лучше всякого кино…

И неожиданно — ни Аннабель, ни генерал не успели шевельнуться или остеречь — он коротко разбежался и перепрыгнул через стену. На миг ослепляющая вспышка тьмы сделала его невидимым, а потом Аннабель отчетливо, неимоверно отчетливо увидела, как Берт, ломаясь еще в воздухе, рушится на землю по ту сторону стены и лежит мертво, лежит секунду, другую, третью… потом конвульсивно дергается и начинает вставать, но вставать так, будто его сверху подтягивают за ниточки…

— Берт… — простонала Аннабель. Генерал обнажил меч.

Берт уже стоял — спиной к ним. Потом оглянулся через плечо. У него было равнодушное лицо и взгляд в пространство.

И вдруг Аннабель почувствовала странное раздвоение восприятия. Будто рояль звучал, как труба, и следовало чему-то не верить — глазам или ушам. И она сделала то, что выручало ее не раз — закрыла глаза.

Берт не стоял — он лежал на боку, подтянув ногу к груди. Видно было, что ему дико больно и он изо всех сил сдерживает крик. Пришли, подумала Аннабель.

— Пойдемте, генерал, — сказала она. — Не смотрите — это тоже морок.

И Берт-зомби отступил и растаял, как и положено разоблаченному призраку.

Она легко перепрыгнула стену, и генерал последовал за нею. Еще в прыжке она увидела, как гаснет луна и все погружается в полнейшую тьму — и поняла, что ожидала этого. Наверное, поэтому и приземлилась мягко, как кошка. Генерал на ногах не удержался, но тут же вскочил и принял оборонительную позу.

Все было мороком по ту сторону стены, подумала Аннабель, и призраки, и лунный свет… и мы сами — видимые… А по эту? Надо быть настороже, начались упырские штучки…

— Показывайте ногу, Берт, — скомандовала она.

До рассвета одолели чуть больше двух миль. Из-за боли Берт утратил способность видеть в темноте, и пришлось вести его за руку. Он хромал, но терпел. Наконец, расположились на отдых в овражке, заросшем по краям молодыми елями, под нависающим козырьком дерна, сотворили знак закрытия и повалились на сухую, перемешанную со щебнем, глину.

— Спите, — сказал Берт, задыхаясь, — я посижу… все равно…

Он стал снимать с лодыжек бинт. Аннабель протянула руку, положила ладонь на горячую пульсирующую опухоль, сосредоточилась.

— Не надо, — пробормотал Берт, — лучше спите… я сам как-нибудь…

— Тихо, — шепнула Аннабель.

Тяжесть и боль понемногу переливались в ее кисть, поднимались вверх, до локтя, выше локтя… Хватит. Она бессильно откинулась, уронила руку ладонью вниз. Тяжесть медленно вытекала из нее, уходя в землю.

Она уснула, но и во сне продолжала видеть себя, лежащую в мелком овражке под козырьком дерна, скрытую от внешних взглядов живой землей, деревьями и травами, и предающуюся размышлениям. Размышления были мудрые и глубокие, самой ей ни о чем таком думать не приходилось — да и не по силам оказалось бы, наверное… и даже просто понять то, о чем думала она же, но приснившаяся, не вполне удавалось…

Да, за две недели нам удалось овладеть многими магическими методами — но не так, как ими овладевают настоящие ученики, проходящие шаг за шагом весь путь познания, а просто получив шпаргалку, которой можно воспользоваться в нужный момент. Дракон дал им взаймы свою собственную силу и свое знание — и даже подстраховал нас, посадив Ю в горную пещеру, откуда он может видеть нас и передавать нам, при необходимости дополнительные знания и силу… и Ю, пошедший на это, расстался с собственной личностью и стал как бы органом Дракона. Но, в таком случае, мы тоже стали органами Дракона, а то, что в нас сохранена личность, может быть чистой иллюзией. Просто по функциональной надобности Ю должен растраиваться на всех нас, и поэтому он похож на человека-растение — а нам нужно пересечь страну, нужно встречаться с людьми и производить впечатление настоящих. И, если Дракон не захочет сам, мы никогда не узнаем, вольны ли мы в своих поступках… и больше того — те же ли мы самые Аннабель, Берт и генерал Паулин, которые в «Горной твердыне» встретились с Драконом. Это невозможно проверить. И точно так же невозможно убедиться, что земля, по которой мы идем — это тот самый Альбаст, из которого меня вывезли на крейсере «Легенд» маленькой девочкой… Зрение идущих по этой земле под контролем тех, кто ею владеет — и, не будь у нас этого замечательного не-зрения, мы бы давно уже порубили друг друга мечами… но не-зрение дано нам Драконом, и Ю в своей пещере сжигает себя, помогая нам видеть не-глазами — и опять же невозможно сказать, соответствует ли то, что мы не-видим, тому, что есть на самом деле? Нас может обманывать как зрение, так и не-зрение, и остается только слепо верить в некую высшую объективность… зная при этом, что ее не существует. Мы пытаемся делать что-то, не зная, что в действительности представляет собой мир, не зная, что имеют в виду наши органы чувств, предъявляя ту или иную картинку, не зная — или слишком хорошо зная — есть ли еще какие-нибудь способы познавать мир, кроме обычных чувств и не-зрения… и что будет представлять собой мир, увиденный, наконец, таким, каков он есть… И, конечно, в таких обстоятельствах хватаешься за что попало и веришь, веришь, веришь в это до конца, до исчезновения — тебя или предмета веры, неважно — и тем самым хотя бы заглушаешь дикий страх перед истиной, скрытой под бумажным покровом тайны… Но если понять, наконец, что страх — это не более, чем очень сильный шум и что можно научиться не обращать на него внимания, и одновременно с этим согласиться принять на себя всю ответственность за следующий шаг — то можно вот так протянуть руку, коснуться занавеса…

…и бумажный занавес расползся под пальцами Аннабель, и открылся туннель, темный и короткий, но, похоже, не тупиковый, а просто изгибающийся или раздваивающийся. Тронул — ходи, вспомнилось Аннабель шахматное правило, и она шагнула в туннель, ожидая чего-то нового и необычного, но ничего необычного не произошло, вход не закрылся и не перестал существовать, и тогда Аннабель, сосредоточившись на не-зрении и пытаясь, не доходя до поворота, заглянуть за него, медленно пошла вперед.

Что ж, подумала она, без боязни поворачивая и начиная пологой спуск по поперечному туннелю, чуть более просторному и, похоже, чаще посещаемому, — раз уж мы согласились принять в дар определенные способности, то и неуверенность во всем придется таскать с собой, ничего не поделаешь. Это, наверное, закон природы: чем больше возможности что-нибудь узнать, тем меньше убежденность в истинности полученных знаний… вернее — сведений. Конечно, следует ввести поправочный коэффициент на то, что мы называем умом, и на некую изначальную самостоятельность мысли — то есть на величины неформулируемые, а потому — иррациональные. И не стоит, скажем, мне искать более глубокие способы восприятия мира, чем уже доступные, потому что тогда придется и действовать, исходя из открывающихся возможностей — даже не то чтобы придется, а именно так получится само собой — а значит, приводить в действие механизмы непонятные и силы неучтенные… хотя, руку на сердце, именно это я по-настоящему и хочу сделать — найти тот скрытый рычаг, который переворачивает Землю, нажать на него…

Впереди возник тусклый багровый отсвет, и Аннабель замедлила шаг. Но не-зрение ничего вещественного не выявило, туннель «просматривался» шагов на двести отчетливо и еще на столько же размыто и приблизительно — хотя и (Аннабель это не сразу поняла) плавно изгибался вправо так, что нормального зрения — даже с фонарем — хватило бы шагов на тридцать-сорок… Аннабель представила себе, как жутко было бы идти по такому туннелю просто с фонарем.

Свет исходил от небольших, но многочисленных отверстий в левой, вогнутой стене туннеля, и ложился на правую его стену множеством перекрывающих друг друга пятен. Неподвижные пылинки в пространстве туннеля казались рубиновой пудрой. Не-зрение подсказало Аннабель, что стена, источенная порами, тонкая и поэтому следует соблюдать осторожность. И очень осторожно, не касаясь, Аннабель приблизила лицо к одной из пор, покрупнее, и стала привыкать к бьющему из нее свету.

Сначала казалось, что там, за стеной, движется медленный багрово-алый вихрь. Что-то большое и сложное угадывалось за ним. Постепенно глаза привыкли и стали различать сквозь волны света контуры колонн и фигур — и наконец, будто световая завеса исчезла, Аннабель увидела все разом.

Перед нею был зал, огромный, как город. Каменный свод, опираясь на грубые тяжелые колонны, накрывал его мощно и торжественно, как грозовая туча, подсвеченная снизу, накрывает собой горную долину. Прямо перед глазами Аннабель, покоясь на трех сходящихся книзу опорах, огромная черная чаша испускала из себя неподвижные языки темного, цвета запекшейся крови, пламени. Ниже чаши, на самом дне, угадывалась квадратная плита со знаком Древа на ней и с тайными письменами. Исполинские статуи дев с воздетыми руками обступали чашу и плиту, неся на себе багровый отсвет. А между Аннабель и чашей, внизу — Аннабель прильнула щекой к стене, силясь увидеть все — стояла на коленях каменная девочка, стояла, откинувшись назад и запрокинув голову, и на ее перевернутом лице застыла боль — и блаженство. И Аннабель, пытаясь увидеть еще что-то, сделала неосторожное движение, и кусок стены размером с колесо вывалился наружу — и повис в пространстве, ничем не закрепленный, чуть ниже образовавшейся дыры, и Аннабель, не удержавшись, высунула лицо туда, наружу — испепеляющий жар обдал кожу, ударил по глазам, — она откинулась назад, упала и осталась лежать, но запечатленная картина медленно проявлялась в памяти: справа — известково-белый утес, нависающий над бездной, покатая темная терраса в форме лука — внизу, а еще ниже — каменные обнаженные груди меж каменных, ниспадающих в бездну драпировок… Я в статуе, подумала Аннабель, точно в такой же статуе, что стоят напротив. Проковыряла дырочку в ее щеке… Багровый свет лился из отверстия, наплывал волнами, завораживал, не отпускал взгляд, и Аннабель, потеряв на несколько секунд самоконтроль, внутренне открылась этому свету — и вдруг ее ударило током: Дракон предупреждал! Не смотреть на красный свет! Она закрыла глаза и загородилась рукой, но было, наверное, уже поздно: откуда-то снизу стал подниматься и заполнять ее темный беспредметный страх, тот, который с визгом крутящейся пилы вспарывает сердце… Наверное, она кричала. Потом страх отхлынул, унося с собой все. Ей показалось, что она уснула. Сквозь сон она чувствовала холод и жар одновременно. И боль, и голод. Потом она почувствовала, что на нее кто-то смотрит. Не открывая глаз, она лишь чуть размежила веки. На ступеньке перед ней столбиком стояла огромная жирная крыса и смотрела в упор, ничего не боясь. Надо было кинуть в нее чем-нибудь, но не было сил. Потом послышались медленные шаги. Крыса повернулась, посмотрела на нее долгим запоминающим взглядом и ушла. Снизу, держась за перила, тяжело поднималась женщина в темно-синем пальто с тяжелой сумкой в руке. Волосы ее были закрыты шерстяным серым платком. Ты чья, девочка? Что ты здесь делаешь? Ты меня слышишь? Слова, такие знакомые, казались произнесенными на неизвестном языке. Хотелось сказать что-то в ответ, но звуки застревали и скатывались в один большой комок…

Аннабель проснулась в слезах и долго лежала, вдыхая запах разогретой хвои и сухой пыли. Тихонько посапывал Берт. Генерал, устроившийся в изножье, повернул к Аннабель голову и приложил палец к губам. Она кивнула. Стараясь не потревожить Берта и не зацепить низкий потолок их убежища, она извернулась и подобралась к генералу так близко, что можно было шептаться.

— Нас ищут, — сказал он.

— Как?

— Птицы. Смотрите, — он показал пальцем на дыру в козырьке, прикрытую сеткой травяных стеблей.

Аннабель понадобилось время, чтобы сквозь эту сетку увидеть небо. Наконец это получилось.

Высоко над землей правильными кругами ходил ворон. Вороны так не летают, это Аннабель знала. Потом поле зрения пересек — совсем низко — другой ворон. Голова его покачивалась: вправо-влево, вправо-влево. Через минуту там же пролетел еще один.

— Может быть, это обычное патрулирование? — предположила Аннабель.

— Нам от этого не легче, — сказал генерал.

— Ну, почему же… — начала было Аннабель, но тут донесся — не по воздуху, а прошедший через землю — звук лошадиных копыт. Несколько всадников неторопливой рысью ехали где-то рядом — и приближались.

Посапывание Берта прервалось, а в следующее мгновение он уже натягивал распоротый в голенище сапог на свою бесформенную ногу.

— Тихо, дочка, — одними губами сказал генерал. Наручень будто сам наделся на его левое предплечье; когти, подчиняясь движению кисти, беззвучно выскользнули из гнезд и вернулись обратно.

Аннабель натянула и проверила свой.

Берт наручней не использовал. Он дрался двумя мечами.

Так они лежали и ждали, а шаги приближались. Заходят с двух сторон, почувствовала Аннабель, со стороны спины… и со стороны ног — по лощине! Значит, все…

Через бесконечно долгую минуту она увидела всадника.

На неопределенного цвета крестьянской лошадке ехал мальчик-подросток лет четырнадцати. Одежда его была грязна и разодрана в клочья, лицо исцарапано в кровь. Длинные грязные волосы висели сосульками. Выражение лица… Не было никакого выражения. Голова механически поворачивалась вправо-влево, как у воронов, летавших вверху, в глазах не было блеска. Он ни разу не мигнул, пока Аннабель смотрела на него. Но тяжелый меч лежал поперек драного седла…

Шаги, приближавшиеся за спиной, остановились совсем рядом, и пронзительный голос спросил:

— Ингибара оа?

— Леингибара, — глухо ответил подросток, не прекращая поворачивать голову и почти не разжимая запекшихся губ.

Его взгляд скользнул по Аннабель, и она поняла, что он ее не видит. Она и ее спутники оставались закрыты для постороннего взгляда. Мальчик проехал мимо, оставив после себя запах конского пота и человеческой мочи.

Аннабель и генерал обменялись взглядами. Холодное бешенство стояло в его глазах, и Аннабель поняла, что подобное он видит не впервые. Над головой, переступая, ударила копытами лошадь. Посыпалась земля.

— Альхека! — раздалась команда, и несколько всадников сорвались с места.

Уходят! Не заметили и уходят!

И в следующий миг лошадиная нога, пробив дерн, оказалась перед лицом Аннабель. Она отпрянула — и увидела, как бесформенная фигура в грязно-голубых развевающихся одеждах грохнулась на дно лощины. Секунду лежала неподвижно — и встала, оборачиваясь…

Глаза их встретились.

Это был не человек.

На удлиненном, голубоватого цвета лице с темным узором на лбу и щеках страшно выделялись глаза. Ночные, огромные глаза, полуприкрытые коричневыми морщинистыми веками. И этими глазами он видел сквозь запрет…

Генерал, будто брошенный катапультой, оказался перед чужаком. В руке того мелькнула тонкая сталь, генерал отразил удар наручнем и сделал выпад. Чужак, ломаясь в суставах, осел, превращаясь в кучу тряпья. Аннабель и Берт уже стояли рядом с генералом, готовые к продолжению схватки.

Их было семеро — всадников. Они разворачивали и горячили коней, собираясь, наверное, атаковать в конном строю. Это было безрассудно — лощина скрывала, как окоп. Потом Аннабель увидела блеск коротких клинков. Метательные ножи! Перепрыгивая лощину, всадники поразят ножами тех, кто будет пытаться найти на дне спасение. На дне — но не в стенке, не под козырьком. Там они не достанут… Тем временем рука ее сама нашла и взвесила кинжал. У нас есть чем встретить…

С визгом всадники бросились вперед. Двое из них, на вороных конях, были одеты в голубые развевающиеся плащи. Пятеро — обычные уланы в кольчужных нагрудниках. Они были метрах в семи, когда Аннабель метнула кинжал в летящего на нее улана и нырнула в нишу. Рядом с ней оказался Берт. Через долгий миг генерал в неимоверном прыжке, изогнувшись, впечатал ее в стенку ниши и прижал, закрывая. Она видела только тени перелетавших лощину всадников. Ножи с коротким хрустом вонзились в землю.

Уже пятеро всадников развернули коней. Двоих, висящих в стременах, лошади уносили в лес. Но еще один приближался по лощине — пеший, неся отведенный для удара меч в вытянутых над головой руках. Мальчик с остановившимися глазами. И остальные, поняв порочность конной атаки на закрепившегося противника, спешивались и бежали, на ходу обнажая мечи.

Первый удар опять пришелся на генерала. Мальчик бесхитростно и неожиданно сильно нанес «гу-хо» — горизонтальный удар справа налево, через локтевой сустав под ребра. Генерал принял меч наручнем, покачнувшись от этого удара, и наручнем же сделал ответный выпад. Кисть с зажатым в ней мечом отделилась от предплечья и упала на дно лощины. Но мальчик, распластавшись в падении, попытался дотянуться до меча, и генерал ударил его сапогом в голову. Все это заняло чуть больше секунды. В следующую секунду Аннабель и ее спутники стояли лицом к нападавшим, выставив мечи, а те с прежним напором шли в открытую атаку.

Мечный бой скоротечен — и, чем искуснее бойцы, тем короче схватка. Пятеро налетели и почти сразу откатились — трое; один чужак и один улан легли под ударами. Теперь инициатива была уже не их. Аннабель, угрожая острием меча и закрываясь наручнем от атаки снизу и слева, стала теснить доставшегося ей в противники чужака; он отходил назад и направо, готовясь нанести «эли-хо» — колюще-рубящий удар в бедро или в пах на предельной дистанции. Но для этого ему нужно было заставить Аннабель отступить хотя бы на шаг. И Аннабель, будто бы готовя верхнюю атаку, сделала шаг в сторону, а потом шаг назад. Чужак нырнул — резче и дальше, чем в глубоком выпаде — и, опершись на левую руку, провел классический удар: снизу-косо-вверх. Но вместо податливой плоти сталь встретила сталь: Аннабель, упав на колени, закрылась клинком. Движение кисти — и клинок чужака взлетел вверх, пропуская удар; движение плеча — и лезвие вошло в шею.

Берт уже покончил со своим и шел на помощь генералу — тот кружил вокруг улана явно без желания разом покончить дело. Он выманивал противника на удар, стремясь обезоружить. Улан же удара никак не наносил, лишь угрожая мечом. Похоже было, что он согласен на ничью.

— Бросай меч, солдат! — собравшись, чтобы не дать фальшивой ноты, крикнула Аннабель. — Это говорю я, твоя королева!

Танец замедлился, потом остановился. Генерал стоял в защитной позиции. Улан повернул голову и посмотрел на Аннабель.

— Мой властелин — король Герман, — сказал он. — Тебя я не знаю, госпожа.

— Мой брат Герман мертв, — сказала Аннабель. — На троне подменыш. Кукла. И ты это знаешь, солдат. Все это знают.

— Ты говоришь страшные слова, госпожа…

— Брось меч, солдат. Я не смогу испугать тебя тем, что иначе ты умрешь. Но ты умрешь, служа злу — а это, думаю, тебя испугает.

— Меня уже ничто не испугает, госпожа.

— Тогда повинуйся. Следуй голосу чести. Я — Аннабель, законная королева Альбаста. Меня изгнали из страны, но не смогли лишить короны. Теперь я возвращаюсь.

— Госпожа… — голос улана внезапно сел. — Госпожа, я не прошу доказательств… но знак! Дай мне знак!

Он стоял уже, опустив меч, и в лице его было что-то молитвенное. Аннабель, усмехнувшись одними губами, острием меча вырезала квадратный кусочек дерна, подняла его за траву — как поднимают за волосы отрезанную голову врага — и подбросила над собой. Восьмиобразное движение — мгновенный стальной высверк — и четыре кусочка дерна покатились по земле.

Встав на колени, улан положил свой меч на землю.

— Твой раб и воин, моя королева, — с поклоном сказал он. — Я, дворянин Веслав Бернард, присягаю тебе и клянусь служить воле твоей, и под руку твою передаю жизнь мою и смерть… Сзади! — крикнул вдруг он.

Тощий и оборванный, с черным от крови лицом, на них шел тот, кого, казалось, уже одолел генерал. Мальчик, ехавший на крестьянской лошадке… Тяжелый двуручный меч, зажатый в тонкой руке, со свистом рассекал воздух.

— Он не видит! — крикнул улан. — Просто пропустите его!

Верно — глаза мальчика были плотно закрыты отекшими веками. И все же он шел прямо на них…

Берт оттащил Аннабель немного назад. Генерал и улан сдвинулись в другую сторону. Чудовище прошло по освобожденному для него коридору и стало удаляться. Меч все быстрее мелькал в воздухе. Не в силах сдвинуться, все смотрели вслед мальчику. Что-то должно было произойти.

Произошло.

Не справившись с инерцией тяжелого клинка, мальчик отсек себе голову и правую, уже покалеченную в схватке с генералом, руку. Покачнулся, пропустил шаг — и двинулся дальше, безголовый, бескровный, все так же размахивая мечом.

Чтобы не закричать, Аннабель зажала себе рот.

Солнце клонилось к закату, когда четверка всадников покинула, наконец, приграничную полосу и углубилась в лес Эпенгахен. Темная прямая дорога, мощеная вулканической плиткой, вела к заброшенному курорту того же названия. Здесь их не должны были ни встречать, ни выслеживать: по неизвестной причине чужаки никогда не входили в Эпенгахен. От альбастьеров в отсутствие чужаков — гернотов, как они называли себя сами, или упырей, как их называли в коридорах власти Конкордиума, — особого усердия в преследовании нарушителей границы можно было не ждать. Улан рассказал, каково чувствовать себя рядом с чужаками — испытываешь буйную радость и желание сделать все, чтобы им понравиться; а потом приходят отвращение и стыд… и избавиться от этого можно, только вновь оказавшись рядом с ними. Есть люди, говорил он, которые не отходят ни на миг, а если их оторвать силой — умирают в муках. Есть другие, такие, как он сам — им все это мерзко, но они не в силах противостоять волшебству. И есть немногие, которые — в силах. Генерал слушал его и кивал крупной своей головой.

Тяжелая рысь тяжелых кавалерийских жеребцов укачивала, умиротворяла, и умиротворяли проплывавшие навстречу и мимо белые, в зеленых пятнах нежного мха, стволы платанов, и стайка пестрых птиц, пересвистываясь, сопровождала всадников, внося веселое оживление в пейзаж — и ничто внешнее уже не могло помочь Аннабель совладать с нервной дрожью, и оставалось только держаться, держаться из последних сил, так, чтобы никто посторонний не мог заподозрить душевных мук и метаний под панцирем королевского спокойствия… Это было почти невыносимо.

Да, первый в ее жизни бой прошел успешно, и не канули втуне тяжелейшие тренировки у Эльриха Тана, первого меча Конкордиума, и странная, ни на что не похожая учеба у Дракона… и, может быть, это сила и искусство Дракона направляли ее меч… как сила и искусство чужаков направляли меч того оборванного мальчика… Мысли об этом тоже были невыносимы. И, как дрожь, их следовало сдерживать хоть из последних сил.

**ВИТО, ИЛИ ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ**

В механическом цехе ремзавода стоял чад. Повизгивал вентилятор, нагнетая воздух в самодельный горн. Когда Дима вошел, Архипов как раз вынимал длинными кузнечными клещами из горна белую от жара трубу. Подержав ее секунду на весу, он стал небыстро погружать ее одним концом в ведро с машинным маслом. Звук был — как от дисковой пилы, напоровшейся на гвоздь. Фонтан масляного дыма и пара ударил вверх. Наконец, вся труба погрузилась в жидкость и багрово светилась там, остывая. Подождав немного, Архипов вынул ее, черную, маслянистую и дымящуюся, и вернул в горн. Вспыхнуло желтое пламя. Через несколько секунд он ее поднял — труба светилась темно-вишневым светом — и замер, ожидая, когда свечение погаснет. И после этого бросил с грохотом на железный лист, где в беспорядке валялись такие же и всякие прочие серо-сизые детали. Потом выключил вентилятор, обтер руки о фартук и повернулся к Диме.

— Принес?

— Сомневался? — усмехнулся Дима. — Принес. Куда высыпать?

— Даже высыпать? — Архипов огляделся. — Тогда сейчас…

Он отслонил от стены фанерный лист и положил его на пол. Дима опорожнил сумку и Татьянин рюкзак.

— О, елки, — сказал Архипов. — Теперь мы короли.

— А у тебя тут как? — спросил Дима.

— К ночи четыре штуки будет. Да вчерашних две…

— Дай мне штук несколько патронов для «ТТ».

— Добыл «ТТ»?

— Ага.

— Хорошая машинка. Сам возьми — вон в том ящике, под ветошью.

Дима заглянул в ящик. Пистолетные патроны — макаровские, похожие на орешки, и бутылочки тэтэшных — лежали частью россыпью, а частью уже в снаряженных обоймах.

— Возьму обойму, ладно?

— Ну, бери. Василенко если прикопается — отдай.

— Если успеет прикопаться…

— Поплюй.

— А что плевать? Сегодня, наверное, начнется всерьез…

— Думаешь, сегодня?

— Похоже на то.

— Тогда, Дима… Я могу попросить тебя об одной вещи?

— Проси.

— Понимаешь, я не вполне понимаю, какая роль моей Лиды во всем этом… но явно не последняя. А с другой стороны, идти тебе домой, быть там одному — не стоит. В общем…

— Поохранять Леониду?

— Да.

Интересно, подумал Дима, это просто совпадения — или кому-то-там-наверху нужно, чтобы сегодняшний приход тьмы я встречал в архиповском доме? Господи, какая разница, сказал внутри него кто-то прерывающимся голосом, какая разница, случайно это или преднамеренно, если сегодня уже все может быть кончено? Идут, может быть, самые последние часы, а ты сидишь зачем-то в этом чаду и размышляешь о ненужном… Он заставил голосок заткнуться и прислушался к организму. Страх не давил. Лежал себе где-то на дне и лежал, тяжелый, да, но тихий — как утонувший кит. Но ведь и правда — последние часы… и прожить их следует так, чтобы не было мучительно больно… В ответ на цитату заныли, застонали раны. Сволочь паук, хуже рыси…

— Чего так морщишься? — спросил Архипов. — Не в масть?

— Нет. С пауками врукопашную схватился.

— Елки. Тебя же лечить надо. Лихорадка свалит. Дуй в больницу, пока светло.

— Проехали уже. Сразу надо было… Теперь, если яд попал — уже всосался.

— Что ж ты, тварюга, себя не бережешь? — нахмурился Архипов. — На тебе столько всего завязано…

— Напали, Петрович. Я их не искал.

— Рассказывай… В общем, учитель, иди ко мне, вот тебе ключ, Лида часов в восемь придет — тут уж ты ее одну никуда не отпускай. А сам вздремни, как удастся. Ночь будет лихая. Сколько уже не спал?

— Я помню, что ли? — Дима положил ключ в карман. — Тебя когда ждать?

— Ну, к полуночи точно буду. И захвати заодно изделие…

Изделие Архипова, обернутое тряпкой, было увесистым. Дима взвесил на руке — килограммов шесть. Сплошное железо.

— Специально утяжелил, — пояснил Архипов. — А то отдачей плечо начисто отшибало.

— Заряжен? — спросил на всякий случай Дима.

— Патронник набит, — сказал Архипов. — Так что, если что — затвор только передерни…

— Ага. А пули — серебро?

— Серебро.

— Хорошо, Петрович. Все сделаю, как ты велишь. Но постарайся не задерживаться.

— Да постараться-то я постараюсь… получится ли? Хоть эти четыре начатых закончить бы…

— Петрович, — сказал Дима. — А не ерундой мы занимаемся, а?

— Ночь покажет, — пожал плечами Архипов.

Дима заснул, вздрогнул и тут же проснулся. Это повторялось уже несколько раз — не было сил сопротивляться сну, но и уснуть — тоже не было сил. Стараясь не потревожить Татьяну, он высвободил левую руку и поднес к глазам часы. Две минуты одиннадцатого… И тут же за стеной хрипло заворчали ходики. Звук был мерзкий.

— Ты думаешь, уже пора? — не открывая глаз, спросила Татьяна.

Дима молча провел рукой по ее волосам. Пора, подумал он. Что значит — пора? По-ра. Бессмыслица… Чуть только задержаться на чем-нибудь, присмотреться — все бессмыслица. Становится бессмыслицей. Хотя только что было наполнено смыслом. И даже преисполнено. Смыслом. Смы-сло. Нет такого слова.

— Ты молчишь. А я такая счастливая…

Я тоже счастливый, молча ответил он. Такого счастья отпускается на раз пригубить, и то не каждому. Может, именно потому, что на раз и пригубить…

— Как я тебя люблю… — прошептал он.

— А как? Вот так, да? — она, изогнувшись, потерлась об него бедрами.

— Ох, как сразу сердце у тебя застучало…

— И так… и не только так… и…

— Т-сс… Иди ко мне…

— Танька…

— А потом… это все кончится, а мы вдруг останемся… рожу тебе кого-нибудь…

— Обязательно…

— Оно же кончится… но ты только держи меня покрепче… меня надо крепко держать, я же дурная…

— Ты моя…

— Твоя… чтобы ты делал со мной, что хочешь…

А потом, когда напряжение достигло высшей точки, произошло что-то такое, чего никогда еще с ним не происходило. Он исчез. Он, Дима, человек, мужчина — перестал быть здесь и сейчас, и никакими словами нельзя было назвать то место и ту сущность, в которых он оказался. У него не было тела — и был миллион тел. Все чувства разом овладели им, будто плеснули все краски, будто заиграли во всю мощь все инструменты огромного оркестра… Это был долгий миг, за который можно успеть познать весь мир, и лишь потрясение не позволяет использовать его с этой благой целью. Но, наконец, и этот миг прошел, и Дима вернулся в свое расслабленное тело, с новой остротой ощущая нежное чужое тепло…

Его разбудило прикосновение к щеке. Татьяна, уже одетая, сидела на краю раскладушки и тонкой рукой гладила его лицо. За стеной слышались голоса.

— Сколько?.. — начал Дима, но тут часы хрипло кашлянули, и он понял, что времени прошло всего ничего.

— Там этот блажной старик, — сказала Татьяна. — Кривошеин.

— Охмуряет? — усмехнулся Дима.

— Охмуряет. Послушать хочешь?

— Придется.

— Сейчас… — не вставая, Татьяна чуть приоткрыла дверь. В щель проник желтоватый свет лампы — и глубокий уверенный голос Фомы Андреевича.

— А как тайга-то горит, Леонида Яновна, по всей матушке-Сибири полыхает, и нет спасения. Второй такой год подряд идет, а будет и третий, ибо сказано: «И дам двум свидетелям Моим, и они будут пророчествовать тысячу двести шестьдесят дней. И если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их. И будут они иметь власть затворять небо, чтобы не шел дождь на землю во дни пророчествования их, и власть над водами — превращать их в кровь, и землю поражать всякой язвою…» Год им остался, год только, а потом выйдет Зверь из бездны и поразит их, и трупы оставит на улицах Великого города, который духовно называем Содом, дорогая моя Леонида Яновна, Содом, или Вавилон, или Египет, и голос с неба уже был Божьему народу: выйди из того города, народ Мой, дабы не запятнать себя грехами его, ибо грехи те дошли до неба и вопиют. В один день придут в Содом казни, и мор, и смерть, и плач, и глад, и пламя пожирающее, ибо силен Господь, судящий сей град. И цари земные, роскошествовавшие в нем, и купцы, обогатившиеся от него, горько восплачут, когда увидят дым и пепел на месте Великого града, ибо в один день погибнет такое богатство! И свет светильника не появится в нем, и голоса живого не услышать, ибо чародеями были вельможи его, и волхвованием их введены в заблуждение все народы. И в нем найдут кровь пророков и святых — и всех убиенных на земле…

— Неточно цитируете, Фома Андреевич, — лениво сказала Леонида. — Хотя и близко к тексту.

— Неточно цитировать неможно, — сказал Фома Андреевич. — Можно либо цитировать, либо излагать — что я, с Божьей помощью, и делаю. Так вот, предвидя ваши возражения, любезная Леонида Яновна, скажу: да, можно счесть, что и о Берлине сорок пятого речь идет — видел я его и дым его обонял. Мерзок был дым… И Рим горел, подожженный Нероном — вскоре, вскоре после того, как Иоанну откровение было. И Константинополь горел, когда базилевсы его себя ровней Богу сочли, а которые — и повыше Бога. Все грады — в едином Граде Великом заключены, и этого Града гибель Иоанн описует…

— Возможен ли конец света в одной отдельно взятой стране? — все так же лениво спросила Леонида. — Старая хохма. А у вас получается — даже не в стране, а в крошечном городке Ошерове…

— В капле запечатлен океан, любезная Леонида Яновна, и каждый человек — суть вселенная. Почему бы не быть нашему городу средоточием мира? Тем более, что подозреваю я — никакого мира там, за барьером, не существует. И, следовательно, не существовало никогда.

— Тоже не новая мысль.

— А вас интересуют только новые мысли?

— Вы правы, Фома Андреевич. Продолжайте, пожалуйста.

— Что ж продолжать? Снята давно седьмая печать, и вострубили уже пять ангелов. И отверзлись кладези бездны, и вышел дым из кладезя, как из большой печи, и помрачились солнце и воздух от того дыма…

— Так теперь очередь за саранчой?

— Именно! Но я так мню: не одной саранчи следует ожидать, а многих тварей, и иных, может быть, и в людском обличии…

Фома Андреевич замолчал, а Леонида не ответила, и повисла долгая пауза. И Дима понял, что Фома Андреевич, сам, видимо, того не желая, коснулся какой-то скользкой — в Леонидином понимании — темы. А в следующую секунду раздался тихий, но от этого не менее жуткий звук: будто по стенам дома, по потолку, по крыше провели несколько раз огромной мягкой кистью… будто дом стал пустым спичечным коробком, и кто-то тихонько, разведя краску… Потом это прошло.

Дима обнаружил, что уже стоит, одной рукой прижимая к себе Татьяну, а другой судорожно сжимая пистолетную рукоять. Шорох этот разбудил какие-то древние оборонительные инстинкты. Осторожно выдохнув и медленно, с растяжкой, вдохнув, Дима попытался расслабиться. Вряд ли получится…

— Пойдем, — шепнула Татьяна.

Он губами коснулся ее глаз и первым вышел на свет.

Леонида и Фома Андреевич все еще стояли, глядя на потолок. С абажура, как опрокинутые дымы, текли струи пыли. В руках Леониды замерла двустволка.

— Ушло… — прошептал Фома Андреевич. Леонида молча кивнула.

Дима вдруг почувствовал, как у него все болит.

— Здравствуйте, — сказал он.

Ему показалось, что Фома Андреевич вздрогнул. Леонида улыбнулась и положила двустволку поперек стола.

— Подавил подушечку? — спросила она и хитро подмигнула.

— Смени мне бинты, — попросил Дима.

Он пыхтел, пока Леонида промывала и смазывала его раны и царапины, и слышал вполуха, как Фома Андреевич охмуряет теперь уже Татьяну. Потом, когда боль приутихла, прислушался.

— Вот, кстати, тоже феномен, — говорил Фома Андреевич. — Дом опечатанный, телефон в нем снятый, люди из дома в пропавших числятся — а позвонишь, и ответят. И знают они о нас поболе, чем сами мы. Как это объяснить с точки зрения позитивной философии? Или взять, например…

— Да все равно мне, как это объяснять! — уже не в первый раз повторила Татьяна. — Потом когда-нибудь объясним. Сейчас не об этом думать надо…

— А о чем? Уж не «что делать?» ли вопрос задавать?

— А чем плохой вопрос?

— А тем, умница вы Татьяна Ивановна, что сам по себе он бессмыслен, усечен, а потому заводит в видимый простым глазом тупик. Дабы вдохнуть в него смысл, расширим и спросим: что делать, чтобы?.. — и на месте многоточия пока ничего начертать не будем, потому что оно-то, неизреченное пока, и есть самое главное. И прийти оно должно не от других людей, не от писаных истин, не от ума…

— Кажется, я понимаю, — сказала Татьяна. — Какое-то заветное желание, да?

— Близко, но не совсем… Представьте — вот вы уже умираете. Что вам позволит умереть с восторгом, умереть счастливой? Не отвечайте, не надо. Но вот в эту формулу, о которой мы говорили, обязательно следует ввести собственную смерть.

— Вот как… О-ох, это надо долго думать…

— По крайней мере, всю жизнь. И оказывается в конце концов, что нет в этой жизни ничего важнее смерти… Потому и следует поднимать себя над обстоятельствами, а поступки совершать по внутреннему побуждению, а не по формальной выгоде или по своду правил. И лишь пост фактум искать объяснения этих поступков — и, понятно, громоздить нелепость на нелепости… Взять римлян: они ввели такое презрительное понятие, как «скрупулезный». «Скрупулюс» — это был камешек, попавший в сандалию. И настоящий римлянин просто выбрасывал его и шел дальше, а грек садился и начинал размышлять над его внутренними свойствами и скрытым смыслом…

— Недавно мне приснился сон, — сказала Татьяна. — Будто я умерла. Мне иногда снится такое, но на этот раз было не так, как раньше. Я умерла и вышла из тела — с восторгом. Как вы сказали. Я его видела, это мое бедное тело, и мне было его совсем не жалко. И никого мне больше было не жалко, я будто бы сбросила с плеч огромную тяжесть, обузу, не знаю, что… Я поднималась вверх, и все вокруг было безумно скучным и серым… и совершенно бездарным. Но восторг был даже не из-за того, что я из этого вырвалась, а потому, что я уже откуда-то знала — настоящая жизнь впереди. Над миром был низкий потолок, а потом он оказался стеной с воротами — когда так летишь, все равно, где верх, где низ. Я влетела в ворота, там были какие-то коридоры, и летели такие же, как я — прекрасные, восторженные, ликующие… И мы прилетели туда, куда надо, и там было что-то настолько хорошее, что я просто не смогла запомнить. А потом мне передали, что мне нужно ненадолго вернуться, потому что у мамы здесь… ну, неважно. Надо сказать ей кое-что. И я полетела назад. А мне навстречу летели все такие же прекрасные, освободившиеся от той дряни, в которой они вынуждены были жить здесь… Я спустилась. Летала везде. Меня не видели, ведь я сама не хотела этого. Кому хотела, я показывалась. Поговорила с мамой. Все сделала, что нужно. Можно было возвращаться. А у нас дома стоит такое старинное зеркало, высокое, в раме. И я, уходя, в него посмотрелась. И увидела себя. Я была разложившимся трупом, понимаете? Лицо сгнило, проступали кости, кожа вся висела клочьями… Я даже не испугалась. Просто полетела обратно, и все. Но не помню, долетела или нет. Проснулась.

— Одевайся, — сказала Леонида Диме и похлопала его по здоровому плечу. Голос у нее был почти механический.

К трем часам ночи Дима знал о Фоме Андреевиче все. Как он, бывший минер, покалеченный почти смертельно уже после войны, выжил искусством архиепископа Луки — гениального хирурга Войно-Ясенецкого, — пламенно уверовал, окончил духовное училище, был рукоположен и получил приход — и тут же усомнился. Шел пятьдесят третий год, и на высочайшей заупокойной вместо канона: «За упокой души раба Божьего…» прозвучало: «За упокой души генералиссимуса Иосифа». Это лакейство так царапнуло душу, что — Фома есть Фома — начал он задумываться и вкладывать персты в раны. Итогом стало убеждение, что Русская Православная Церковь мученически погибла, но труп ее сохранен, оживлен и теперь кривляется на подмостках на потеху убийце-чародею. Многое о том свидетельствует… Взять, к примеру, недавний юбилей Крещения Руси. Разве же нынешней Церкви это праздник? Ни в малой мере. А истинные последователи Владимира Святого, греческих митрополитов, Сергия Радонежского — живут в лесах, крестятся двуперстием… кто вспомнил о них, кто пригласил на праздничный пир? Ни власть, ни Патриарх, ни народ. Как и не было их никогда. Беспамятство… Немало лет прожил Фома Андреевич, пытаясь совместить веру и сомнения, и это были самые мучительные его годы. Расстригшись наконец, пытался он искать истину у иных конфессий, не нашел — и остался в собственной вере, пастырем и паствой в одном лице. За три десятка лет такого бытия Фома Андреевич объехал всю страну, сменив несколько десятков специальностей: он пек хлеб, искал воду, рыл колодцы, клал печи, добывал золото, жег известь, истреблял грызунов, мыл и обряжал покойников, ловил рыбу на Камчатке и на Азове, водил грузовики, пас коров… Все эти годы была с ним жена, продолжавшая называть себя попадьей, она умерла уже здесь, в Ошерове, в одночасье, не выдержав смены ритма жизни: свой домик, корова, огород… Странствуя, Фома Андреевич все более и более проникался уверенностью, что Второе Пришествие началось и события развиваются точно так, как описаны Иоанном — другое дело, что некоторые видения Иоанна аллегоричны, а иные просто поняты им неверно. Взять железную саранчу: а как еще мог назвать монстров Иоанн, всю жизнь проживший на краю пустыни и из всех насекомых знавший лишь саранчу? Или взять, скажем…

Ходики откашлялись трижды, и тут же сверху, с чердака, донесся мягкий волосяной шорох. Снова мягкая кисть — но теперь она не ограничилась несколькими мазками, а стала двигаться медленно, завораживающе-медленно — по кругу, по кругу, по кругу… Доски потолка дрогнули, посыпалась пыль. Движение убыстрилось, к шороху добавились беззвучные толчки. Треснуло дерево, раздался мерзкий скрежет — гвоздем по кровле — а потом грохот падения, сдвоенный выстрел и крик боли!

Дима, запрокинув голову, пятился к двери. С потолка валилась известь. Там будто катали, приподнимали и опять роняли тяжелый каменный шар. Абажур закачался… Фома Андреевич, белый, смотрел так, будто видел сквозь потолок то ужасное, что происходит там, наверху — видел и не мог отвести глаз. Там же Архипов, понял Дима — и, наверное, сказал это вслух, потому что Фома Андреевич, подхватив топор, метнулся к двери, в дверь — и исчез. Дима бросился следом. Двор заливал резчайший свет мощной киловаттной лампы. На чердаке ударил еще один выстрел. Фома Андреевич уже одолел половину ступенек приставной, ведущей к чердачному окну лестницы, когда оттуда, из окна, шагнул и повалился, цепляясь руками, человек — Фома Андреевич подхватил его и на миг удержал, а подоспевший Дима принял его на грудь и вместе с ним повалился на землю. Человек был жив и весь в крови. Но это был не Архипов. Под плечом его расплылась черная лужа. Сунув пистолет за пояс, Дима выхватил нож и стал резать то, что на человеке было надето — мешковатую куртку из толстенного, едва ли не пожарного, брезента и поддетый под нее теплый свитер… Рана была кошмарная. Будто бензопилой. Кровь била фонтаном. Фома Андреевич пришел на выручку — сноровисто просунул под плечо раненого ремень, сделал петлю, затянул посильнее. Автомат, отчетливо сказал раненый. Там мой автомат. Я попал в него, понял? И второй — его я тоже зацепил. Сейчас, сейчас, сказал Дима, вот мы тебя перевяжем… Громкий — пушечный — выстрел. Забивает уши. И гаснет — от сотрясения? — лампа. Луч фонарика мечется по земле и по стенам. Дима с пистолетом, присел, ствол к небу — стрелять не в кого. Фома Андреевич! — голос Архипова. Сделайте свет! Фома Андреевич взбегает к двери, поперек двора ложится желтая полоса света. Светлее от этого не становится, темнота лишь раздвигается, а не рассеивается. Но, мягко спрыгнув с дровяника, Архипов попадает в эту полосу и замирает, ослепленный. Появляется Фома Андреевич, в руках у него лампа-переноска, и застывает на крыльце в позе статуи Свободы — идти дальше не позволяет провод. Но этого достаточно — становится видно, что под лестницей лежит что-то бесформенное. Архипов, прижимая к животу свою пушку, мелкими шажками приближается к тому, что лежит, и Дима, целясь из пистолета в то, что лежит, обходит раненого и тоже делает два шага вперед, стараясь, чтобы тень не упала и не закрыла… это. Поросшую свалявшейся комьями шерстью обезьяну с крокодильей головой. Так они стояли и смотрели, надо было что-то делать, а они все смотрели. Автомат! — прохрипел раненый; его надо срочно оперировать, но все как в столбняке. Ниоткуда возникает Татьяна, в руках у нее бинты, она встает на колени и начинает что-то делать с раной. Дима, я на чердак, сипит Архипов, прикрой меня. Он сует Диме в руку фонарь, длинный, жестяной, китайский, а сам откуда-то взявшимся багром трогает чудовище, тычет его в бок, и оно переваливается на спину, грузно разбрасывая лапы; огромный толстый член торчит, как минометный ствол. Архипов то ли икает, то ли стонет, и Дима понимает вдруг, что Архипов боится ничуть не меньше, чем он сам. То есть — запредельно. Внутри у Димы кто-то зашелся в визге, и лишь тело почему-то держалось, как подобает. Архипов, зацепив чудовище багром за лапу, поволок его в дальний угол двора, а Дима, придерживаясь локтями — в одной руке «ТТ», в другой фонарь — стал подниматься по лестнице. Стой, подожди, закричал Архипов снизу, но Дима уже по пояс в окне — чердак длинный и узкий, свет почти не добивает до конца — что твой вагон. Стропила низкие, не распрямиться, какие-то сундуки и ящики, комод, стол — Архиповская старая мебель. Вон он, автомат — шагах в семи. И рядом, видимый наполовину, труп второго чудовища. Лестница трясется под Архиповым. Нет, не пущу. Иду сам… Прикрывай, Петрович. Свет его мощного фонаря расстилается над полом, верх занимает огромная тень. Пистолет в правой руке. Фонарь — в левой. Пять шагов… шесть… семь… Еще чуть-чуть — и автомат… И — медленное движение где-то на краю поля зрения. Сердце повисает. Взгляд, свет — ничего. Труп мертвей мертвого. Хотя… нет. Он не шевелится, но с ним что-то происходит. Непонятно… меняется что? Цвет? Форма? Странное оцепенение во всем теле, и даже тот, внутри, замолчал. Дима замер, неподвижный, понимая, что сейчас его можно просто брать и есть. И тем не менее — нет сил шевельнуться. А чудовище преображалось: исчезла шерсть, исчезли крокодильи челюсти… и вдруг оказалось, что перед ним лицом вниз лежит нагая девушка: мертвая, изломанная, мраморно-прекрасная. Длинные, волной, светлые волосы разметались по грязному полу, и между лопаток — бескровная дыра, в которую пройдет кулак… Ноги Димы подогнулись, он опустился на колени, и металл звякнул о металл: ствол пистолета об автомат. Этот звук подействовал, как нашатырь. Не выпуская фонаря и не отводя взгляда от трупа, Дима сунул «ТТ» за пояс и потянулся к «калашу». Краткий миг безоружности был ужасен. Не в силах повернуться спиной, он стал пятиться, отступать к окну. Осторожно! — крик Архипова и тут же — ослепляющий удар в затылок. Слепота, звон в ушах, пороховая вонь. Задергались тени — Архипов протискивался на чердак. Нормально, Петрович, сказал Дима. Потрогал затылок: больно, но крови нет, — поднял потухший фонарь и спокойно пошел к выходу. И, высунувшись по пояс из окошка наружу, увидел то, ради чего устраивался весь сегодняшний сабантуй: тусклые фары приближающегося автомобиля.

Архипов, подавившись матом, кошкой спрыгнул на землю. Лезть на дровяник некогда, и он, непонятно как скорчившись, умостился за колодой для колки дров. Фома Андреевич осторожно опустил лампочку на крыльцо. Машина остановилась по ту сторону ворот, мотор продолжал работать, хлопнула дверца… долгие секунды — и громкий, кулаком, стук в калитку! И Фома Андреевич, кашлянув, ровненьким-ровненьким шагом пошел открывать. Дима, положив ствол автомата на нижний срез окна, прицелился поверх его головы. Сейчас он откроет и сделает шаг влево — и упадет, когда войдут все трое…

Все, сейчас.

Нет, что-то с засовом…

Снова стук и неразборчивый голос.

Наконец, калитка открывается, открывается…

И входит Василенко.

Один.

И Архипов встает ему навстречу.

Василенко без фуражки, рукав кителя оторван, на плече автомат.

— Вы тут все целы? — голос сорванный, сиплый.

— Все, Федор. Нормально.

— Доктор где?

— В доме. Случилось что?

— В больницу ей надо. Фогель там уже зашился. Раненых…

— И у нас — Валера.

— Так он здесь был?!

— Н-ну… в общем, да.

— Сукин сын. Сильно ранен?

— Сильно, Федор.

— Слушай, Архипов, а что вы тут вообще устраиваете? Пальба у вас шла?

— У нас. Оборотни напали. Федор, давай отвезем Валеру, а потом вернемся за Лидой. Ее сейчас все равно нельзя трогать.

— Опять то же самое?

— То же самое.

Василенко длинно выругался.

Дима спустился вниз.

— Здравствуй, Федор Игнатьевич.

— И ты здесь, учитель…

— Пока вы говорите, он умрет, — сказала вдруг молчавшая Татьяна. Она так и сидела, положив голову раненого себе на колени. — Вы во всем разберетесь, а он умрет.

— Твоя правда, девушка, — сказал Василенко. — Беремся, учитель.

Когда его поднимали с земли, раненый вскрикнул. Застонал он и тогда, когда его втискивали в тесный салон милицейского «москвича». Татьяна села с ним, чтобы придерживать по дороге.

— Садись, учитель, — сказал Василенко. — Лишним не будешь.

Переднее сиденье было липким от крови. Дима приспустил стекло и выставил наружу ствол автомата.

Город не спал. Где-то что-то горело, над крышами летели снопы искр. Василенко вел машину медленно, их обгоняли — грузовики и легковые. По тротуарам группами шли люди, несли вещи, толкали коляски. Поблескивали стволы ружей.

— Так чем вы занимались, учитель? — спросил Василенко.

— Сидели в засаде, — сказал Дима.

— На оборотней?

— Нет. На тех гадов, которые уводят людей.

— Фью!..

— Они не пришли.

— Теперь я понял вашу возню. А еще хотел сказать вам… впрочем, чушь. Теперь ясно, что чушь. Значит, охота с подсадной сорвалась… Они убили Ловягу. Около полуночи.

— Что? Убили? Ловягу убили?

— Сунули головой в унитаз и выстрелили в затылок. Прямо в кабинете. Там у него личный сортирчик был — очень кстати…

— Господи! — сказал Дима. — Он что же — один был? Там же исполком, люди должны…

— А не было никого. Разбежались, что ли. Непонятно. Но, в общем, никого не было. А, может, не видели. Может, нечего было и видеть…

Дима сидел, как пришибленный. Странно — смерть этого гэбиста показалась вдруг многозначащей. Не просто смерть, одна из многих за последние дни, а знак. Неясно, чей, неясно, кому поданный, но — знак.

Не забыть позвонить, подумал он.

Перед распахнутой дверью приемного покоя стоял «уазик» скорой помощи, и шофер шарил лучом прожектора по разломанной местами больничной ограде. Отгони чуток! — крикнул Василенко. Шофер кивнул и тронул свою машину. Качнувшийся луч вдруг выхватил из темноты что-то длинное, змееобразное, приподнявшееся было над забором. Тут же ударила автоматная очередь, полетели щепки. Из-за забора донесся вой. Помогай, учитель, сказал Василенко. И ты, девушка…

Втроем они отнесли раненого в приемный покой. Там был ад. Люди лежали на кушетках, носилках, на голом полу. Некоторые могли сидеть, кто-то ходил, убаюкивая боль. Кто-то плакал. Кто-то стонал, кто-то ругался. Кто-то уже умер. Пахло кровью и мочой. Старуха-медсестра сделала Валере укол. Так что, Федор Игнатьевич, сказала она Василенко, до утра на припасах дотянем — и все. Хуже, чем в войну. Хуже, старая, кивнул Василенко. Учитель, ты с автоматом — иди наружу, карауль. А ты, девушка Татьяна, пройдись по больнице, собери пустые бутылки, бензин я подвезу. Попробуем огонь…

Запасные магазины числом три нашлись в карманах огромной Валериной куртки. Перегружая их к себе, Дима вспомнил, наконец, кто такой этот Валера. Тот самый пропавший неделю назад милицейский сержант, о котором Архипов сказал, что он якобы попытается пробраться во внешний мир; будто бы после того, как отрубило связь, а на дорогах появились странные посты, заворачивающие назад все машины, Василенко послал одного из своих парней с письмом через тайгу… Значит, не прошел. Ясно…

Парень в штормовке и с дробовиком в руках показал Диме — встань туда! Забор был шагах в тридцати, неровно-белый в падающем из окон свете. Слева был темный сарай, еще левее — заросли. Оттуда можно было ждать нападения. Дима отсоединил магазин, выщелкнул несколько патронов. Серебряные пули шли через две на третью. Зарядил в том же порядке и стал ждать.

Нападение началось через полчаса. Ударило несколько выстрелов, и заросли будто взорвались, вспенились — огромными прыжками, зависая в верхней точке и стремительно ныряя к земле, из них рванулись бесформенные темные комья. Тут же несколько прерывистых огненных черт сошлись там, в центре этого выброса — взвились клубы огня. Пронзительный визг ударил по перепонкам. Не там, не там! — крикнул кто-то, и Дима уже видел, что главное не там: над крышей сарая приподнялись, посверкивая красными точками, с десяток черных бугристых туш. Дима бросил автомат к плечу и выстрелил, не целясь — крайняя туша осела, а остальные, продолжая визжать, понеслись по скату. Тремя выстрелами он сбил еще двоих. Над самым ухом грохнул дробовик, и еще одного паука буквально разорвало пополам. Уцелевшие прыгали на землю и рассыпались веером. Дима ударил короткой очередью — еще двое покатились. Справа заработал другой автомат. Кто-то стрелял из окна больницы. Рядом раздался крик — паук опрокинул кого-то и вгрызался, задрав брюхо вверх. Очередью его разнесло и отбросило, но некогда было смотреть, что с человеком. Еще один паук, подбежав, высоко подпрыгнул, целясь в окно. Навстречу ему пальнули из дробовика — мимо! Раздался звон стекла и шум падения. Следующего паука, пытавшегося последовать за ним, Дима сбил влет. Сзади хлопнуло три выстрела, Диме рвануло рукав — и под ноги ему подкатился убитый паук. В больнице, в больнице, кричала женщина, они внутри! Коридор и снова коридор, разломанная дверь, паук, оседлавший труп — поднимается, готов прыгнуть — Дима успевает выстрелить. Летят клочья. Там еще, еще! Дима меняет магазин, ногой сбивает болтающуюся створку двери. Палата. Мертвые. Четыре паука тупо возятся на трупах. Дима видит, как пули разносят их на части. Наконец, кончаются патроны. Снаружи стрельбы тоже не слышно. Дима поворачивается, чтобы уйти, и сталкивается с Татьяной. Пойдем, пойдем, говорит он, тут уже все…

Снаружи светло — бензиновые костры. Стойте, туда нельзя, хватает Диму за руку женщина с чадящим факелом в руке. Видите, что за теми попрыгунчиками тянется… В неровном свете переливаются плывущие волнообразно нити. Там, где Дима стоял, кто-то лежит, корчась, и нити обвивают его со всех сторон. Уже все, говорит женщина и крепко держит Диму, я видела, я знаю. Уже не помочь…

Провал.

После провала: Дима, Татьяна и незнакомый мужчина с вертикалкой — у окна. Кажется, второй этаж. За забором что-то горит — тускло, дымно. Несколько огненных трасс — по ту сторону вспыхивают костерки, идет треск и шипение.

— Не любят огня, — голос у Татьяны сдавленный, страшный.

Провал.

Двор — и, кажется, светает. Гнусная вонь горелой шерсти: мертвых пауков свалили кучей, облили бензином и подожгли. Клейкие нити еще плавают в воздухе, но их уже мало — это почти не опасно.

— С Леонидой-то Яновной дело пошло, — сказала старуха-сестра, принимавшая Валеру; она сидела рядом с Димой и смолила беломорину. — Золотые рученьки у докторицы, дай ей Бог здоровья… И ваш паренек поправится, поправится… сильный, красивый, такие поправляются. Я ж все четыре года на фронте была, видела, знаю. Девочка такая хорошая у него, помогает, делает все. Выходим, выходим. Невеста, наверное, его?

— Моя, — сказал Дима.

— Ай, повезло-то как! Такая девка чудная, просто слов нет. Э-эх, будь таких на округу десяток, так и беды, мобыть, не стряслось бы…

— Много убитых? — спросил Дима.

— Много, милок. Не считала, но много. А сколь по своим домам лежат-дожидаются… За грехи напасть и кара лютая… а подумать — детки-то причем? Им-то за что такие муки? Неправильно это.

— Неправильно, — согласился Дима.

— Тот же Содом взять… Господь сказал: помилую, если сыщутся десять праведников. А кто ж их искал? Ангелы взаперти у Лота всю ночь просидели, вернулись, сказали: нет десяти праведников. А дети невинные и младенцы? Они не праведники ли? Не может же быть, чтобы в городе десяти младенцев не нашлось… Нет, неправильно это. Нельзя карать. Нельзя никогда.

Подошел невысокий человек в длинном кожаном плаще. Оружия у него не было.

— Извините, вы Вышнеградский? — наклонился он к Диме.

— Я, а что?

— Отойдемте на пару слов…

Голос его показался Диме смутно знакомым. Но голова отказывала начисто — ни думать, ни вспоминать не хотелось.

— Я Зайчиков, — сказал человек. — Из краевого у-ка-гэ-бэ. Видите ли, на календаре покойного капитана Ловяги последняя запись была такая: «Поговорить с Вышнегр.» То есть с вами. Поэтому…

— Постойте, — оторопело перебил Дима. — Вы-то сами откуда взялись?

— Я здесь уже неделю.

— Вот оно что… Тогда понятно.

— Так вот, насчет капитана… Курить будете?

— Бросил.

— Правильно сделали…

Тот, который назвал себя Зайчиковым, вытащил из пачки сигарету, зубами, оскалясь, зажал фильтр и поднес к лицу зажигалку. Зажигалка протяжно щелкнула и вдруг вся засветилась глубоким малиновым светом. И сразу же — как ударили по голове — ничего на свете не стало, кроме этого малинового света. Земля исчезла из-под ног, и воздух сделался пустым. Дима повис над горящей бездной, рухнул вниз — и прошел ее насквозь.

Он твердо стоял на ногах, а вокруг с шипением испарялись только что бывшие перед глазами картины, уступая место другим, тем, что скрывались за ними. И все, что он помнил, съеживалось и сворачивалось свитком, открывая другую память. Но не исчезало полностью…

— С возвращением, сайр, — сказали рядом.

Гэбрил обернулся. Голова закружилась, повело в сторону, он переступил, чтобы не упасть, и натолкнулся на магнуса Зоунна, квинтала «пси-лавверов». Зоунн был в гражданской форме и без оружия.

— Простите, магнус, — сказал Гэбрил. — Оступился.

— Не отвлекайтесь, сайр, — строго сказал магнус. — Процедура. Перечислите уровни, на которых побывали.

— Самех, Мем, Йод, Вав, Зайин…

— Вав, а затем Зайин — именно такая последовательность?

— Да, магнус. Я думаю, мониторинг подтверждает…

— У уровня Вав мониторинг прекратился, так что вся надежда на вашу память, сайр. Два часа вам на сон, час на восстановление. Затем — вас ждет тоун Джаллав.

— А что случилось? Я понял так, что меня отозвали экстренно…

— Во-первых, вас еле нашли. Это была моя идея — поискать вас в уровне Зайин. Как вас могло забросить из Вав на более высокий уровень — непонятно. Так что с вас пиво, сайр. Шучу, конечно. Во-вторых, не вернулось уже четыре разведчика, с мониторингом творится невообразимое… Постарайтесь отдохнуть как следует. Разговор будет долгим.

**МИКК**

— Забываете старика, — бурчал Дед, провожая Микка и Кипроса в недра своей большой, но донельзя захламленной квартиры. — Не звоните, не приходите, как и не было вас никогда…

— Закрутило, — оправдывался Кипрос, — что делать, жизнь-не жизнь…

Потом, когда край стола удалось расчистить от книг, газет и почему-то географических карт и на освободившийся пятачок водрузить картонную канистру рейнвейна, пакет с бутербродами и пожелтевшие от времени фарфоровые стаканы с полустершимися императорскими львами, когда расселись вокруг и с удовольствием посмотрели друг на друга, когда, наконец, наполнили стаканы и отпили по глотку за здоровье хозяина дома, Дед сделался серьезным и спросил:

— Что, ребята? Случилось что-нибудь?

— Случилось, — сказал Кипрос и начал рассказывать — и за себя, и за Микка.

Дед молчал и слушал, время от времени пригубляя стакан. Микк следил за тем, чтобы стаканы не пустели, и тоже слушал. В чужом изложении вся история казалась совершенно невозможной. Кипрос говорил медленно, обстоятельно — делал доклад. Наконец, он замолчал.

— Это все, что у тебя есть? — спросил Дед.

— Пожалуй, все. Возможно, есть и другие факты, но я пока не могу сопрячь их с этой темой.

— Например?

— Н-ну, например… например, один знакомый психиатр рассказал о недавно возникшем синдроме: у людей появляется чувство, что один и тот же день они проживают два, а то и три раза. Не «дежа вю», а наоборот, дожив, скажем, до вечера, они возвращаются в утро того же дня и получают возможность прожить его по-другому. Память о предыдущем проживании затуманена, но сохранена. Похоже, Микк столкнулся с этим же…

— Хорошо… Ладно, ребята, давайте посмотрим, что есть у меня. Кип, сними-ка с полки вон те папки. Где-то это все там…

Впрочем, нужная папка нашлась совсем в другом месте. Дед сдул с нее пыль, открыл. Газетные вырезки, письма, выцветшие школьные тетрадки, сшитые черными нитками, бланки…

— Ага, вот… это я составлял год назад. Так, а где же очки?..

Очки не сразу, но нашлись.

— Итак, итак… Год тысяча девятьсот двадцать восьмой, эпидемия «лихорадки Вильсона». Возбудитель не выявлен, путь заражения не выявлен, смертность около сорока процентов. Однако выжившие после нее отличаются отличным здоровьем и ростом общих жизненных сил… женщины, в частности — высокой плодовитостью. Считавшиеся бесплодными рожают детей… этому, в сущности, и посвящена статья. «Терапевтический вестник», тридцать третий год. Там же, в тридцать восьмом году, те же авторы: наблюдения за детьми, родившимися у переживших эпидемию… разного рода аномалии… В этом же году оба автора, Гейнс и Аум, казнены как отравители. С сорокового по восьмидесятый год — великое множество публикаций о неких людях-мутантах, наделенных различными необыкновенными качествами. Однако в научной литературе таких публикаций нет вообще. Что странно, конечно, поскольку феномен имел широчайшее распространение. Зато в сельскохозяйственных и биологических журналах довольно много сообщений о появлении всяческих странных форм в растительном и животном мире… впрочем, без анализа и без обобщений. Опять же, какой может быть анализ, всех косили под газон… только самоубийца хотел обратить на себя внимание… Впрочем… впрочем, самоубийцы были. Тридцать второй год, доктор биологии Фердинанд Хелем, монография «Резервная система наследственности», в том же году доктор повешен, тираж книги конфискован и уничтожен, но несколько аннотаций и рефератов найти удалось… Трактует появление новых форм растений и животных как активизацию некоей резервной системы наследственности под действием стрессовых факторов, в основном — техногенных. Тридцать четвертый год, некто Снарб: разъезжает по городам со зверинцем, который называется «Монструариум». Демонстрируются, в частности, гибриды кошки и собаки, осла и свиньи. Снарб утверждает, что делает это с помощью присущей ему витальной силы. Тридцать восьмой — тридцать девятый годы: из разных мест сообщения о крестьянах, выращивающих на своих полях доселе неизвестные культуры… и о том, как с ними расправляются соседи. Сороковой и сорок первый годы: невиданное грибное изобилие. Я сам помню: это было что-то невообразимое. В городе — мостовые поднимались. Ну, дальше война, потом все эти послевоенные приключения… Шестьдесят седьмой год, «Тайна форта Анджейл» — документальная повесть Севастьяна Коруня, известного в те годы детективщика. Человека с очень большими связями в УНБ. Якобы в сорок третьем году в одном из юго-восточных укрепрайонов было собрано несколько сот так называемых мутантов — то есть людей с экстраординарными способностями. Сделано это было под эгидой Имперской контрразведки и так называемого Корпуса кавалергардов… Чем занимались там мутанты — неизвестно. Хотя, если исходить из того, что вообще известно о делах кавалергардов — они пытались создать новую реальность…

— Не понял, — перебил Кипрос. — Как это?

— Подробности письмом, — усмехнулся Дед. — И вообще — это мои личные предположения… В сорок восьмом году, за две недели — подчеркиваю: за две недели до капитуляции форт Анджейл окружила штурмовая бригада и курсанты егерской школы. Они уничтожили всех — включая охрану. Потом что-то сделали, и форт затопило. Союзники пытались проникнуть в него, но у них ничего не получилось: мутная вода и множество мин. Уже после выхода повести состоялось несколько экспедиций туда — безуспешных. Люди гибли, а найти ничего не удавалось… Интересно другое: по этому же сценарию развертывались события в других местах и в другое время: инцидент с лайнером «Меркурий» в шестьдесят третьем, карантин в бухте Успенья в шестьдесят четвертом, армейская блокада дельты Пярны в семьдесят первом, Каперский инцидент восемьдесят второго года, очень странная и, видимо, попадающая в этот перечень катастрофа в аэропорту имени Мирдвича в девяносто четвертом, события в Платиборе в двухтысячном… этому я был свидетелем… наконец, то, что происходит в Альбасте последние три года.

Дед замолчал, перелистывая бумаги в папке. У него были очень сухие тонкие пальцы с коричневыми ногтями.

— С тех же примерно годов, с двадцатых, медленно идет процесс, который я назвал истощением образности. Объясняю: мир, наблюдаемый нами, представляет собой не более чем описание мира, существующего в действительности. Я понимаю, что сейчас вокруг этого мы можем затеять спор и спорить до посинения наших трупов. Поэтому просто прошу принять это утверждение как аксиому, тем более что никакая иная точка зрения к результату нас не приблизит…

Микк почувствовал вдруг, что смертельно устал. Не было сил продолжать слушать эту невозможную лекцию, тем более, что — Микк отлично знал — Дед мог говорить часами. Черт знает, приближало это к решению или отдаляло?.. Или не имело значения вообще и было пустым мудрствованием? Микк перестал сопротивляться, уснул, вздрогнул и проснулся.

— …напоминает обеднение языка. Мой дед беседовал с дьяволом, как я — с вами. Душу не продал, счел слишком высокой платой за… впрочем, неважно. Мать занималась тем, что отводила ворожбу и проклятия — причем одно время, я помню, это было главным источником доходов. На моих глазах исчезли домовые. Самые страшные заклятия потеряли силу. Духов стали вызывать для развлечения — и являлось что-то потешное. Мир стремительно упрощался, теряя всю свою надрациональную сторону. Правда, во время войны был какой-то не совсем понятный всплеск… то ли сильные эмоции слишком многих людей так подействовали, то ли те ребята в форте Анджейл… но на короткое время все вернулось. И снова кануло — уже окончательно. Но оскудение коснулось не только надрацио. Оно начало распространяться на все прочее. Это почти невозможно объяснить — но мир упрощается. Из него постоянно что-то пропадает. Причем эти исчезновения немыслимо трудно заметить. То, что остается, тут же затягивает брешь. Понимаете, это исчезновение не предмета, а понятия. Понятия о предмете. Раз нет понятия, то и потери не чувствуешь.

— Но это же естественно, — сказал Кипрос. — Что-то появляется, что-то должно исчезать…

— Я не об этом. Совсем не об этом… — Дед снова зашелестел бумажками. — Вот пример. Школьные сочинения тысяча девятьсот восьмого и тысяча девятьсот семьдесят восьмого, статистическая обработка. Вольная тема. Гимназисты начала века на сто человек использовали семьдесят шесть фабул, суммарный словарный запас — шестнадцать тысяч слов. Гимназисты семьдесят восьмого года — одиннадцать фабул на сто пишущих! Словарный запас — шесть тысяч пятьсот. Сочинения на темы литературных произведений: из ста гимназистов девятьсот восьмого сорок три вполне отчетливо изложили и прокомментировали «Орох» Вильденбратена; в семьдесят восьмом — ни один! Многие пересказывали содержание, но никто не мог сказать, о чем, собственно, писал классик. И дело не только в хреновом преподавании, а просто мир упростился, и многое из написанного перестало сопрягаться с реальностью. Вымирает поэзия — тот уровень связей, на котором она существует, для современного человека почти неразличим. Короче, наш мир оскудел до невозможности… и, мне кажется, поскучнел. Для описания жизни современного человека нужно совсем немного слов…

— А причем все это? — спросил Микк, чтобы хоть собственным голосом отогнать дремоту.

— Вот к этому я и перехожу. Кстати, вы обратили внимание, как часто мы используем слово «это»? Как часто повторяемся? Как часто в новостях нам сообщают одно и то же, только разными словами? В современных книгах — тоже сплошные перепевы и повторы… а это значит, что люди так видят и воспринимают мир. И от этого никуда не деться… нам не выйти за пределы языка — языка, которым наше сознание описывает то, что в него проникает.

— Получается так, что наш разговорный язык — это производное от того внутреннего языка… я правильно понял? — подался вперед Кипрос. — И видимое его обеднение — это признак того, что беднеет внутренний язык?

— Я не стал бы называть его производным, — сказал Дед. — Там более сложная зависимость. В сущности, каждый человек владеет минимум тремя языками: языком восприятия — который позволяет сознанию перешифровывать поступающую от органов чувств информацию, — языком общения — ну, это понятно, — и языком перевода с языка общения на язык восприятия. Не запутались?

— Нет, — сказал Кипрос. Микк промолчал.

К чему он ведет, интересно, подумалось ему. Где-то ведь все то, что рассказали мы, и все то, что говорит он, должно пересечься. Но, черт возьми, где? И Кип… какой он сегодня странный. Пропала женщина, к которой он был, в общем, неравнодушен. И что? Волочет меня к этому заумному старику… и опять непонятно — зачем? С целью окончательно добить мои мозги?..

— …мозга не снизилась, — услышал он голос Деда. — И какой тогда вывод мы можем сделать из всего сказанного? Ну, парни? Машина работает, как работала, горючее жрет, как жрала — а мощность падает и падает? Значит, часть мощности уходит налево, так?

— Получается, что так, — медленно сказал Кипрос. — То есть…

— То есть мозг каждого из нас помимо своей основной работы делает что-то еще, неподотчетное сознанию. И со временем доля этой работы становится все больше и больше. И я подозреваю, что она давно перевалила за половину.

— И что это за работа? — спросил Микк. Вся сонливость куда-то исчезла.

— Участие в коллективном разуме.

— И всего-то? — пожал плечами Микк. — Эта мысль обсасывается уже миллион лет.

— Не могу согласиться. Обычно под коллективным разумом подразумевают сумму всех более-менее взаимодействующих сознаний. В нашем же случае…

— Я понял, — сказал Кипрос и посмотрел на Микка.

— Я, кажется, тоже понял… — помолчав, сказал Микк. — И что из этого следует?

— Это только одна сторона дела. Не зря же я так долго рассказывал про мутации и прочее. Я имею все основания предполагать, что, помимо коллективного разума человечества… прошу прощения, я перебью сам себя. Разум этот существует в мозге, состоящем из нервных клеток, роль которых играют наши собственные мозги, вот эти, — Дед постучал себя костяшками пальцев по черепу, — и связующих путей, а именно: всех форм обычного общения, плюс почта и прочие телефоны, плюс компьютерные сети, плюс сенситивные средства. Так вот, помимо этого разума существует другой, включающий в себя информационные системы растений, насекомых, прочей живности — и некоторых людей. Тех, которые — помните? — так хорошо умели с этой живностью обходиться… Возможно, люди эти включены и в ту, и в другую систему… тем им труднее приходится…

Дед помолчал, глядя куда-то мимо всего.

— Потому что оба эти разума бьются сейчас насмерть.

Что-то, медленно поворачивавшееся в голове Микка, со щелчком встало на место.

Он зачем-то поднялся на ноги, стоя налил себе полный стакан вина и стоя же выпил до дна. Война, подумал он. Конечно же, война. Как я не понял раньше?.. Логика войны, да, логика войны так и проступала сквозь все происходившее, и непонятно было лишь — кто с кем? Так… и что же теперь делать? Быть марионеткой, солдатиком — или… или что? Разве есть выбор?

— Интересно получается… — протянул Кипрос. — Если так… да. То есть… хм. Секунду. Связь между людьми и людьми осуществляется понятно как. А между людьми и… м-м… биосферой?

— На эту тему было много работ, — сказал Дед. — Но все не слишком убедительные. Хотя ясно, что каким-то материальным носителем информации стороны обмениваются. Известно например, что растения чувствуют настроение человека…

— Ну да, — кивнул Кипрос. — А те люди, значит, ни о чем таком не подозревают. В то время как противная сторона…

— Исчезнувшие, — прошептал Микк.

— Исчезнувшие? — поднял брови Дед. — Не думаю. Скорее всего, их просто сожрали. Те твари, которых ты препарировал, Кип. Иначе почему такая локализация исчезновений, почему только деревянные дома? С другой стороны… мутантов ведь уничтожали просто варварски. Так что не исключено… э-э… что причиной было…

— Это раньше, — сказал Микк. — А сейчас?

— Кодоны, — сказал Кипрос. — И эрмеры…

— Точно, — сказа Микк. — Кодоны возникают в информационных сетях. И тогда получается, что этот самый общий интеллект генерирует их именно для проверки ячеек. Если реакция нормальная — свой. Если же…

— Тогда считается, что его убили в интересах безопасности граждан, — подхватил Кипрос. — И, что интересно — так оно и есть на самом деле. Во всех смыслах.

— Суки… — Микк сам не знал, кого он имеет в виду. Вдруг навалилась чернота. Дыхание перехватило. Острый запах разрытой земли и другой, ни на что не похожий резкий запах, пробуждающий какие-то древние, еще дочеловеческие воспоминания, наполнили собой воздух. Призрачный холод коснулся лица. И — остановилось время.

Это было так внезапно и так страшно, что Микк закричал.

От крика осыпались и стали пыльными холмиками тела Деда и Кипроса. Мгновение спустя мягко развалился стол, за которым сидели, ящики, шкафы и стеллажи, громоздившиеся вокруг, двери, ведущие в другие комнаты, и то, что стояло за этими дверями. Беззвучными медленными водопадами стекли на пол книжные полки и антресоли, ковры и картины. По колено в пыли, Микк стоял один среди четырех стен, перед тремя дверьми, ведущими бог знает куда. За окном без переплета и стекол висела непроницаемая мгла.

**МИШКА**

Наконец, настала та ночь, когда салабон Мишка Грачев ушел в побег, разом поставив жирный крест на всей своей никому не нужной салабонской жизни. Он давно знал, что эта ночь когда-нибудь настанет, и все равно она настала неожиданно, вдруг, и поэтому с собой у Мишки было только два десятка черных сухарей, немного соли, банка свиной тушенки и три коробка спичек. Он сознательно шел безоружным; штык-нож не в счет, а к гранате, взятой на последний случай, отношение было особое. Не как к оружию. Другое.

Мишка не мог вспомнить, когда именно понял, что уйдет. Вряд ли в учебке, просыпаясь в грязи и вони серых десятиместных палаток — и погружаясь в гнойный бред первых армейских недель. Тогда он давил в себе тоску и уверял себя, что перетерпит. Да, тогда казалось, что можно перетерпеть. Что трудно сейчас, а потом будет лучше. Каждую ночь шли разборки. Тем, кто успешнее давил других, цепляли лычки.

Потом их, воняющих ненавистью и страхом, загрузили в гремящее железное брюхо «семьдесят шестого». Через три часа, вывалившись под другое небо, среди каменных гор, Мишка на минуту подумал — поверил — что может быть другая жизнь — как оправдание всему предыдущему.

В этот же день Сашка Челганов снова бил его в туалете, и снова Мишка сумел устоять — пожалуй, единственный в отделении. Он с детства хорошо держал удар.

Через неделю Сашка сгорел у него на глазах: выстирал хэбэ в бензине — от вшей — и, недосушив, надел. И пошел покурить…

Высокий голос муллы возникал каждое утро. К нему невозможно было привыкнуть.

Температура на солнце доходила до семидесяти. В один из дней от тепловых ударов двое умерли, а сержант Байгушев сошел с ума. Это был тот день, когда пропал замполит. Вот только что его видели — и все. Среди бела дня. Среди дурманной, как анаша, жары.

Белые горы стояли слева. Белая пустыня лежала справа. На закате соль сверкала, как стекло.

То, что нашли от замполита, уместилось в полиэтиленовом мешке.

Перед рассветом роту затолкали в вертушки и высадили на горном пятачке. Ну, Грач, если звякнешь… — Ряшкин поводил у Мишки перед глазами пятнистым кулаком. Мишка молча попрыгал. Ряшкин был из невредных дедов. Не то что Титенко. Или Амиров.

Весь долгий спуск Мишка видел перед собой только спину Ряшкина и его же сапоги. Ступать надо было след в след.

Все произошло одновременно: распахнулось ущелье, и солнце появилось из-за вершин, и ударили первые выстрелы — вдалеке. Кишлак, зажатый с трех сторон горами, лежал перед ними, а по ту сторону кишлака, по полям — дымили БМП и крошечные серые фигурки, появляясь и пропадая, разворачивались в редкую цепь.

Над самой головой с грохотом пронесся «крокодил», и тут же, чуть в стороне и выше — еще один. Белый сварочный огонь засверкал среди домов, мгновенно вспухая, багровея и обволакиваясь жирным дымом. «Крокодилы», полыхнув отраженным от лопастей солнцем, развернулись и, опустив носы, пошли назад, как бы принюхиваясь к тому, что еще осталось на земле. От одного потянулись дымные трассы, и там, где они касались домов, вверх летели пыль, земля, дерево, камни…

В реве и грохоте пулеметная очередь почти затерялась, но вспышки на борту ближнего «крокодила» увидели все. Что-то отлетело от вертолета и стало падать. Сам он задрал нос и, пустив под себя струю сизого дыма, завертелся на месте — будто в поисках обидчика. Второй «крокодил» резко набрал высоту, завис, развернулся, опустил нос… Теперь Мишка видел его лицо в лицо: пустые глаза турбин, опущенные книзу крылышки — как линия покатых плеч… Ложись! — заорал кто-то и толкнул Мишку в спину. Все покрыл гром. Земля ударила в грудь. По каске барабанили мелкие камушки, а тела Мишка не чувствовал. Но встал. Оказался на ногах. Над скалами слева — метрах в пятидесяти — расплывалась туча. Бегом! Бегом! Подбитый вертолет опускался на дома. Второго уже не было в небе — ушел. Подбитый, сильно дымя, сел на улицу и завалился на бок — лопасти, ломаясь и взметая пыль, ударили по земле.

Что было после — Мишка помнил плохо. Летела под ноги каменистая земля, и колючие кусты не цеплялись почему-то, а пропускали навылет, и качались навстречу утонувшие в зелени белые лачуги — а потом, как-то сразу, его окружили покатые дувалы — слепые стены без окон. Солнце заливало все бешеным светом, а впереди вставала стена черного дыма. Маленький ослик дергался в пыли. Уже три «крокодила» утюжили небо. Внезапно Мишка понял, что давно не слышит ни звука — и, наверное, потому ничего не понимает. Солдаты выбивали двери, взмахивали рукой — и иногда из дверей вырывался кто-то бесформенный, черный — и оставался комком у порога. В узком окошке под самой крышей дома, запиравшего улицу, что-то сверкало — и надо было лежать и притворяться мертвым, как те двое, что шли чуть впереди. Потом Мишка оказался в саду, среди деревьев и лоз, и Ряшкин с черным лицом вел его за собой. За невысоким забором они чуть не провалились в яму, полную живых неподвижных лиц — и Ряшкин, тесня Мишку, отходил и отходил назад, а потом знакомо махнул рукой, и в этот момент Мишка увидел старика в синем халате и белой чалме, старик медленно-медленно поднимал к плечу длинную винтовку и наклонял голову к прикладу, а потом винтовка плюнула белым дымом, и Ряшкин исчез, а в яме вспыхнул белый огонь и погас, и когда он погас, Мишка почувствовал, что там не осталось ничего живого, будто что-то замолчало в нем самом, а со старика слетела чалма, и он, воздев руки, стал валиться назад, а автомат все еще бился в мишкиных руках. Дальше шел настоящий бой. БМП горела, своротив угол дома, а другая, прячась за ней, била из пушки куда-то сквозь чадный соляровый дым. Потом бешеная стрельба началась где-то сзади. Подбитый вертолет тоже горел, а оба летчика без голов валялись посреди улочки, рядом с чем-то настолько обугленным, что и не понять, кому эти тела принадлежали раньше: мужчинам, детям или женщинам. Конечно, им за летунов по миллиону платят, сказал кто-то, не то что за нас, идиотов — по полста… Это не война, почему-то подумал Мишка именно в те минуты, преодолевая странную глухоту, не позволявшую слышать себя. Он еще не знал, что придет на смену слову «война» — но что-то же должно было прийти…

Мусульманский полумесяц висел в центре неба.

Даже небо нерусское, и знакомые созвездия куда-то исчезли…

Побег был предприятием смертным.

Нельзя попадать к своим — это трибунал и дисбат. То, что рассказывали о дисбате, было страшнее всего.

Нельзя попадать к местным афганцам: из страха и из корысти выдадут, продадут за деньги или поменяют на цинку патронов или на бензин. Такое уже бывало — правда, решали все, не вынося сор из избы. Трудно сказать, было ли это лучше дисбата.

А нужно, держась караванной тропы, пройти километров сто на юг и там попробовать сдаться тем, которые приходят из Пакистана. Шанс выжить — один на миллион.

Ничего другого судьба ему не оставила.

…Двое держали Мишку за руки, а ефрейтор Амиров коротко ударил его в солнечное сплетение — и, когда Мишка повис, задыхаясь, коленом врезал ниже пупа — так, что отнялись ноги. Потом, лежащего, его обоссали, стараясь попасть в лицо. Ладно, пока все, сказал Амиров, остальное дома. Костя, глаз с него не спускай…

Под ногой шевельнулся камень. Куда-то вниз с тихим шорохом посыпалась щебенка. Мишка замер. Предчувствие пули сдавило затылок. Лиловый свет обрушился сверху — и Мишка, сжавшись, бросился в черную яму, открывшуюся у его ног. Хлопок и шипение ракеты догнали его…

Падал он долго.

Очнувшись, никак не мог понять, что с ним случилось и где это он находится. Лежать было удобно, и не хотелось шевелиться. Откуда-то проникал пепельный свет, касаясь невзначай причудливых сводов. Перед лицом чернела глубокая клякса с одинокой звездой в центре. Последней надеждой казалась та звезда. Миллионолетняя толща холода отделяла ее…

А потом Мишка услышал шаги. Сдвоенные, вперебой, тяжелые и уверенные шаги тяжелых и уверенных людей. Он не шевельнулся, только скосил глаза. И увидел, как два силуэта пересекли пятно пепельного света и пропали. Неясный ужас остался после них — как запах табака.

Он досчитал до ста и только после этого стал подниматься на ноги. Рыхлая глина не хотела отпускать. Острая боль пронзила лопатку — Мишка перевел дыхание и все же встал прямо. Банка, догадался он, банка в вещмешке… хорошо, не по хребту… Он стоял в невысокой сводчатой пещере. Прямо уходил, изгибаясь, узкий коридор: из него и проникал сюда этот слабый свет. Похоже, что в нескольких шагах отсюда коридор этот пересекался другим, поперечным, темным. Мишка отряхнул с себя остатки глины, поправил мешок, пошевелил лопаткой: было больно, но, терпимо, в первый раз боль взяла только неожиданным своим появлением, — и двинулся вперед.

Действительно, был поперечный коридор, и слева, откуда шли те двое, доносился невнятный гул, угадывался далекий красноватый свет и шел теплый, пахнущий чем-то механическим воздух. Мишка не стал задерживаться и торопливо дошел до поворота пепельно-светлого коридора. Повернул, скрылся от возможного чужого глаза и прислонился к стене Почему-то заколотилось сердце.

Стало светлее — будто совсем рядом было окно, выходящее в пасмурное утро. Уже стремясь к чему-то, уже заранее открываясь, Мишка сделал еще несколько шагов…

Перед ним были ступеньки, старые, стертые ногами, почерневшие ступеньки лестницы его родного подъезда, и деревянные перила, крашенные темно-зеленой бугристой краской, и серый половичок, аккуратно расстеленный… и пахло мокрым деревом и мокрой пылью, и мокрой мешковиной половой тряпки — Марья Петровна ушла минуту назад… Мишка вытер рыжие от глины сапоги и стал подниматься вверх, и третья снизу ступенька заскрипела, как скрипела она всегда. А на площадке у батареи сидела, съежившись, голая девочка лет четырех — и Мишка неведомо как понял, что на самом деле ее здесь нет, она сидит за много километров и много лет отсюда, но видеть ее можно и здесь — только видеть, но не говорить с нею. Он остановился, не зная, что нужно делать, а девочка вдруг стала удаляться, удаляться — не уменьшаясь, не исчезая, а просто предъявляя все разделяющее их время и расстояние — и Мишка вдруг смутился и быстро шмыгнул мимо — и уже через ступеньку преодолел вторую лестницу и ткнулся в свою дверь.

Она открылась легко, незапертая, и от ворвавшегося сквозняка закружились по углам пушистые спиральки домашней нетронутой пыли. На вешалке висели старые пальто и куртки; с полочки для шапок свешивался длинный коричнево-зеленый шарф. Лампа в выцветшем пластмассовом колпаке горела слабо, вполнакала. Мишка стоял не пороге своего дома, не решаясь сделать последний шаг…

«Случай на мосту через Совиный ручей» назывался тот рассказ, значит, вот оно как бывает, значит, в меня все-таки попали… Мишка поднял руку — потрогать затылок, запоздало испугался — на миг все заледенело — иллюзии: под пальцами теплые сгустки и осколки костей… Нет, затылок был стрижен и цел. Он постоял еще немного, уверил себя, что готов ко всему, и вошел в дом.

Ничто не исчезло.

Тогда он закрыл за собой дверь.

Из ванны он выбрался совсем другим человеком. Подумаешь, ржавая вода из горячего крана… Растираясь колючим слежавшимся полотенцем, он еще раз попытался заставить себя подумать о том, что происходит, и не смог — и решил отказаться пока от этих попыток. Надел серые застиранные плавки, новые носки, старенькие, но чистые вельветовые штаны светло-кирпичного цвета и махровую белую с зеленым футболку. Забытое чувство: прикосновение своих вещей…

Чайник, конечно, уже готов был взорваться. И в кастрюле осталось воды на самом дне. Мишка, ухмыльнувшись довольно, долил воду и в чайник, и в кастрюлю — и сел на свой стул в углу, положив локоть на стол. Клеенка показалась холодной, как железо.

Свет тускловат… или просто так кажется? И на улице — кромешная тьма. Надо бы выключить свет, подумал Мишка, и тогда посмотреть в окно — но не двинулся с места. Наконец, чайник зафыркал. Преодолевая лень и ломоту, Мишка встал, ополоснул заварочник, высыпал в него полпачки зеленого — другого не нашлось, — залил кипятком и набросил сверху полотенце. Тут же закипела и вода в кастрюле. Пельмени смерзлись в ком, он поковырял этот ком ножом, разобрал его на фрагменты и бросил то, что получилось, в белый кипяток. Посолил, закрыл крышкой, убавил пламя. Быстро, чтобы не передумать, шагнул к выключателю и погасил свет.

Да, темнота за окном была не сплошной. Просто — как он мог это забыть? — до пол-окна поднимался близкий брандмауэр, а за ним еще кусок пространства занимала глухая крыша магазинчика речного ОРСа. А вот поверх крыши было что-то смутно видно: какой-то отсвет на низких облаках, очень далекие и очень медленные искры, всплывающие в небо… Он долго вглядывался во все это, но ничего другого не увидел. Потом за спиной зашипело, и дважды отраженный синий огонь стал желтым. Мишка вернулся к плите, сдвинул крышку и подул, сгоняя пену.

И, не включая свет, сел в свой угол.

Все-таки умер, подумал он. Или умираю. И мне чудится, что я дома. А может быть, я так и проживу здесь до старости?.. Он задохнулся от непостижимости этой мысли. Но тогда… Танька?..

…А почему ты так уверен, что умрешь, спросила она однажды. Только потому, что вокруг умирают другие? А если все это лишь придумано для того, чтобы ты поверил, что и с тобой такое должно случиться? Если это специально тебя сбивают с толку? Зачем, спросил Мишка. Допустим, для того, чтобы ты считал каждый день. Я все равно не считаю. Подсознательно — считаешь. Допустим, сказал Мишка, а что из этого? Что потом? Потом тебе пожмут руку и поздравят с успешным прохождением дистанции. Неинтересно, сказал Мишка. Без смерти как-то неинтересно. То есть ты считаешь, что все это — Танька обвела рукой вокруг себя — всерьез? Мишка кивнул. Удивляюсь я тебе иногда, сказала Танька. Без смерти все равно ничего не получается, упрямо сказал Мишка…

Когда это началось? В шестом классе? Или в седьмом? Когда мы в первый раз забрались в темный подвал и при свете фонарика стали вслух читать… не с Бирса же начали? И не с Эдгара По? А, помню: «Железная рука Геца фон… фон…» забыл. Валленштейна? Кажется, так. Жуткая вещь. И что-то еще из того замечательного томика. Потом Танькина мать все это изодрала и выкинула: и Бирса, и По, и бээсфэшку… Дура чертова. И била Таньку, и запирала… и гадости всякие говорила. Она думает, мы с тобой тут пакостями занимаемся, сказала Танька, она другого ничего придумать не может. А они долго-долго ни о чем таком и не помышляли. Читали страшные истории, потом начали сами придумывать. Рассказывали во дворе. Ох, как их слушали! Про страну, которую захватили упыри и из всех людей делали или ходячих мертвецов, или таких же упырей — и как настоящая принцесса этой страны пыталась их победить… Да, это было круто. И про дом, из которого не было выхода, а был только вход. И про то, что на всей Земле настоящих людей только семь человек, а все остальные — придуманные ими. Но некоторые из этих придуманных догадались, что они придуманные, и научились находить настоящих и гипнозом добиваться от них желаемого…

Пельмени выкипели и зашипели, и только тогда Мишка вспомнил о еде. Он выскреб их в тарелку, полил уксусом — и съел уже половину, когда сообразил: пельмени были не те, что он бросал в кипяток! Он бросал магазинные, да еще смерзшиеся и кое-как разломанные — а на тарелке лежали домашней лепки, похожие на планету Сатурн, аккуратные и отдельные. Но и поняв это, он съел все.

Значит, так, да? Значит, по моему велению… Он обвел взглядом кухню, пытаясь найти фальшь. Нет, все настоящее… как настоящее. Тогда он уперся взглядом в бутылку с уксусом и напрягся, пытаясь превратить ее в… он не мог придумать, во что. Он не мог на этом месте представить ничего, кроме бутылки с уксусом. Потом он услышал, как скрежещут его зубы, и расслабился. Бесполезно… все схвачено, как бетоном… Сил уже не было. Кое-как он встал, налил себе чашку чая, выпил полутеплую вяжущую жидкость — и пошел в свою комнату.

Ему показалось, что в большой комнате стоит тонкий запах тления.

Он толкнул дверь — и вошел. К себе. Спустя столько лет…

Было аккуратно прибрано и расставлено по местам так, как никогда не было при жизни. И была кровать, застеленная по линеечке. В учебке рассказывали, как в казармах заставляют заправлять кровати. Мишка ни дня не жил в казарме. Даже не знал, как они выглядят. У него еще хватило терпения раздеться. Он лег, всем телом чувствуя прикосновение холодных чистых простыней. Потянулся к выключателю — когда-то сам переставил его так, чтобы можно было дотянуться лежа. И наткнулся на конверт, кнопкой приколотый к стене.

Серая шершавая бумага. Вместо марки — бурое пятно.

Лист из тетрадки в клеточку. Зеленая паста.

Мишенька, любимый!

Вот уже год, как тебя нет. Нет на этом свете. И полтора — нет со мной. И я пишу первое письмо, и последнее, наверное, потому что творится такое, что выжить не надеюсь абсолютно. Все изменилось так, как мы с тобой придумать не могли — и, может быть, в этой катавасии случится чудо и письмо тебя найдет. А найти тебя самой — потом — не мечтаю, потому что потом мы изменяемся так страшно, что дорогие и любимые становятся нам не нужны. Я почему-то знаю это твердо. И этого именно боюсь безумно.

Мишенька, когда привезли закрытый гроб, а потом хоронили его под речи двух крыс, одной жирной и одной тощей, и солдат с орденом рассказывал, как ты геройски дрался, один против целой банды, и подорвал себя последней гранатой, я поняла вдруг, что во всем этом скрыта какая-то огромная ложь и что всего этого с тобой быть не могло. Солдат был мертвый, и те крысы тоже были мертвые, и мы, может быть, были мертвые все, потому что так славно слушали их — а значит, это мы все были в закрытом гробу, а ты, живой, был снаружи. И никто не догадывался, что мы уже мертвые. А потом гроб засыпали землей, и земля приняла на себя все. И стало казаться, что ничего не изменилось. Потому что стало не с чем сравнивать, все были одинаково мертвые и ничего не подозревали.

Ты был прав, когда говорил, что без смерти ничего не получается. Недавно я разговаривала с Фомой Андреевичем, у него совсем другой подход, прямо противоположный — и все равно в результате то же самое. Нет в жизни ничего важнее смерти. Наверное, поэтому так не хочется умирать. Потому что потом все станет неважным.

Весь этот зряшный год я пытаюсь понять, мертвая я уже или нет. И не могу. Стоит побыть немного в покое, и меня уже нет, и вокруг холод. Нужно удариться обо что-то, испытать боль — и тогда ненадолго возвращается чувство, что у тебя есть рука. Или душа. Поэтому, наверное, я и пускаю себя в разгул, и пью с парнями спирт, и ебусь с кем попало, и машину угнала на спор, и уже дралась на ножах. Я ни черта не боюсь, Мишенька. Иногда я пытаюсь заставить себя что-то испытать, веду себя так, будто кого-то ненавижу или в кого-то влюблена, начинаю жалеть себя — но ничего не получается. То есть получается изображать. Наверное, я все-таки мертвая.

Мишенька, нет сил больше писать, мы ведь как на войне, и без передышки вот уже месяц. Я люблю тебя, и нет для меня ничего, кроме тебя. Прощай, Мишенька, хороший мой, сердце мое, душа моя, единственный мой.

Это я, твоя Танька".

Ошеломленный, Мишка лежал неподвижно. Потом что-то лопнуло в нем, и он, зажимая рот руками, завыл — зверем завыл от безмерности этой потери…

Он проснулся и тут же вспомнил обо всем. Комнату заливал свет. Болела грудь. Болела так, что ни вздохнуть, ни коснуться. После вчерашнего избиения. Вчерашнего… ничего себе. Мишка обвел глазами комнату. Нет, ничто не изменилось. А вот если выйти за дверь…

Не знаю. Просто ничего не знаю. Все так, как есть. Тайна.

Он шевельнулся — и вдруг в левой руке ощутил что-то. Поднес к лицу, разжал пальцы…

На ладони лежал маленький двуручный меч.

Я так и спал с ним, улыбнулся Мишка. Он всегда помогал, когда очень плохо.

Тоже — тайна. Или — одна и та же?..

События того давнего дня Мишка помнил кристально.

Линза была что надо: размером с чайное блюдце, толстая и тяжелая. Просто замечательная линза. Мишка сидел на скамейке, держал ее в руке и ждал, когда вновь выглянет солнце. Требовалось закончить начатую надпись: «Козел — козел». Козла сегодня не было, уехал с родителями в деревню, поэтому писать правду было легко и приятно. Пока что Мишка дошел только до буквы "О" в первом слове.

Стоял июль, только что отцвели тополя, грязный, прибитый дождем пух еще лежал по краям тротуаров. Тополя росли везде, но этот двор был, конечно, особенный. В других дворах по три, ну, по пять деревьев, чахлых и стриженых под колобки, а тут — целых восемнадцать, старых, кряжистых, разлапистых и развесистых, по ним лазали, на сучья подвешивали качели, к стволам привязывали веревки для белья и гамаки, а осенью баба Катя из седьмой чуть не на карачках ползала между ними, собирая плотненькие коричневые грибочки. А пух — он беспокоил только взрослых. Малышне, например, он даже нравился, они что-то мастрячили из него, ну, а люди постарше сгребали пух в кучки, бросали спичку и смотрели, как замечательно горит. Взрослые к этому занятию относились нервно. Черт их поймет, этих взрослых: лежит пух — плохо, жжешь его — тоже плохо…

— Ух ты! — сказал кто-то за спиной. Мишка обернулся — это подошел Филька из второго подъезда. Он подходил всегда бесшумно и всегда сзади и подглядывал. Не сказать, что он прихвостень Козла, но приятель. Поэтому Мишка спросил неприветливо:

— Чего надо?

— Линзочка у тебя — классика! — сказал Филька. — Махнем, а?

— Нет, — сказал Мишка. — А на что?

— А вот, — сказал Филька и достал из кармана ножичек. Впрочем, не совсем ножичек, скорее, крохотный, на ладони поместился, меч. Крохотный, но совсем как настоящий: витая рукоять, крестовина, а в набалдашник вделан зеленый блестящий камушек. И по крестовине тоже несколько камушков, а лезвие настоящее, голубоватое, и по лезвию тонюсенькими буковками какая-то надпись.

— Острый — жуть, — сказал Филька. — Я за лезвие схватился — вот! — он сунул под нос Мишке указательный палец. Порез был глубокий, но кровь уже не шла.

— А где взял? — спросил Мишка.

— Где-где. Сам знаешь, где. Места надо знать. Ну, меняем?

Вообще-то Мишка знал, что, если дядю Саню как следует попросить, он даст другую линзу — у него несколько от какой-то старой штуковины…

— Тогда еще твою «Авиапочту» впридачу, — сказал Мишка.

Теперь замялся Филька. Отдавать две вещи за одну ему не хотелось.

— Дай-ка еще посмотрю, — сказал он.

Мишка дал ему линзу. Филька навел солнечную точку на скамейку — дерево сразу задымилось.

— Здорово, — сказал он. — Как лазером. Ладно, махнули. Только марка у меня дома. Я ее тебе потом отдам.

— Ну уж, — сказал Мишка. — Ты потом забудешь. Пошли.

Они поднялись на третий этаж, Филька ключом открыл дверь, и они вошли. Пахло обедом.

— Подожди тут, — сказал Филька. — Я сейчас.

Он разулся и босиком прошлепал в комнату. Там он возился, потом закричал:

— Баб! Ты убирала — где мой кляссер?

— Не знаю, все там, — ответили ему. — Ишшы.

Из комнаты в коридор вышла Любка, троюродная Филькина сестра из города со смешным названием Пневск, ее привезли сюда потому, что родители уехали в Африку строить там ГЭС. Любка была конопатым въедливым существом семи лет.

— Привет, — сказал Мишка.

— Привет, — сказала Любка. — А я тебя знаю. Это ты пускал позавчера самолет с резиновым моторчиком.

— Я, — сказал Мишка.

— А где он теперь?

— Потерпел аварию, — сказал Мишка. — Разбился.

— А летчик?

— Летчик спасся с парашютом, — сказал Мишка. — И теперь пробирается к своим через линию фронта.

— Он у тебя тоже маленький? — спросила Любка.

— Кто?

— Летчик.

— Маленький. А почему тоже?

— А Филька с Толиком говорили, что у них спрятаны маленькие человечки. Они их будут теперь всему учить. Они вообще в тополях живут, в дуплах. Там у них ходы проделаны, много, целый город. Только никто про это не знает. И ты никому не говори.

— Почему?

— А чтобы была тайна. Какой интерес, когда все знают? Когда без тайны, это неинтересно.

— Нашел, — сказал Филька. Он опять подошел неслышно. — Ты чего это ему разбалтываешь?

— А он и так знает.

— Когда тайна, то говорить никому нельзя! — Филька дернул Любку за ухо. Любка надулась, но — Мишка даже удивился — бабушку звать не стала и даже не пикнула, хотя вон как ухо покраснело. — А это тебе, — сказал Филька, протягивая Мишке меч и марку. — Во какая штука у нас теперь есть — зашибись!

— Ты этот меч у своего отобрал? — угрюмо спросила Любка.

— Я тебе сказал — помалкивай! — прикрикнул Филька. — А то!..

— Так я пошел, — сказал Мишка. — Пока.

— Пока-пока!

На лестнице Мишке вдруг пришло в голову: надо посмотреть на меч через увеличительное стекло! Но для этого надо возвращаться…

Он подошел к Филькиной двери. За дверью тихо возились. Мишка постучал. Возня стихла, Филька приоткрыл дверь.

— Чего тебе? — спросил он недовольно.

— Дело одно есть, — сказал Мишка. — Пусти.

— Ну?

— Надо посмотреть на меч через увеличилку.

— Ага, — сказал Филька и впустил его.

Любка стояла, насупившись. Левую руку она прятала за спину. Мишка старался не замечать этого.

Под увеличением меч стал совсем как настоящий, такие точно мечи Мишка видел на открытках. Буквы видны были отчетливо, но все они были непонятные.

— Ну? — подал голос Филька.

— Не по-русски написано, — сказал Мишка.

— Хочешь, за словарем сбегаю?

— За русско-нерусским? Скажи лучше, где ты его взял?

— Взял вот где-то, — вредным голосом сказал Филька. — Не скажу.

— Отобрал, — прошептала Любка.

— У кого?

— Не твое дело, — разозлился Филька. — Взял вещь — и иди себе. Иди-иди. А с тобой мы еще потолкуем, — повернулся он к Любке.

Заступаться за девочек, думал Мишка, спускаясь по лестнице. Ага, тут заступишься — бабка в квартире. Ты же и виноватым будешь. А он ей, гад такой, руки выкручивает…

Но какая девчонка! Вот бы такую сестру…

Дома он положил меч на стол и долго его разглядывал, все пытаясь представить себе, каким же должен быть воин, владеющий этим мечом. Потом пришли мать с отцом.

— Обедал? — спросила мать. — Суп ел?

— Ел, — сказал Мишка. Суп он действительно ел.

— Ничего он не дурак, твой Лесников, — сказала мать отцу. — Помести он твой материал — его тут же взгреют, а зачем ему это? Он лучше будет тихо-мирно вести борьбу с грязью на улицах да хаять молодежные танцы…

— Правильно, — сказал отец. — Он не дурак, через три года его переведут куда-нибудь с повышением, а через пять лет придется возить воду для всего города за сто километров, а я буду страшно горд, что во-он еще когда об этом предупреждал… Просто обидно, когда на глазах газету превращают в семейный календарь пополам с миндальным сиропом…

А как бы хорошо было иметь маленьких человечков, думал Мишка. Строить им дома, а они ездили бы в заводных машинах, а еще можно было бы делать для них корабли и самолеты, и чтобы они еще воевали — понарошку, конечно. Он представил себе, как на ковре сходятся две армии. Только им надо будет наделать деревянных мечей, эти слишком острые…

А ведь еще весной кто-то говорил о маленьких человечках — будто видел их на тополях. Тогда пускали в луже у забора новую Димкину яхту и заговорили, что хорошо бы на нее экипаж — и вот тогда-то кто-то сказал, что видел человечков на тополе. Не поверили… то есть не то чтобы не поверили, а решили, что выдумывает для интереса. Кто же это говорил?..

— Я еще на улицу, — сказал Мишка. Меч он спрятал в ящик стола — не стоит брать с собой, потеряется. А фонарик…

— Только не допоздна, — сказала мать.

— Ладно, ма.

Не было смысла искать на деревьях, что ближе к дому. Если лезть, то на те, которые в глубине двора, у каменного двухэтажного сарая, где раньше держали дрова, а теперь, когда в дом провели отопление, — всякое барахло. Попробовать на этот? Сучья высоко… Мишка приволок от сарая доску, подставил к стволу — держится. Занозистая, черт… По доске он добрался до нижних сучьев, подтянулся и оказался на дереве. Дальше легче, дальше по сучьям — как по лестнице… Здесь был свой отдельный мир, зеленый, ажурный, воздушный. Отсюда, от ствола, тополь был совсем не такой, как снизу, с земли, снаружи… этого не объяснить, только был момент, когда Мишка почувствовал, что может не спускаться вниз, может остаться здесь, остаться и жить… Никого он, конечно, не нашел. Дупла были, и много, но узкие и глубокие, и, как Мишка ни заглядывал, как ни светил фонариком, так ничего и не увидел. Руку он тоже просунуть не смог, ход шел извилистый, и рука так не гнулась. Потом он увидел сквозь листья, как по галерее второго этажа сарая прошел Филька, за ним еще кто-то, потом еще — трудно было разобрать сверху, кто именно — а потом прошел Козел со стеклянной банкой в руках. Мишка, торопясь, стал спускаться. Козла он не любил и побаивался, но все равно…

В сарае было светло, горела электрическая лампочка на шнуре, и все стояли, окружив большую ржавую железную бочку, и смотрели в нее. Стараясь держаться незаметно, Мишка подошел к бочке и заглянул через край.

Лампочка висела прямо над бочкой, и весь свет падал в нее. На дне бочки был насыпан песок и набросаны камни и сучья. И на одном сучке, как на бревне, сидели, опираясь спинами о стенку бочки, два маленьких человечка. Два настоящих человечка, только с белку размером. Оба были одеты в синие штаны и черные куртки. У одного на голове была шляпа.

— А у лили-лилипутика ручки меньше лю-ти-ка! — пропел Филька. — Ловите! — он, перегнувшись через край, сронил с ладони под ноги человечков заточенную велосипедную спицу и выструганный из щепки меч. Человечки шевельнулись, но не встали со своих мест и голов не подняли.

— Не станут они сражаться, — сказал кто-то.

— Гордые, — презрительно сказал Козел. — Ну, мы вас расшевелим. Ап!

Он опрокинул свою банку над бочкой, и из банки на песок плашмя шлепнулась крыса! Человечки вскочили. Один быстро схватил спицу, ладонью проверил острие и взял ее наперевес, как пику. Второй взял меч. Рукоять меча была остругана скверно, пальцы ее не обхватывали.

Крыса шевельнулась, приподнялась, шмыгнула к стенке и там замерла. Усики ее шевелились.

— Два дня не кормил, — сказал Козел. — Как уехал, так и…

Прижимаясь боком к стенке, крыса двинулась по направлению к человечкам. Тот, что со спицей, сделал шаг вперед — так, чтобы прикрывать своего почти безоружного товарища. А тот, подняв меч над головой, закричал:

— Это же подделка! Люди вы или нелюди? Это же подделка!!!

— Убери крысу! — заорал Мишка и бросился на Козла. Что-то темное вдруг поднялось в нем, подкатило к горлу и глазам, и он уже не видел Козла, а только огромную ненавистную рожу, а под рожей — голубое пульсирующее горло, в которое нужно вцепиться и не отпускать… Он не достал Козла — тот поспешно отскочил назад и два раза ударил Мишку кулаком в губы. Мишка упал, но тут же вскочил, бросился — ему подставили подножку и стали пинать ногами. Он опять вскочил, повалил кого-то, кого-то отшвырнул, ухватился за край бочки, но повалить ее не смог, бочка устояла; Мишку оторвали от нее и пинками и кулаками выбили за дверь. Позвать, понял Мишка, кого-нибудь позвать! Отца!

— Зуб выбили! — закричала мать, увидев Мишку такого — в грязи и крови. — Никаких больше улиц!

Мишка молча пробежал мимо нее в комнату. Отец сидел за столом и печатал на машинке.

— Папка, пойдем скорее, — заговорил Мишка быстро, глотая слова, — папка, она их загрызет, скорей пойдем. У них мечи поотобрали, понимаешь, и дали деревянный…

— Миша, ты видишь — я работаю, — сказал отец. — Мы же договаривались. И вообще — с кем это ты дрался?

— Папка, это неважно, ну скорей, их еще можно спасти!

— Кого — их?

— Маленьких человечков!

Отец, уже начавший было подниматься со стула, снова сел.

— Сын, ты бредишь. Ну, подумай сам, ты же большой — какие могут быть маленькие человечки?

— Настоящие человечки, только маленькие, а они пустили к ним крысу, а меч у меня в столе лежит, ты понимаешь?

— Скажи лучше, кто тебе так губу разбил? Дай-ка посмотрю…

— Папка! Поздно будет, не успеем!

Мишка бросился в свою комнату, схватил меч и вернулся.

— Вот, видишь? Они у них отобрали, им теперь нечем сражаться, пойдем скорее!

— А этот ножик у тебя откуда? Дай-ка сюда. И вообще — ни я никуда не пойду, ни ты никуда не пойдешь. Все.

То же самое темное взметнулось в Мишке.

— Проклятые! — закричал он и кинулся к двери. — Проклятые!!!

Но в дверях стояла мать.

— Кого это ты проклятыми честишь?

— Пусти!!! — простонал Мишка.

— Ах, ты… На мать с кулаками! Мерзавец маленький! А ну!..

Совсем без сил лежал Мишка в постели. Плакать он больше не мог — выплакал все. Саднили разбитые губы, во рту все еще было солоно от крови. Саднила порезанная ладонь. Но меч он им не отдал. Меч лежал под подушкой. Из-за двери доносилось бубнение диктора программы «Время». Потом мать сказала:

— Господи, что же это в мире творится. Вот ведь ни газет читать не хочется, ни телевизор смотреть. Страшно-то как, Володя… Так и хочется на необитаемый остров. Чего людям не живется, чего им надо?

Мишка лежал и думал. Чего людям надо? Много всего надо, а главное — чтобы не отбирали настоящие мечи и не давали взамен щепки, да еще накануне сражения… Тьма обступала его со всех сторон. Мишка повернулся на бок, сунул руку под подушку, нащупал меч. Ему показалось, что рукоять меча растет, становится как настоящая, вот ее можно обхватить как следует… «Спи, мальчик», — обещающе сказала темнота. Таким же тоном говорит Козел: «Иди сюда. Иди, иди…»

Спи, мальчик.

**НИКА, ИЛИ АННАБЕЛЬ**

— А вы, Берт? — повернулась к нему Аннабель.

Берт помедлил. Тронул щипцами дрова в камине, положил поверх догорающих еще две чурочки. Отсвет огня странным образом смягчал его черты.

— Не знаю, принцесса… Я согласен с генералом — пройти прямым путем будет немыслимо трудно. Невозможно. Но уходить в изнаночный мир… Наверное, это правильно. Но мне просто не хочется.

— Понятно… Вашего мнения, Бернард, я не спрашиваю, вы вряд ли знаете, о чем идет речь. Я права?

— Да, ваше высочество.

— Но вы, может быть, лучше нас знаете: сможем ли мы пройти к столице дорогами? Переодевшись, прикинувшись, с нужными документами, еще как-нибудь?

— Я не знаю такого способа, — медленно сказал улан. — После сегодняшнего столкновения будут поставлены на ноги все гарнизоны, все пароли и пропуска изменятся, задерживать будут по малейшему подозрению… а выдавать себя за гернотов мы не сможем.

— Это так, ваше высочество, — подтвердил генерал. — О том же говорил и Дракон, вы помните: путь по дорогам будет возможен только в том случае, если мы незаметно пройдем приграничную полосу. И даже при этом требовались всяческие ухищрения. А мы переполошили осиный рой…

— Я подозреваю, что нас подталкивают именно к такому решению, — сказала Аннабель. — Слишком уж подчеркнуто нас оставили в покое…

— И об этом говорил Дракон, — сказал Берт. — Он говорил: прислушивайтесь к предчувствиям и никогда не идите против них.

— Я думаю, — сказал улан, — нам нужно перестать обсуждать планы вслух.

Все посмотрели на него.

— Последнее время герноты научились ставить себе на службу зверей и птиц. В основном для шпионажа. Мне послышался шорох…

— Ветер, — неуверенно сказала Аннабель.

— Все равно. Давайте помолчим и послушаем.

— А разве их прислужники могут входить в Эпенгахен?

— Не знаю. Я не знаю даже, как сами герноты: не могут сюда входить или просто не хотят.

Будто похолодало внезапно. Будто потускнел свет огня и плотнее стала темнота за окнами. Рука, ища успокоения, легла на рукоять меча. И в наступившей тишине обнаружились тихие скребущие звуки, приходящие сверху.

— Нет! — Аннабель остановила вскочившего на ноги генерала. — Сделаем иначе…

Они вышли из приграничной полосы, и можно было применять те методы, которые в приграничье могли их выдать или погубить. Аннабель открыла ранец и на секунду задумалась. Потом взяла кисет и трубку. Генерал понял ее замысел и, пока она набивала трубку, достал из камина уголек.

Пряно-горький осенний дым, воскрешающий забытые сны… Аннабель подержала его в легких, во рту — и выпустила, особым образом сложив губы. Села, как предписывалось: сведя стопы и предплечья и касаясь век подушечками пальцев. Несколько секунд — несколько ударов сердца — прошло в темноте; потом возник зеленоватый свет.

Сначала это было просто пятно, разгорающееся где-то позади глаз; потом в пятне появились другие пятна, темные и светлые, а потом как-то сразу она увидела саму себя, сидящую на полу перед камином в нелепой позе, своих спутников, напряженно-неподвижных, опасно блестящее оружие и небрежно сваленные в кучу седла и седельные сумки. Она видела это сверху, с высоты больше своего роста. Потом легко повернулась и поплыла к широкой лестнице, ведущей на второй этаж.

Двусветная зала второго этажа, захламленная, заваленная сухими листьями, была пуста. Аннабель прислушалась. Звук доносился от окна. Вот от этого, справа, высокого, стрельчатого, с еще сохранившимися кое-где осколками стекол в переплете…

С той стороны колеблемая ветром ветка цепляла железный козырек карниза.

Аннабель усмехнулась и открыла глаза. Но в последний миг еще тем, «зеленым» зрением она увидела за окном…

— Лошади!

Как подхваченные ветром, мужчины вылетели из дома. Аннабель двигалась медленнее — первые шаги были неуверенными, ноги подгибались. Потом это прошло.

Впрочем, торопиться уже было некуда. Две лошади лежали, две еще стояли, качаясь. Казалось, что они покрыты мохнатым шевелящимся мехом.

— Что это? — прошептал генерал.

— Лишайник Парнаум, — шепотом же ответил улан.

— Он что, жрет лошадей?

— Он не жрет… но мы теперь их не скоро разбудим. Он усыпляет — на много дней. Да и проснутся — немного толка от них будет. Что от лошадей, что от людей — никакого толка.

— Он и с людьми так может?

— Вы что, никогда с этим не встречались, генерал?

— Н-нет.

— Целые города отдают Парнауму. После этого люди становятся счастливыми.

— Так вот как это делается…

— Если бы только так…

— Вернемся, господа, — сказала Аннабель. — Бернард, к нам эта дрянь не подберется?

— Не знаю. Я не знаю его повадок. Говорят разное…

— И все же: отбиться от него можно? Или хотя бы убежать?

— Не знаю, ваше высочество. Я не имел с ним дела.

— Вы сказали: говорят разное. Что именно?

— Позвольте подумать, ваше высочество.

Сели к огню, косясь на окна и двери. Нам не оставили дороги, подумала Аннабель. И все же: нас ловят всерьез или загоняют в изнаночный мир? Почему, интересно, мне так не хочется уходить туда именно из этого леса? И почему именно в этот лес мы ушли после того, как обнаружили себя? Что из этого истинное побуждение, а что — внушено извне?

Нас влекло в Эпенгахен конкретное знание: герноты избегают этого места. А препятствует уйти отсюда ничем не подкрепленное чувство… даже не опасности… а чего? Непонятно… Предчувствие чего-то нежелательного там, в изнаночном мире? Но даже Дракон не знает, какова изнанка Эпенгахена. Единому целому здесь соответствует единое целое там. Стоп. Может быть, то, что отгоняет отсюда гернотов, действует и на нас — неопределенно-угнетающе; а мы принимаем это за дурные предчувствия? А ведь, пожалуй…

— Ваше высочество, кое-что я вспомнил, — сказал улан.

— Да, Бернард?

— Те, кто обращается с Парнаумом, одеваются в белое. Кроме того, им запрещено пить вино и есть обычную пищу. Парнаум всегда окружает жертву…

— Спасибо, Бернард. Я уже приняла решение. Господа, возьмите вещи. Будьте наготове. Когда я найду вход, не медлите…

Вход нашелся не сразу. Воздух уже наполнялся странным запахом истлевших цветов, когда Аннабель ощутила в тени, отброшенной повисшей на одной петле створкой двери, звонкую барабанную пустоту. Она остановилась и стала всматриваться в стену там, где ее покрывала тень. Вощеная деревянная панель без щелей… узор линий, светлых и темных, сходящихся и расходящихся… Она смотрела так, как учил Дракон — чтобы перестать видеть внешнюю форму. Предметов не существует, говорил Дракон, мы их выдумываем и называем, это как слова на белой бумаге, набор бессмысленных закорючек, чем больше слов, тем меньше чистого места, и все равно — учись видеть бумагу, находить свободные места и писать там то, что нужно тебе… Вдруг оказалось, что темная, теневая часть панели расположена глубже, чем та, на которую падает свет, и что между ними есть промежуток, достаточный, чтобы пройти человеку. Идем, сказала Аннабель и шагнула первой; теперь проход будет открыт для любого, даже для того, кто его не видит — недолго, несколько минут… Она не оглядывалась, но слышала, как идут за ней.

По другую сторону прохода было абсолютно темно и пахло гарью. Аннабель остановилась. В спину ей ткнулся Берт. Простите… Тише, Берт, как остальные? Вот они, оба… Как темно… Аннабель сняла с шеи «кошачий глаз» и затянула вокруг лба. Берт и генерал делали то же самое. Улана придется вести за руку… знать бы, куда…

Знать бы, куда это мы угодили!

Постепенно проступая из тьмы, как на брошенной в проявитель бумаге, возник узкий и низкий извилистый ход. Аннабель ждала. Наконец, картина стала достаточно четкой. Ход, проделанный — в чем? под пальцами грубо обтесанное дерево — в непонятном массиве, вел, изгибаясь местами под прямым углом то вправо, то влево, к какой-то обширной полости, пустоте. В обратном же направлении он разветвлялся на несколько ходов, пересекался и сливался с другими ходами и, таким образом, вливался в многоуровневый лабиринт, выходящий далеко за пределы восприятия. Лабиринт потом, подумала Аннабель, посмотрим сначала, что там за пещера… Ей вспомнился вдруг дневной сон.

Как же давно это было…

Шагов за двадцать, за два поворота до пещеры Аннабель почувствовала ветерок на лице и почему-то только теперь подумала, что впереди может оказаться не пещера, а наоборот — открытое пространство. Открытое пространство изнаночного мира. Мира, о котором ничего не знает даже Дракон…

К запаху гари, только усилившемуся, ветерок добавил знакомый и родной запах бензина. Значит, это точно не Альбаст — место, где перестала гореть нефть и порох только тлеет.

Выход предстал округлым пятном с неясными бликами. Зрение и не-зрение боролись между собой, пока не пришли к согласию: Аннабель смотрела на растущее почти горизонтально дерево с огромными, в рост человека, листьями, подсвеченными откуда-то снизу. Дерево начиналось от ее ноги и уходило, как мост, в темноту. Аннабель почувствовала вдруг головокружение; замерло сердце.

Подошли и остановились остальные. Берт судорожно вздохнул.

— Что? — спросила Аннабель.

— Не знаю… ничего…

Голова продолжала кружиться.

— Держи меня за пояс, Берт, — сказала Аннабель и шагнула вперед. Безумная картина открылась ей.

Она стояла, упершись руками в края, в дупле исполинского дерева. Неподвижные голые ветви толщиной в руку и сучья, как платаны Эпенгахена… Видимый сквозь крону, горел огромный уродливый дом. В нем было больше трехсот футов высоты, но темные прямоугольные окна шли лишь в три яруса. Пламя рвалось из окон первого яруса, и было ясно, что вот-вот дом заполыхает весь. Никто не собирался его тушить. Аннабель посмотрела вниз. До земли было футов двести.

— Кажется, пришли, — сказала Аннабель, отступая назад. Потом ноги ее подогнулись, и она села, откинувшись на плавно переходящую в пол стену. Пламя разгоралось все ярче.

Утром генерал и улан отправились на разведку в лабиринт. Наверняка должен быть и другой выход, сказал генерал, а вы пока отдохните, ваше высочество… Нога Берта болела, опухоль держалась, но ходил он, почти не хромая. Аннабель еще раз полечила его руками, втайне удивляясь своим новым умениям. Она чувствовала, как идет в кости трещина, и точно знала, что нужно сделать. Ладони и кончики пальцев пощипывало. Берт стеснялся и поначалу даже отказывался, уверяя, что и без лечения все пройдет. Аннабель завершила сеанс, расслабилась, позволяя чужой боли, скопившейся в руках, вытечь в пространство, и мысленно поблагодарила оставшегося в горной пещере Ю и через него — Дракона… Внезапно пришел ответ: отголосок далекой и теплой волны. Дракон помнил о них и поддерживал — даже здесь, в этом неизвестном ему самому мире.

Дом не сгорел: толстенные стены из неизвестного грязно-розового камня выдержали напор огня. Выгорела, похоже, лишь одна вертикальная секция. Камень над черными провалами окон закоптился, крыша из серого волнистого материала, похожего на бетон, прогнулась; над местом пожара зияла дыра, огромная, как вулканический кратер. Из дыры продолжал валить дым.

Боже милосердный, вдруг с ужасом подумала Аннабель, зачем я здесь?

Жила в пятикомнатном люксе с садиком в лоджии и маленьким фонтаном в гостиной, гоняла на прекрасных машинах и понимала в них толк так, как и не снилось многим мужчинам, считающим себя спортсменами и механиками. Не гнушалась расписывать машины рекламами богатых фирм и носить рекламные майки и кепочки — это составляло львиную долю приходной части бюджета «самого маленького государства Конкордиума», «Альбаста-в-изгнании», «односпального королевства» — так изощрялись журналисты. На булавки хватало, не так ли? И вообще — хочу ли я власти?

По-моему, нет.

Но вот — сорвалась и куда-то несусь, кружась, размахивая мечом, шепча заклинания, вызывая к жизни неизвестные мне самой силы… как девчонка, которой показали, как крутить руль и на какие педали нажимать, и сказали — а теперь через Африку, бензина хватит! И девчонка, высунув от усердия язык, рулит по пустыне…

Стоп. Хватит скулить. Время для скулежа было — и вполне достаточное. Потом, за мемуарами, поскулим еще раз. Не сейчас.

По ту сторону задымленной крыши были видны вершины таких же гигантских деревьев. Правее темнела каменная стена, похожая на крепостную, а за ней — островерхая крыша из такого же материала, как и у прогоревшего дома. Еще правее все закрывали кроны деревьев, деревьев было много, и все они казались ненастоящими — слишком большие и слишком неподвижные. И только совсем направо, в узком просвете между стволом их собственного дерева и кроной соседнего, видны были далекие горы и кусочек неба: будто припорошенный стеклянной пудрой. Страна великанов, подумала Аннабель, возвращаясь взглядом к горелому дому. Страна великанов — прямо с картин Рафаила Тойта…

— Как нога, Берт? — спросила она, чтобы ни о чем не думать.

— Все прошло, — Берт пожал плечами. — Будто ничего и не было.

— Была трещина, — сказала Аннабель.

— Я знаю.

— Трещина в кости — затянулась за сутки.

— Мне это тоже не нравится.

— Не нравится?

— Понимаешь ли… Даже не знаю, с чего… Я иногда не узнаю своего тела. Не то чтобы по-настоящему, но какие-то мелочи меня смущают. Я понимаю: подготовка у Дракона, его воздействие — это на многое влияет. И все равно… На этот счет можно зачислить приобретения, а не утраты. А я чувствую, что исчезли некоторые навыки… тело перестало что-то помнить, руки… Все — мелочи, но почему-то неуютно. А ты?

— Не замечала, — покачала головой Аннабель. — Исчезновений не замечала. А что неуютно — согласна.

— И еще. Я понимаю — все та же подготовка… но мы как-то уж слишком ко всему готовы. Будто уже однажды проходили эту дистанцию и теперь просто вспоминаем и делаем лучше.

— Думаешь, лучше?

— Думаю.

— А что из этого следует — тоже думаешь?

— Тоже.

— Ну, и?..

— Что мы уже действительно проходили эту дистанцию. Где-то сделали неверный ход… Драконьи штучки.

— Знаешь, Берт, на таких условиях я готова играть в любые игры. Страховка от проигрыша — чем плохо?

— Не знаю… А где мы — те?

— Которые не дошли?

— Да. Которые не дошли.

— А это важно?

— Для меня — да. Ты не поверишь, но судьба моей бессмертной души мне не безразлична.

— Душа-то пока с тобой.

— А душа того Берта, который не дошел?

— Того, может, и не было совсем.

— Ну, а если был? И не один?

Аннабель помолчала.

— Все равно — твоя душа с тобой. А, раз ты помнишь — пусть смутно — что-то из предыдущих этапов, значит, и их души слились с твоей…

— Не помню ничего, в том-то и дело. Если бы помнил… Боюсь, что все гораздо хуже. Что мы — настоящие — не дошли, и тогда Дракон изготовил гомункулюсов…

— Бред, — неуверенно сказала Аннабель.

— Почему? Что противоречит этому утверждению? То, что мы ощущаем себя — собой? Не довод. То, что у нас наша память — тем более не довод. А вот то, что я перестал различать на ощупь аверс и реверс монет — это уже довод. Мы скопированы не абсолютно, а с маленькими допусками. И запах. Я чувствую, что у меня изменился запах.

— Но Дракон говорил, что изменит наши запахи.

— Он говорил — не изменит, а уничтожит. Что мы перестанем пахнуть вообще. И что же? Пахнем. Но не так, как раньше.

— Я тоже?

— Я не знаю, как ты пахла раньше, — очень серьезно сказал Берт. — Все перебивала смесь «Ангелика» с машинным маслом… — и рассмеялся, стервец.

— Наши возвращаются, — сказала Аннабель. — Скотина ты, Берт — я так старалась не думать обо всем этом…

— Значит, думала?

— Думала.

— Это бесполезно — не думать. Все равно прорежется…

Генерал и улан вернулись, не найдя пути вниз. Возможно, он и был, этот путь, но в самом нижнем из достигнутых ими залов лабиринта — именно залов, округлом помещении размером с дворцовую приемную — в этом зале пол был завален толстым слоем костей, человеческих и звериных вперемешку, и найти под этим слоем ход вниз было невозможно. Аннабель вдруг поняла, что именно являет собой, чему соответствует в том, неизнаночном мире этот заваленный костями зал, и понимание держалось в ней какую-то долю секунды — а потом исчезло. Но вот в зале уровнем выше нашли кое-что — и улан, улыбаясь, предъявил бухту толстого черного шнура. Очень крепкий шнур. Спокойно выдерживает двоих.

— Отлично, — сказала Аннабель. — Предлагаю поесть — и двигаться.

— Днем? — спросил генерал.

— Думаю, начать можно днем. Это изнаночный мир. Сила гернотов сюда не распространяется.

Генерал с сомнением пожал плечами, но промолчал.

— По крайней мере, они здесь не хозяева. А нам следует торопиться.

— Если сила Ю проникает сюда, то почему сила гернотов не может проникнуть? — ни к кому не обращаясь, спросил Берт. — Вполне возможно, что герноты имеют здесь своих агентов. К этому надо быть готовым.

— От агентов мы закроемся, — сказала Аннабель. — А сами герноты, может быть, сюда не вхожи.

— Будем надеяться, — сказал Берт.

Спуск прошел на удивление гладко и спокойно. Даже ощущение опасной пустоты было каким-то неподлинным. Лишь боль в обожженном шнуром плече подтверждала: все было на самом деле. Первым спустился Берт, за ним Аннабель, потом улан. Последним шел генерал. Он встал на землю — и в ту же секунду шнур, извиваясь, стал падать. Оказывается, генерал рискнул: подсунул под петлю пучок щепы и поджег. Огонь добрался до шнура как раз вовремя. Генерал невозмутимо сматывал шнур в бухту, а Аннабель отчитывала его за ненужный мальчишеский риск.

Трава под деревом могла скрыть всадника. Но была она редка и на удивление грязна. Пахло пылью и дымом. Валялись под ногами клочья грубой шерсти и изломанные огромные перья птицы. Чуть в стороне белела голая кость — слона или бегемота.

Теперь надо было понять, в какую сторону идти. Похоже, что лес Эпенгахен соответствовал вот этим деревьям-гигантам. Тогда выгоревший дом неподалеку — это город Ямм, опустевший при гернотах. Дорога к столице лежала бы через него или в обход его, но не все в обычном и изнаночном мире совпадает буквально, особенно в местоположении.

Пожалуй, столице соответствовал бы городской центр, какое-то центральное здание. Как начальный ориентир — сойдет. Будем искать городской центр, а дальше подскажет чутье.

Закрывшись от сторонних взглядов, двинулись вперед. Через сотню шагов трава кончилась, отряд вышел на открытое место. Под ногами была серая комковатая земля, впереди — дощатый забор футов тридцати высотой, плавно изгибающийся слева в сторону дома. Забор был выкрашен грубой красной краской. Полустертыми белыми буквами значилось: «ДИНАМО». Это же «Динамиум», подумала Аннабель, старинное ристалище… да, оно где-то неподалеку от Ямма, разве что не лежит на прямой, соединяющей курорт Эпенгахен и Ямм… но и мы не пойдем через то, что обнесено забором, а обогнем…

Дом находился дальше, чем это казалось на первый взгляд, и был, соответственно, больше размером. Путь к нему занял почти полчаса. Берт и Аннабель шли впереди, генерал и улан — сзади. До Аннабель доносились обрывки их разговоров. Генерал расспрашивал, улан отвечал. Что-то об отнятом имении и погубленных сервах, о сестрах, содержащих придорожную гостиницу, о жене, умершей родами… Что только не попадалось под ноги: ржавое железо, битое стекло, куски дерева…

— Смотрите, — показал Берт. Аннабель остановилась. Подошли генерал с уланом. Посмотреть было на что.

Припорошенная пылью, на земле лежала белая монета. Диаметром больше фута. Угадывалось число «10». Берт присел на корточки, чтобы протереть поверхность…

— Не трогай! — выдохнула Аннабель.

Берт вздрогнул и отдернул руку.

— Почему?

— Она с чем-то сцеплена. Это изнанка…

— Чего?

— Не знаю… Забыла. Но я успела уловить…

— Понятно. Уходим. Жаль, кое-что можно было узнать…

— Понятно уже хотя бы то, что у этих ребят очень большие кошельки, — сказал генерал.

Вряд ли это была замечательно остроумная шутка, но всем захотелось смеяться. Сдерживаться никто не стал.

Это напоминало смех от щекотки.

Закат, жуткий, кровавый закат, такой, что в мире не осталось других красок, кроме красной и черной, застал их в конце подъема на крутой глинистый косогор над мутной захламленной речкой. Над головой нависали древоподобные травы, от них стекал вниз горько-пыльный запах пополам с далеким стоялым дымом. Из-под ног сыпались с мягким шорохом комочки глины. Дышалось тяжело.

Непонятно было, откуда берутся силы.

Или напротив — слишком понятно…

На краю обрыва Аннабель выпрямилась и оглянулась. Но уже не понять было, как они шли.

Все искажалось за спиной, и ничего нельзя было узнать, миновав.

Генерал шел первым, и когда он резко остановился, Аннабель ткнулась в его спину — как в неколебимую скалу. Пряжка ее перевязи высекла из ножен генеральского меча резкий стальной звук.

Ей не сразу открылось то, что остановило генерала. Глаз не мог охватить, разум — принять…

В десяти шагах перед нею лежал мертвый великан.

Подошли Берт и улан и встали рядом.

Поваленная и втоптанная в землю трава была обильно запятнана кровью. Кровь была почти черной.

Почему-то стало пусто в груди. Потом Аннабель почувствовала, как волосы на голове встают дыбом.

Чужое, враждебное, опасное присутствие опускалось и обволакивало, облепляло…

У трупа не было головы. Только сейчас это бросилось в глаза.

Генерал обнажил меч. Спрячьте железо, сказала Аннабель, здесь это не поможет… готовьтесь упасть по моему слову.

Скользящий темный блеск — слева и впереди. Аннабель, чуть присев, вытянула перед собой руки, сведя ладони щитом. Знакомая пульсация началась у локтей и через несколько мгновений наполнила, распирая, предплечья. То, блестящее, шевельнулось и приподнялось из-за трупа. Зловоние, ощущаемое не носом, а всем лицом, всей кожей, потекло навстречу. Аннабель с трудом удержалась от лишних движений. Потом над блестящим взлетели вверх две мохнатые лапы с крючками на концах, с силой опустились на мертвеца — тело дернулось — и в следующую секунду огромный паук уже сидел на груди трупа. Блестящая, как офицерский сапог, головогрудь со страшными жвалами переходила в поросшее длинной щетиной брюхо; мощные лапы нервно переступали. Он был размером со слона.

— Падайте! — беззвучно — перехватило горло — выдохнула Аннабель, но ее поняли: генерал рухнул ничком и откатился, и, как кегли, в разные стороны упали Берт и улан. Аннабель чуть согнула пальцы — и белая молния, сорвавшись с ее ладоней, врезалась в паука. Он подпрыгнул, раскрываясь, как будто его выворачивали наизнанку, и тут же весь исчез в дымном красноватом пламени. Горящие ошметки падали на землю. Тот, прежний смрад исчез, сменившись вонью горелой шерсти. Руки онемели, Аннабель их не чувствовала. На всякий случай она еще постояла в боевой позе, но угрозы уже не было.

— Моя королева… — хрипло сказал поднявшийся на ноги улан; выражение лица его было почти молитвенным. — Сами боги… сами боги ведут тебя… несут тебя… — он закашлялся.

— Отлично, дочка, — сказал генерал и обнял ее за плечо.

Аннабель посмотрела на Берта. Берт сосредоточенно поправлял перевязь праворучного меча.

**МИКК**

До Кипроса он так и не дозвонился. Телефон был то занят, то гнал длинные гудки. Тогда Микк набрал номер аварийной.

— Уважаемый клиент! — сказал подобострастный голос. — К сожалению, вы позвонили именно в тот момент, когда все сотрудники находятся на линиях. Будьте любезны, сообщите о ваших затруднениях, и через некоторое время мы их устраним. Большое спасибо. После сигнала начнется запись…

Микк швырнул трубку. Это мы уже проходили…

Ноэля тоже не было на месте, но там, по крайней мере, отвечал живой человек. С обеда в бункере, и когда выйдет — не знает никто. Передать что-нибудь? Как, еще раз? Саджиттарио? А номер он знает? Ладно, скажем. Не я, так кто-нибудь другой…

Вот и останов обозначился. Источники информации временно блокированы. Идти раскапывать этот чертов корень рано, следует, по крайней мере, дождаться темноты. То есть часов пять надо замотать.

Можно сделать что? Скажем, проглотить чего-нибудь расслабляющего и прилечь. Но есть риск надолго выбить себя из колеи. Слишком большой накопился недосып, и стоит дать организму поблажку… Отложим. Можно сходить в кино. Или еще куда-нибудь… Микк прислушался к себе. Ни малейшего энтузиазма. Можно пойти в бар и надраться. Так… отклик есть, но слабый. Кроме того, вечером надо быть в хорошей форме. Снять девочку? М-м… уже теплее. Так, где-то был каталог… Микк зашарил в кипе старых журналов в поисках «Ню», как вдруг взгляд его упал на последнюю страницу «Всеобщего приключения». Упершись ногой в борт лодки, девушка с оранжевыми волосами волокла из воды огромную полосатую рыбину. Удилище согнулось дугой. Вот что мне надо, подумал он. Ха! Полчаса туда, полчаса обратно — четыре часа там! И пять минут на сборы, потому что на самом деле никаких сборов не требуется…

«Черное озеро», рыболовецкий заказник, принадлежал клубу «Одиннадцать имен», почетным привилегированным членом которого Микк стал в позапрошлом году после блестящего расследования истории с двойным похищением дочери председателя клуба. В клубе он значился рыцарем меча и носил клубное имя Аскольд.

Стоянка была забита, и Микк поставил машину под окнами красно-кирпичного с башенками здания конторы. Наверное, это был непорядок, потому что администратор с недовольным видом вышел из конторы — но, узнав Микка, ничего плохого не сказал, наоборот: раскланялся и поинтересовался подробностями столь далекого путешествия. Микк ответил в такт и, в свою очередь, расспросил насчет погоды и клева. Администратор — по имени Виллард, вспомнил Микк — сказал, что клев сегодня оживился, несколько дней вообще было мертво, но все равно: так себе. Слишком прогрелась вода. Имеет смысл поудить с лодки на глубоких местах. Спасибо, Виллард, сказал Микк.

Выбрав снасть и наживку, Микк спустился к причалу. На маслянисто блестящей воде застыли три серо-коричневых лодочки. Два десятка таких лодочек с торчащими над бортами половинками тел разбрелись по озеру, напоминая купающихся кентавров. Микк забрался в ближайшую к нему, проверил заряд аккумулятора, снял веревочную петлю с кнехта, рукой оттолкнулся от причала, потом подал чуть вперед рычаг управления мотором и положил руль круто влево. Лодочки эти, специально предназначенные для спокойных озерных вод, были тихоходны, зато абсолютно бесшумны. Микк описал циркуляцию вокруг причала, нацелил нос лодки на радиомачту, стоящую позади рыбного питомника и взял спиннинг. Лодка шла со скоростью нормального гребного хода. Микк опустил легкую серебристую блесну за борт и стал травить леску.

Озеро имело километра три в длину и метров семьсот в ширину. В сущности, это было не озеро, а пруд, образовавшийся после того, как оползень перегородил долину маленькой речки, правого притока Лайвы. Случилось это лет шестьдесят назад, а в конце семидесятых, накануне кризиса, уездные власти затеяли стоить дорогу от города к озеру и оборудовать здесь пляжи — ну и, понятно, забросили. И вот недавно «Одиннадцать имен» купил треть береговой черты и построил рыбопитомник и два десятка легких домиков для членов клуба…

Все это было мило и неимоверно скучно.

Предложи другое, сам себе возразил Микк.

В том-то и дело, что предложить нечего…

Господи, что с нами случилось? Как мы, энергичные, сильные, решительные — превратились в сонных мух, в тюфяки, в говно, плывущее по течению? Откуда эта постоянная усталость — травят нас, что ли, понемногу? Или жара так влияет? Ни ходить, ни думать… мозги — липкие… Противно.

Плещемся в лужах, живем между заборами…

И изо дня в день — одно и то же. Бессмысленно и беспросветно.

Берег был уже близко, Микк выбрал леску, развернулся и вновь опустил блесну за борт. Леска медленной спиралью соскальзывала с катушки. Он выпустил метров сорок, поставил катушку на тормоз и повел лодку к плотине, к самым глубоким местам.

Сейчас туда, потом обратно, потом к причалу, выпьем пива… Он ни разу не видел, чтобы кто-то из рыбаков хотя бы шевельнулся в своих корытцах. Пустой день, подумал Микк. Один из бесчисленных пустых дней.

Путь к плотине занял почти полчаса, и это было так же успокоительно, как если был он принимал теплую ванну. Под днищем лодочки журчала вода. Встречный воздух мог сойти за ветерок. Что-то расправлялось внутри, безнадежно, казалось, смятое.

Просто устал. Просто глухие дела, безуспешные поиски. Просто дурные предчувствия. Просто пауза во всем.

Плотина, укрепленная по гребню от размыва, выделялась резко: серый брус, вколоченный между зелеными холмами. Справа сверкающей кварцевой плоскостью уходил в небо срез: ложе оползня. Однажды пацанами они с Кипросом и Ноэлем забрались туда и заночевали у костра под звездами. Говорили, что по кварцевой плеши бродят тени умерших. Теней они не видели, но страх откуда-то пришел — древний, мутный, бесформенный. Непонятно как дожили до утра и потом долго не могли видеть друг друга.

Микк, сматывая снасть перед разворотом, не заметил впереди ковра плавучих водорослей. Лодка с шорохом вошла в него, водоросли намотались на винт. Мотор, доселе неслышный, загудел. Микк выключил ток. Приключение, подумал он.

Положив спиннинг поперек кокпита, Микк развернулся на своем крутящемся креслице лицом к корме, встал коленями на решетку и перегнулся через транец. Корма затонула, вода едва не залилась в лодочку. Хуже — та вода, что скопилась под решеткой, устремилась на корму, и брюки тут же промокли. Плевать…

Волны, поднятые лодкой, ушли далеко, и вода вновь стала маслянисто-гладкой. Глаза не сразу приспособились видеть сквозь ее поверхность. Глубина здесь была, наверное, огромная. Водоросли напоминали проволочную путанку: волокнистые стебли толщиной с карандаш без начала и конца, редкие продолговатые листики свекольного цвета. Их было много. Они уходили в глубину и там терялись. Какие-то саргассы, неуверенно подумал Микк. Он огляделся по сторонам. Никого не было поблизости.

Почему-то не хотелось касаться этой воды. Преодолевая сопротивление организма, Микк все-таки опустил руку в воду, нащупал винт и стал снимать с него петли неподатливо-жестких стеблей. Нож надо иметь, нож… От движений лодка раскачивалась, под мелкими волнами ничего не было видно. Наконец, винт освободился. В этот момент Микк почувствовал осторожное мягкое прикосновение к запястью. Он отдернул руку раньше, чем что-то осознал, и это его спасло: только миг он чувствовал на руке стальное кольцо, потом оно разошлось, разрывая кожу, и отпустило его; что-то тяжелое чуть приподнялось над водой и ушло вниз, закрутив воронку водоворота.

Микк как бы раздвоился: одной — большей — частью он ушел в панику, в ужасе разглядывая клочья кожи, свисающие с запястья и тыльной части кисти, на изрезанные, будто бритвой, пальцы, на вытекающую кровь, ждал прихода боли — боли почему-то не было — и беззвучно вопил от пещерного ужаса; но другая его часть очень трезво, не трогая управления, вставила в уключины крошечные ублюдочные весла и заставила тело грести, выводя лодочку кормой вперед по пробитому уже коридору. В пятнадцать гребков он выбрался на чистую воду и на всякий случай сделал еще пятнадцать. Позади кто-то шумно плеснулся. Микк развернулся, подал на мотор ток, послушал, как работает — мотор работал нормально — и, не оглядываясь, повел лодку к зеленому берегу, пристально вглядываясь в воду впереди. Только на берегу, когда ноги коснулись твердой земли, дрожь настигла его.

Не позволяя себе упасть, Микк стянул через голову рубашку, обмотал кровоточащую руку — странная анестезия прошла, боль была огненной — и быстро пошел, сбиваясь на бег, в сторону клубного анклавчика. И понял, что не дойдет пешком.

Кокпит лодки походил на маленький приоткрытый рот, а тело воды — на тело зверя. И все-таки Микк загнал себя в лодку и повел ее, обливаясь потом, борясь с тошнотой и дрожью, к причалу. Каждую секунду он ждал смерти. Унизительной смерти мягкой беспомощной твари. Вода струилась под килем, издавая причмокивающие звуки.

Постепенно испуг проходил. На половине пути Микк уже мог позволить себе вернуться мыслями к происшествию. А что, собственно, такого страшного? Водоросли, которые режутся, как осока… рука запуталась… Перепугал сам себя… Он знал, что это неправда.

Потому что было что-то еще, что он заметил, но то ли не понял, то ли пропустил между пальцев… между пальцев? Почему между пальцев? Он поднес перемотанную пятнистой тряпкой руку к лицу и уставился на нее. Лодка еле ползла. Нет, потом, все потом… Не могу. Просто не могу.

Но где же люди?!

Озеро было пусто, и у причала не было лодок. Никто не ходил по пляжу и не удил с мола. Неужели за этот час — да нет, меньше часа! — все уехали? Почему? Его вдруг обдало холодом: война!

Чушь собачья… С кем?

А вдруг то, что случилось со мной — случилось со всеми? В один миг…

Чудовище всплыло из глубин…

Он резко повернул к берегу. Здесь уже начинался белый песчаный пляж.

За спиной забурлила вода. Казалось, что-то огромное то всплывает, то погружается вновь. Микк не в силах был оглянуться. Берег приближался страшно медленно. Почти не приближался. Вода бурлила все сильнее.

Ну же! Он приподнялся, и в этот момент лодка ткнулась носом в песок. До берега было еще метров десять. От толчка Микк повалился вперед и оперся на раненую руку. Боль взорвалась магнием.

Он был на берегу — мокрый по шею. Несколько секунд куда-то исчезли. Лодочка, освобожденная от его веса, плыла, покачиваясь, по кругу. На носу ее крутился черно-красный колпачок звукопеленгатора. Теперь, если крикнуть, лодка приплывет на звук. Но меньше всего хотелось кричать…

Песок был неистово белый и ровный, как стекло. Нога в него почти не погружалась. Ничьих следов не нес он.

Лодка продолжала ходить по кругу. Вода была гладкой и матовой.

Слепящее солнце висело над правым плечом.

Такой тишины Микк никогда не слышал.

Потом он нарушил ее.

Воздух со стоном вырывался из горла, и сердце колотилось о грудину, как боксерский кулак. Песок хрипел при каждом шаге. Непонятный звон наполнял воздух. Свет с воем врывался в глаза и набивался в череп. Приближались, подрагивая, домики…

Потом Микк остановился, перевел дыхание и пошел медленно. То, что предстало ему, требовало неторопливости.

Кирпичный дом конторы по окна зарос травой, и из свежей травы торчали выбеленные скелеты прошлогодних трав. Окна покрывал слой пыли, некоторые стекла треснули, некоторых просто не было. Под стеной, полуутонув в песке, вверх днищами лежали несколько лодок. Микк обошел дом и остановился.

Его машина стояла там, где он ее оставил, на спущенных шинах, в грязных потеках, в пятнах ржавчины… Стоянка была пуста, лишь в дальнем ее углу, покосившись, гнил трактор. Микк огляделся. Нигде не было признаков недавнего присутствия человека.

Он понял, что сейчас упадет, и торопливо сел на землю, опершись руками. Потом лег. Перед глазами плыло.

Господи, что же это?..

Не знаю…

Он лежал долго — лицом в небо. Небо было прежнее.

Наконец, ему показалось, что он успокоился.

Дверь конторы висела на одной петле, и хватило толчка ладонью, чтобы она обрушилась внутрь. Грохот был пушечный. Взлетела и заклубилась пыль. Микк вошел в светящийся полумрак. Слева стояла конторка, рядом — застекленный прилавок с рыболовецкой мелочью. Пыли было на два пальца. Направо — Микк это знал — за дверью был крошечный, на четыре табурета и один столик, бар. Микк потянул за ручку двери, она неожиданно легко открылась.

Здесь было светлее — из-за разбитых стекол в окне. На полу песок лежал кучами: побольше под окном, поменьше посередине. Перегнувшись через стойку, Микк потянулся к полке с бутылками, понял, что не достанет, влез на стойку, нечаянно посмотрел вниз…

За стойкой, погребенный песком, лежал труп.

Чего-то подобного он ожидал. На ощупь он выбрал бутылку и, не отводя от трупа глаз, спрыгнул назад. И даже не труп это был… то есть труп, конечно, но мумифицированный, почти скелет — сухой и, должно быть, легкий. Пятясь почему-то, Микк вышел из бара и попытался закрыть за собой дверь — не получилось, мешал высыпавшийся песок. Ладно… Стараясь идти нормально, Микк выбрался под открытое небо. Бутылка, которую он ухватил, оказалась вермутом, но привередничать не приходилось.

С замком машины пришлось повозиться — набился песок, — но все-таки обошлось без взлома. В аптечке был бинт и йод. Хлебнув для храбрости, Микк стал снимать тряпку с руки. Присохнуть еще не успела… но как больно, черт… Рука выглядела страшненько. Шипя от боли, он полил на нее вермутом, потом потыкал туда-сюда смоченным йодом кусочком бинта. Это напоминало прикосновения горящей сигареты. Так вот и обматывать, что ли? Да нет же… Кроме бинта, в аптечке была еще упаковка вискозных салфеток. Неловко орудуя левой, Микк обложил салфетками все израненные места и стал бинтовать. Растревоженная где-то, закапала кровь. Между пальцами, вспомнил он, но уже поздно было смотреть.

Все. Слабой вздрагивающей рукой он поднес бутылку ко рту и, обхватив губами горлышко, стал глотать приторную теплую жидкость. Он никогда не любил вермут. Потом откинулся на спинку сиденья и закрыл глаза.

Девочка моя — та-та-та — как тебя люблю я! Девочка моя — та-та-та — как нам хорошо! Девочка моя — та-та-та — счастлив я с тобою… Дурацкие слова дурацкого шлягера заменяли все мысли. Девочка моя… Тийна забрала вещи и оставила записку: «Извини, так будет лучше. Не ищи». Он нашел ее в тот же день, на глаза не попался, просто убедился, что жива. С тех пор он стал брать на себя поиски пропавших. Теперь, похоже, он пропал сам.

И у Кипроса — Агнесса…

Впрочем, за Агнессой не заржавело бы сбегать на месячишко в горы, никого не предупредив, и Кипрос давно — всегда — знал, что в один вполне прекрасный день она исчезнет так же внезапно, как и появилась.

Постой — откуда я это знаю? Кипрос ничего не говорил…

Что-то странное вспомнилось на миг и тут же исчезло.

Я понял, подумал Микк. Я просто поймал кодон. Ноэль рассказывал, так иногда бывает. Не та мелочь, которую я ловил несколько раз в прошлом году, а что-то настоящее. Значит, надо просто сидеть и ждать, когда меня освободят. Не дергаться и не проявлять агрессивности. Люди вокруг меня, я их просто не вижу. Мне просто кажется, что здесь никого нет. Просто, просто, просто…

Но тогда люди ничего не поймут и не примут мер.

Надо что-то делать, как-то объявить себя…

Микк открыл глаза. Ничего не изменилось. Все так же мертво блестел песок, все так же неподвижно лежала вода. Он стал выбираться из машины. Ноги слушались плохо — будто не несколько глотков вина выпил, а водки бутылку. Одеревенело лицо. Во рту скопилась клейкая слюна. Притупилась боль. Нервы. Съездил на рыбалку, отдохнул…

Проклятая жизнь… ненавижу…

Задавил вскипающую ярость. Нельзя так. Нельзя.

Ну, что будем делать?

Пройдя несколько шагов, Микк плюхнулся на колени в песок, шутовски поднял руки к небу и позвал:

— Люди!

Тишина.

— Люди, я вас не вижу! Со мной что-то случилось, я перестал вас видеть! Мне нужно в больницу!

Тишина.

Потом что-то шевельнулось далеко слева.

Микк повернул голову — ничего. Неподвижность и тишина.

— Люди, да помогите же мне! Я говорю чистую правду: я перестал вас видеть! — Он сам услышал в своем голосе нотку раздражения. — Помогите, пожалуйста…

Низкий протяжный звук, похожий на вздох, донесся отовсюду сразу. Зашевелился песок: сразу в нескольких местах. Микк встал и сделал шаг назад. Что-то медленно вздымалось, ссыпая с себя потоки сухого песка.

В страшном молчании из песка вставали мертвецы.

Он попятился и упал, страшно ударившись затылком. Кто-то склонился над ним, закрыв полнеба. Багровое пятно расплылось перед глазами, полыхнуло ярко и погасло.

Долго не было ничего.

**МИШКА**

Несколько суток он лишь ел и спал; он ловил себя на том, что неимоверно поглупел и даже не может думать, откуда берутся продукты в холодильнике и куда пропадает мусор из ведра. Берутся. Пропадает. Ну и что? И тоску, накатывавшую временами, он оглушал едой или сном. Сначала он падал в сон, как в могилу. Потом пришли видения.

Всегда начиналось со стрельбы и с драк, все пули летели в него, а он не мог лечь, и кто-то без лица или даже без головы бил его кулаками и ногами, а он не мог ответить; он нажимал спуск, и автомат выпускал, стрекоча, бессильную серебряную струйку. Но это быстро сменялось медленным проходом по казарме: узкому, но бесконечно высокому, без потолка, и бесконечно длинному залу, заставленному рядами двухэтажных коек, на которых лежали, старательно отворачиваясь от него и затихая при его приближении, какие-то люди, мужчины и женщины, и почему-то то, как они отворачиваются и как молчат, было полно глубочайшего смысла, и не хватало лишь просветленности, чтобы смысл этот прочесть. Может быть, весь мир заключен был в этом молчании… Иногда вместо коек были вагонные полки, и с верхних обязательно торчали в проход ноги, ноги, ноги — ноги в разноцветных, но одинаково грязных носках с дырами на пятках. Один раз стояли деревянные нары — даже не двух-, а трехэтажные. В ватниках и валенках лежали на них… И, если долго идти по проходу между койками, полками или нарами, в конце концов приходишь в место, откуда начинается непонятное разветвление путей: нет никаких поворотов, и далекая светлая полоска над головой тянется прямо и ровно, но сам ты можешь повернуть, и все прочее повернется вместе с тобой, и от того, куда ты повернешь, зависит то, что потом увидишь. И, если не сворачивать никуда, стены скоро сменятся скальными плоскостями, полоска наверху станет зеленой, и ее перечеркнет что-то длинное и ажурное, похожее на выносную стрелу башенного крана. Крошечные скелетики захрустят под ногами, а потом откроется выход к океану, и дальше пути не будет. Корабли с детскую ванночку размером помаячат на горизонте и исчезнут. А можно повернуть совсем немного направо, и тогда вскоре стены раскроются, как ладони, и вокруг встанет низкий, чуть выше человека, лес, оплетенный тончайшими нитями от крон и до корней — светлый, сильный, враждебный. И, если идти дальше, минуя полузаросшие развалины кукольных городов, придешь к иным городам, то ли принятым лесом, то ли принявшим лес и не похожим уже ни на что. А, повернув направо сильно, приходишь в сырые стелющиеся леса, полные тонких, выше деревьев, грибов с продырявленными, как ломтики сыра, шляпками; слизь стекает с них в шевелящийся мох. Сворачивая налево, можешь оказаться в холодной пустыне, полной округлых, как лунные кратеры, котлованов; теми же крошечными скелетиками устлано дно их… В последний раз, пройдя между нарами и безуспешно разгадывая иероглифы поз, Мишка повернул назад, и мир послушно повернулся. Перед ним вскоре оказалась дорожка из светлого металла, огражденная перилами из грубых арматурных прутьев; туман клубился внизу. Потом туман как-то сразу исчез. Там, далеко под ногами, лежала серая предзакатная пустыня, и чуть видимый отсюда караван пересекал ее. Потом беззвучно прошли, описывая циркуляцию, два «крокодила», маленькие, не больше полуметра в длину. Над ними и позади, слегка качнув дорожку реактивными струями, пролетели парой «грачи». Верблюды бежали безумно, и взрывы накрывали их. Наконец, все заволокло пылью. Ветер там, внизу, гнал пылевую поземку. Она скрыла все. Мишка стоял на узкой, в две ладони шириной, дорожке, и она ритмично раскачивалась под шагами кого-то невидимого, но близкого и страшного. Мишка почувствовал, как останавливается от беспричинного ужаса сердце, и проснулся.

Похоже, был вечер. Или просто пасмурный день… Он полежал несколько минут, приходя в себя. Спустил ноги на пол, встал. Пол был холодный. Подошел к окну, отдернул штору.

На брандмауэре, напротив окна, висел удавленник. Запрокинутое черное лицо его смотрело прямо на Мишку. Мишка почувствовал, как слабеют ноги: кроме лица, ничего человеческого не было в повешенном. Горилльи плечи и руки, но с когтями на пальцах; звериные — то ли медвежьи, то ли львиные — лапы вместо ног.

Мишка, пятясь, отступил в глубину комнаты.

Началось…

Это был знак — завершающий знак из всех, полученных в видениях. Они сложились в послание, послание лично к нему, и он теперь знал, что должен делать — хотя и не смог бы, наверное, перевести это знание на язык слов.

В большой комнате запах тления царил: будто где-то тут лежал невидимый покойник. Вода из кранов текла ржавая и затхлая. Оставшийся на столе кусок хлеба зацвел. Из холодильника на пол натекла лужа. Более или менее съедобными там остались кусок вареной печенки и подавленные пирожки с зеленым луком. Все остальное испортилось и воняло. Чай имел привкус пыли. Это тоже были знаки.

Набив живот впрок, Мишка стал собираться. Надевать форму он не хотел

— слишком грязна она была. Так и валялась в углу ванной, нетронутая. Он взял лишь сапоги. И ремень. Граната может пригодиться… Неясно, к чему готовиться. На всякий случай он взял еще туристский топорик.

Фотография Таньки нашлась единственная: она и Мишка на мотоцикле Агейчика; Агейчик тогда и снимал. Это было лето после девятого класса. Фотографию с письмом Мишка положил в карман. Может быть, это тоже окажется знаком…

У двери он проверил еще раз, все ли взял, что нужно, и вышел на площадку. Здесь было прохладно и пахло почему-то свежеразрытой землей. Мишка пожалел, что не надел под штормовку свитер, но возвращаться не стал.

Дверь в подвал была заперта на висячий замок, и с ним пришлось долго возиться: заржавел. За дверью было темно. В лицо повеяло теплом, как бы от далекой, но очень горячей печи. Пахло, как в тире: горелым порохом и пыльными матами. Включив фонарик, Мишка стал спускаться по ступеням.

Нужная дверь обнаружилась под лестницей. Она была из толстого неокрашенного железа, вся в рыжих и черных разводах. Обухом топорика Мишка сбил не слишком прочный замок. Дверь открылась с омерзительным визгом. Запах стоялого порохового дыма усилился многократно. На стене справа обнаружился выключатель. Мишка повернул пыльную эбонитовую ручку. Померцав, загорелись газосветные трубки.

Он стоял как бы за кулисами сцены, уставленной декорациями. Потолок был низкий, но метрах в трех он кончался, и дальше чувствовался простор и высота. Пол из грязно-серых рифленых цементных плиток заканчивался парапетом; до парапета было метров тридцать. Позади была стена, и справа она кончалась совсем рядом, а слева упиралась в бетонный куб, немного не доходящий до потолка. За парапетом виднелись грубовато намалеванные на чем-то вершины гор и кучевые облака.

Мишка, стараясь ступать неслышно, двинулся направо. Дошел до угла и осторожно, одним глазом, заглянул за него.

Парапет, дважды изгибаясь под прямым углом, огораживал площадь с футбольное поле размером. Стена, у которой Мишка стоял, уходила довольно далеко и оканчивалась странного вида усеченной опрокинутой пирамидой. Между стеной и парапетом громоздилась гора каких-то ящиков. Частично этими ящиками заваленный, стоял коричневый автопогрузчик. В самом дальнем от Мишки углу парапета виднелась легковая машина или маленький автобус неизвестной марки. Несколько минут Мишка осматривался и прислушивался. Было совершенно тихо. Тогда он оттолкнулся от стены и подошел к парапету.

Под ним был Афганистан. Он понял это в первый же миг и потом ни разу не усомнился. Горы: заснеженные, каменистые, прорезанные зелеными долинами, в извилистых дорогах и тропах, с темными ущельями, с прилипшими к склонам кишлаками, с лоскутками полей везде, где хоть чуть-чуть может задержаться влага; глинистая, покрытая солевой коркой пустыня, навсегда выбеленная солнцем; городок у подошвы горы… Не помня себя, Мишка шел вдоль парапета. Это не было похоже ни на что конкретное, виденное им; это не было рельефной картой, потому что нарушались масштабы и пропорции; вообще нельзя было сказать, чем именно это было. По дороге внизу шла колонна: «уралы» в сопровождении бээмпэшек. Их было видно до безумия отчетливо. И так же отчетливо было видно гранатометчика в чалме, ждущего колонну у изгиба дороги. С легким хлопком, будто лопнула лампочка, взорвался и запылал бензовоз. Из бээмпэшек горохом посыпались стрелки, занимая оборону… Стоило сосредоточить взгляд на каком-то участке, как он оживал и взрывался действием: крались скрытыми тропами бородатые люди, сгибаясь под тяжестью своей ноши, а следом за ними крались солдаты в маскировочном пятнистом, в касках, крытых серой мешковиной. Утюжили воздух неуклюжие с виду «грачи». Верблюды еле брели, а над их головами пронесся вертолет, роняя частые капли бомб… Мишка отшатнулся: чувство повторности происходящего было нестерпимо. И все равно не было сил не смотреть совсем…

Он обошел весь парапет по периметру. Он видел Кабул под собой и Душанбе далеко на горизонте, отары овец и коз, сады и пальмы, палаточные городки, старика, расстилающего в пыли свой молитвенный коврик, летчика со сбитого «Ан-26», ковыляющего куда-то по черным камням, мерзнущие на вершинах посты, десантуру, отрабатывающую приемы на живых, пестрые базары, танки на перекрестках, женщин во всем черном, ребятишек, пристающих к солдатам… Наверное, все, что когда-то происходило там, отражалось здесь, в этом странном объемном зеркале…

Или наоборот, с ужасом подумал Мишка. Или вообще это все одно и то же, и никакого Афганистана, кроме этого, не существует — просто все знают, что он есть, и этого достаточно. А где-то в другом месте существует такой же СССР… а может, и вся Земля… и весь мир… Отвернувшись от того, что внизу, Мишка стал пристальнее рассматривать место, где он оказался.

Больше всего это напоминало палубу самоходной баржи — такая же вытянутая огороженная площадь с надстройкой на одном конце, захламленная, заставленная чем-то малозначащим: штабелями коробок и ящиков, катушками кабеля, толстыми связками арматуры. Стояла полуразобранная машина: нечто среднее между снегоуборочной и комбайном. Проходя мимо нее, Мишка чуть не упал: нога покатилась на стреляных пистолетных гильзах. Здесь их были многие тысячи. У парапета валялась изрешеченная в кружево железная бочка.

Почему-то вид этой бочки подтолкнул Мишку к размышлениям. Так, я вошел. Было темно. Выключил свет — там, под козырьком, загорелись лампочки. А внизу оказался день. А если выключить — станет ночь? Ночь — время духов, так говорили. Не мое это дело, мешаться в смену дня и ночи. Но ведь уже вмешался. Попробовать? Чувствуя, что делает что-то не то, Мишка подошел к выключателю и повернул ручку.

Наступила полнейшая тьма.

Лишь через несколько минут Мишка смог различить контур парапета на чуть более светлом фоне неба. Он медленно, чтобы не налететь в темноте на что-нибудь, двинулся к нему, и в этот миг завизжала открываемая дверь.

Сработал какой-то звериный инстинкт: Мишка метнулся назад, коснулся ладонями стены и по стене скользнул за угол. Он видел, как плясали беспорядочно и быстро световые пятна от мощных фонарей.

— Не трогай, — сказал чей-то голос. — Пусть поспят.

— До сраки мне ихние сны, — отозвался другой голос, молодой и злой. — Они там спать будут, а я тут коленки расшибать.

— Говорю — не трогай.

— Ладно, заладил, как…

— Как кто?

— Как училка.

— Смотри у меня.

— Давно уж смотрю…

— Что-то ты оборзел. Забыл, как говно жрут?

— Я же сказал: молчу. Молчу.

— Ну и молчи.

— Ну и молчу.

— Поднимись наверх, там посмотри. Я тут поброжу.

Молодой буркнул неразборчиво и, шумно загребая сапогами, прошел впритирку с Мишкой, одарив его крутым запахом давно не мытого тела. Потом пятно света и шаги скрылись за углом, и тут же загрохотала железная лестница. Оставшийся, негромко дудя под нос неразборчивый мотивчик, походил взад-вперед, потом достал что-то шуршащее… закуривает, догадался Мишка… Вспышка спички на миг осветила лицо: обычное, простоватое, с маленьким курносым носиком. Мотивчик сменился другим, и этот Мишка узнал: «На тебе сошелся клином белый свет…» Это была когда-то дворовая песня, только слова другие: «По тебе проехал трактор „Беларусь“…» Красный огонек, вспыхивая и угасая, описывал замкнутые кривые в пространстве, а потом замерцал и стал удаляться: тот, кто курил, направился к парапету. Шагов его Мишка не слышал.

Ну, ребята, влип… Мишка почувствовал, что руки его обхватили гранату и что пот заливает глаза. Это была неразрешимая коллизия, потому что руки не желали размыкаться, а зрение надо было как-то спасать. Наконец, он справился и с руками, и с потом. Держаться, надо держаться. Холодно и расчетливо. Они ищут не меня и почему-то не желают включать свет. Это хорошо, это уже половина успеха…

Тот, что курил у парапета, с размаху бросил сигарету вниз. Красный зигзаг секунду висел в воздухе, медленно тая.

— Сашок, ты это чего? — спросил голос над головой.

— А вот… — с хрипотцой отозвался куривший. — Щас добавим…

В тишине громко и железно клацнуло, и ударило два выстрела. Потом, через пару секунд, еще два. Потом еще. Вспышек видно не было: стрелявший перегнулся через парапет.

— Ракетный обстрел Кандагара, — чуть сдавленно объявил он, распрямляясь; Мишка уже довольно хорошо видел его поясной, как на мишени, силуэт. — Забегали, шурави…

— Слушай, я тут пломбы трогать не стал, через дверь посмотрел, — сказал голос наверху. — Календарь опять засбоил. Должна быть ночь с четвертого на пятое, а там с пятого на шестое. Надо опять инженера звать.

— Инженера… Слушай, Чуха, а ты замок на двери менял?

— Вчера, как ты сказал…

— Не было замка, Чуха. Я подумал, что ты опять профилонил, хотел на обратном пути тебя носом потыкать. Так, говоришь, пломбы целы?

— Целы, Сашок, точно говорю: целы.

— Слава Аллаху. Ладно, придется засветлять. Проверишь балкон — и спускайся. Да ствол держи наготове.

— Понял, Сашок. Иду.

Наверху застучали сапоги, а человек у парапета перезарядил пистолет и скользящими, почти беззвучными шагами пошел назад. У меня же топор, в отчаянии подумал Мишка, можно же топором… Он не двинулся с места. Щелкнул выключатель, загорелись лампы — и засветилось небо. Солнце скользнуло из-за гор и остановилось невысоко. Мишка обтер ладонь о штаны, взялся за рубчатое тельце гранаты и потянул его на себя. Чека не отпускала. Он рванул — и чуть не выронил гранату из руки. Этого он испугался. Другого он не боялся ничего. А может быть, боялся так, что уже не чувствовал своего страха.

Человек вышел из-за угла. Он был одет в черный, наподобие танкистского, комбинезон. Лицо было то же самое, простоватое, курносое, только глаза были мертвые. Он увидел Мишку, гранату в его руке и все просчитал и все понял.

И Мишка все понял, глядя в эти глаза, и уже не слышал, как тот сказал:

— Эй, парень, поосторожней с этой штукой!

При первых звуках голоса Мишка ослабил пальцы, и предохранительная скоба полетела, вращаясь, как бумеранг; хлопнул капсюль, и запахло пистонами — как от детского пистолетика. Мишка держал гранату в поднятом как бы в ротфронтовском приветствии кулаке. У человека в черном делались нормальные глаза и что-то менялось в лице; потом он стал медленно падать назад, одновременно отворачивая лицо и закрывая руками голову. Чудак, подумал Мишка, это же «фенька», от нее не закроешься локтями. Ему было легко и спокойно. И даже предчувствие чего-то радостного возникло и дало себя ощутить…

Все это длилось слишком долго.

Человек в черном зашевелился, приподнял плечи и, повернув голову, посмотрел на Мишку. Мишка так и стоял — с неразорвавшейся гранатой, поднятой к плечу.

— Бросай, — сказал человек и ткнул рукой: вон туда. — Бросай.

Мишкина рука неловко распрямилась, и граната отлетела шагов на десять, костяно ударилась о пол и покатилась, рокоча.

— Вот и молодец… молодец… — Человек поднялся и, пошатываясь, подошел к Мишке. — Ты кто такой?

— Я здешний, — неожиданно для себя ответил Мишка и удивился своему голосу: тонкому и противному. — Я здесь живу. На втором этаже.

И, чтобы его лучше поняли, пальцем показал на потолок. Палец трясся.

— А, понятно, — улыбнулся человек в черном. — А я-то испугался, что это сайр к нам пробрался. А ты наш. Это хорошо…

И Мишка с трудом подавил в себе желание улыбнуться ему в ответ.

— Видишь, Чуха: гость у нас, — сказал человек в черном подходящему молодому. — На втором этаже, говорит, живет.

Молодой заржал.

— Крутой парень, — продолжал человек в черном. — Чуть что не по нем — гранатой. Фамилии не спросясь. Хорошо, граната тухлая была, а то соскребал бы ты меня веничком… Афганец, одно слово. Афганец, да?

— Нет, — сказал Мишка. С первого раза сказать у него не получилось, и он повторил упрямо: — Нет. Я русский.

— Русский по паспорту. А афганец по душе. Так говорят.

В голосе его чувствовалась непонятная издевка.

— Я русский, — повторил Мишка. — Афганцы те, которые там живут.

— Не хочешь, значит, афганцем быть?

— Я русский.

— Хороший парень, — сказал человек в черном. — Культурный. Все понимает…

Он сделал неуловимое движение плечом, и в глазах его Мишка увидел жадное любопытство — а потом Мишку вдруг подняло непонятной силой вверх и куда-то понесло, и без боли ударило о плиты пола, и перевернуло так, что пол оказался над головой, а небо и солнце внизу. Это было неправильно, но повернуться Мишка не смог. Он смотрел, как белое солнце превращается в черный круг на желтой стене. Он так и не понял, что умирает.

— Одним ударом, — подобострастно сказал Чуха. — Одним ударом, Сашок, а?

— Сними с него все, — прыгающим голосом велел Сашок.

— Ты что, хочешь…

— Снимай, падаль!

Чуха стал стаскивать с мертвого Мишки сапоги, запутался в штанах…

— Срезай, козел!

Срезать было легче.

— Все. А теперь отойди… Нож дай.

Чуха смотрел, что Сашок делает с Мишкиным телом. Потом его замутило.

— Слушай, хватит, а? Зачем уж так?

— Ништяк… — улыбаясь и часто дыша, Сашок выпрямился. — Пацаны злее будут. Берись, поволокли.

Они подтащили то, что осталось от Мишки, к парапету. Сашок перегнулся через парапет и стал смотреть вниз. Постепенно пейзаж внизу менялся: раздалось и поднялось, вырастая в размерах, каменистое горное плато. То, что было рядом с ним, съеживалось и сжималось, мертвея. Наконец, плато увеличилось до размеров естественных. До него было метров пять. Видна была россыпь зеленоватых автоматных гильз.

— Подняли… — сказал Сашок. — Перекинули…

Изуродованное до неузнаваемости тело Мишки с тупым звуком упало на камни.

— Иди-ка еще вон… гранату принеси…

Чуха послушно сходил и принес гранату. И перебросил ее следом за телом.

— Орденок теперь дадут… посмертно… — все с той же улыбкой сказал Сашок.

Он отвернулся от парапета, и плато стало оседать и уменьшаться, уменьшая вместе с собой и мертвого Мишку, лежащего на нем.

— А представляешь, если бы это сайр был? — подстраиваясь под старшего, сказал Чуха.

— Был бы это сайр… так мы бы с тобой… там лежали… — Сашок согнал улыбку с лица. — Козлы мы с тобой и разъебаи. Сайр бы нас на счет «раз» положил. Да только вряд ли сайр сюда пролезет. Нет им, гадам, сюда пути… — Глаза Сашка опасно сузились, голос побелел.

— Щуплый пацан, — уходя от опасной темы, завертел головой Чуха. — А кровищи, что с борова.

— Засохнет, — плюнул Сашок.

**ТАТЬЯНА**

Накормили последних. Хотелось лечь и никогда больше не вставать. Маленькие ревели вперебой. Те, что чуть побольше, азартно смотрели в небо. Только что нечисть — одни крылья и ноги — попыталась свалиться на головы. В нее попали, и с жалобным воем нечисть скрылась. Всей еды было: тридцать буханок черного и два ведра лапши на порошковом молоке. Это на без малого две сотни народу. Завтра не будет и того, сказал Василенко, хлебозавод — все. Не удержали. Василенко был черный и худой. Как Дим Димыч, спросила Татьяна, отходит? Не знаю, Танюха, сказал Василенко, я его с позавчера не видал. Вроде живой. Загляните к нему, Федор Игнатьевич, вы ж мне не чужой, попросила Татьяна, ведь мне отсюда — ни на шаг. Ладно, Танька, загляну. Передать ему что? Передать? — Татьяна вдруг смешалась. Передать: что жива и что люблю. Она с вызовом посмотрела на Василенко. Он вдруг улыбнулся. На запекшихся черных губах появились алые трещинки. Ладно, сказал он, для этого дела специально съезжу…

Она двигалась уже как манекен: высаживала на горшки, вытирала слезы, разнимала драки, успокаивала, как умела, играла в пантеру и в лису Алису, надувала прохудившийся мяч, вставляла кукле ноги… Наконец, Фома Андреевич поймал ее за бок и посадил рядом с собой.

— Передохни, дочка. Не одна ты тут, пусть и мамки не только за своими походят…

Она послушно сидела, беспрерывно куда-то проваливаясь. Потом, похоже, заснула, потому что, открыв глаза, обнаружила себя лежащей и прикрытой пиджаком. Рядом кто-то тоненько плакал, подвывая.

— Ума решилась, бедная, — сказал один голос.

— Водки ей дайте, — сказал другой.

— Разойдитесь, просто разойдитесь, — сказал Фома Андреевич. — Не стойте над душой. А ты поплачь, родная, поплачь. Рта не затыкай, не насилуй себя. Поплачь.

Татьяна опять уснула.

Окончательно она проснулась в полной темноте. Тусклое кольцо луны терялось в перепутанных ветвях. Фома Андреевич дышал рядом.

— Спи дальше, — сказал он. — Если что — разбужу.

— Фома Андреевич, — сказала Татьяна, — вы-то сами когда спали последний раз?

— Сегодня часок ухватил. А что?

— Да неловко мне.

— Неловко только метлой париться, — сказал Фома Андреевич. — А вам, молодым, сна больше требуемо. Я вот сижу и в небо смотрю, и мне хорошо.

— Выспалась я, — сказала Татьяна.

— На фронте, помню: спать хотелось и есть. Только спать и есть. И все. Остальное тоже вроде помню, но так… сквозь кисею. А спать и есть — страшно…

— Вот и у нас так.

— Еще немножко не так. Но у нас и хуже, опять же. Там хоть ждали чего-то. И, все-таки, мужики одни… легче. В сорок четвертом, зимой, к нам из Белоруссии партизанский отряд прорвался. Баб и ребятишек человек сто да бойцов полсотни. Из блокады, голодные, шатаются… Командира с комиссаром перед строем расстреляли, а бойцов приодели слегка, жратвы какой-то дали, патронов — и назад. Ну а семьи — в тыл. Так командир с комиссаром обнялись перед смертью и расцеловались. Знали, видно, на что шли — с самого начала знали…

— Почему расстреляли-то? За что?

— Оставление позиций.

— Так что — лучше бы дети перемерли?

— Командование считало — лучше…

— Вот же сволочи…

— Может и сволочи… А может и нет. Кто знает? Про Ноя же ты читала?

— Читала. Про ковчег.

— Это Писание… А есть еще предание — неписаное. Про соседа Ноева, по имени Орох. Был он завистлив и подозрителен. Увидел Орох однажды, что Ной с сыновьями начал строить огромную лодку, и подумал: с чего бы это? Ной, говорят, праведник, Господь любит его. Не иначе, что-то должно случиться. И стал Орох строить такую же лодку. Долго строил, но закончил в срок. И все смеялись над ним и над Ноем. А потом начались дожди. И реки вышли из берегов, и ручьи превратились в потоки. И стала заливать вода жилища. Тогда поняли люди, что Бог прогневался на них, но не было у них сил душевных принять этот гнев как подобает. И бросились они к ковчегам… Но затворил Ной ворота ковчега, и напрасно стучали в них люди. Женщины поднимали детей над волнами и питали надежду, что хоть безвинных младенцев примет праведник Ной. Но был Ной послушен воле Господа. А Орох не вынес плача и мольб — и отворил ворота. Взошли люди на ковчег Ороха, но слишком много их было, и не смог он затворить ворота, не смог выбрать того, перед кем их затворить…

— Вы это сами сочинили? — помолчав, спросила Татьяна.

— Не знаю, дочка. Может и сам. А может, слышал от кого…

— Значит, мы потомки того праведника… Интересно, спал он спокойно в оставшуюся жизнь?

— Он спал спокойно.

— Тогда, наверное, все, что было потом — это искупление его праведности. Включая нас и вот это…

Они помолчали. Слышалась далекая перекличка часовых — видимо, в районе ремзавода. Потом там же застрелял тракторный мотор, и с лязгом, слышимым даже здесь, куда-то направился архиповский броневик.

— Третья ночь без стрельбы, — сказал Фома Андреевич. — Замечаешь, дочка?

— И правда, — сказала Татьяна. — Неужели выдохлись?

— Или готовят что-то.

— Или готовят…

Медленно прошли, разговаривая, четверо караульных: один с дробовиком, двое с огнеметами, у четвертого на плече лежала пика с поперечной перекладиной. Оборотня было мало поразить картечью или поджечь — нужно было еще и держать, пока не сдохнет.

Да, растратили серебро в первые дни, теперь приходится ухищряться…

Кто же знал, что все это затянется черт знает на сколько времен?

Ах, война-то еще долго протянет, на то она и война… Миша, Миша, как же это так, а? Забрали, убили, сунули обратно: хороните… будто так и надо… трехлинеечки, четырежды проклятые, бережем, как законных своих. А вот законных не бережем. Мишку убили, Валера умер, Дима тяжелый…

И вдруг внезапно, будто вспыхнул свет, она поняла, что должна увидеть Диму — немедленно, сейчас, пусть он без сознания, пусть не видит, не слышит. Почему-то получалось так, что нет ничего важнее этого…

Что-то должно было случиться в эту ночь.

До больницы двадцать минут — днем. Здесь хватит рук и без нее. Правда, если отлучку обнаружат… Но об этом лучше не думать.

Тем более — что-то должно случиться. И это что-то требует ее присутствия рядом с Димой.

— Фома Андреевич, — Татьяна поднялась. — Вы не проводите меня до больницы? А то у меня только три патрона.

Несколько секунд Фома Андреевич молчал. Потом встал.

— Сюда возвращаться будешь? — спросил он.

Татьяна прислушалась к себе.

— Не знаю. По обстоятельствам.

— Тогда я захвачу свой мешок…

Чудный старик, подумала она. Чудный и чудной. Впрочем, как выяснилось, многие оказались не такими, как были прежде.

Взять того же Диму…

Фома Андреевич, с мешком за плечами и архиповской многозарядкой в руках, возник рядом. Но с ним, к ужасу Татьяны, возникла и Василиса — директор второй школы, а теперь комендант лагеря «Верхний»…

— Я все знаю, девочка, — сказала она неожиданно. — Пойдем, а то вас без меня пристрелят в воротах…

На улицах оказалось неожиданно светло. Почти как в нормальную лунную ночь. То, что глаза, нагруженные светом костров, керосиновых ламп и свечей, воспринимали как непроницаемую темноту, через несколько минут стало мостовой, заборами, домами, крышами, небом… Черным небо было лишь над северным горизонтом; вокруг же тусклого кольца луны расплывалось серо-сиреневое пятно, дающее довольно яркий, но бестеневой свет. Отсутствие теней, контрастов, объема делало город туманно-призрачным.

— Второе полнолуние встречаем, — тихо сказал Фома Андреевич. — С первого, по сути, началось…

— По-моему, еще весной началось, — сказала Татьяна.

— Не определить нам, когда это началось, и лишь когда кончится, будем видеть все. Восьмая часть нас сейчас осталась, а должна остаться двенадцатая…

— Фома Андреевич, — медленно начала Татьяна, — вот мы с вами много говорили обо всем таком… я до сих пор не пойму: неужели вы и вправду верите в предначертания? Ведь это же… — она поискала слово, — неинтересно.

Фома Андреевич ответил не сразу. Татьяне даже показалось, что он вообще не будет отвечать — так размеренно он шел, поворачивая голову из стороны в сторону и поводя толстым стволом своей пушки. Но шагов через сто он заговорил.

— Если предначертанное сбывается: раз, другой, третий, сотый… можно ли это отбрасывать? Или стоит поискать объяснение? Допустим, нас не устраивает простейшее из них: что все кому-то известно наперед, а, поскольку мир неизменяем, то мы волей-неволей исполняем предписанное. Согласен: обидно, сил нет. Хотя никто не доказал, что мир обидным быть не должен. Но зайдем с другого конца: предположим, предначертания исполняются потому, что люди верят в то, что они исполнятся. Чем больше людей, чем сильнее они верят — тем вернее исполнение…

Он остановился и прислушался. Тонкий вой возник вдалеке, поднялся — и оборвался. И, как бы погребая его, нарос лязг броневика.

— Что-то утюжит Архипов…

Потом раздались крики — уже человеческие. Мокрый удар — и чавканье, как от шагов по болоту. И снова — вой, визг, бульканье… Желтый огненный пузырь вздулся над крышами.

— Однако, поторопился я — про затишье, — пробормотал Фома Андреевич.

Коротко рванул автомат. Потом еще раз.

— Пойдемте, — сказала Татьяна. — Все равно мы…

Почти бегом они двинулись вниз по мощеной булыжником Социалистической улице, которую все звали по-старому: Прямым Взвозом. Она шла от самой пристани до каменных лабазов наверху; там же было пожарное депо с каланчой и вторая школа, раньше — реальное училище. Теперь все это вместе называлось «Верхним лагерем» и давало приют трем сотням людей, в основном — детям и женщинам. Верхний лагерь было легко оборонять, там были самые большие запасы продовольствия, но воду приходилось возить снизу.

Самый большой и самый важный — но и самый беспокойный и уязвимый — лагерь образовался вокруг ремзавода. В нем было человек семьсот. Третий был — больница и два десятка домов вдоль набережной. Полторы сотни людей удерживали его. И было то, что называлось постами: электростанция, пакгаузы у пристани, хлебозавод… все, хлебозавод можно вычеркнуть. С самого начала он висел на ниточке…

Улицы и дороги, соединявшие лагеря, по непонятным причинам оставались ничьей землей. Людям здесь было небезопасно появляться — но и нечисть, дневная и ночная, не занимала дома и не взрывала землю. По крайней мере, слухачи, сутками напролет обычными докторскими стетоскопами выслушивающие подземную колготню, здесь ничего не находили.

Что-то заставило Татьяну замереть; Фома Андреевич тут же остановился и повернул голову к Татьяне, но, повинуясь жесту, промолчал.

Странная возня происходила в палисаднике дома, с которым они поравнялись. Возня, возбужденный крысиный писк… и с шипением, как от влетающей ракеты, вспыхнуло белое пламя! Клочья чего-то горящего вымахнуло на высоту крыши. И тут же, рядом — вторая вспышка. Крысы завизжали. Смотри, смотри! — зашептал Фома Андреевич, но Татьяна видела и сама, хоть и сквозь лиловые пятна: из палисадника на доски тротуара выбрались какие-то гномики. Двое несли третьего. Потом появился четвертый. Заметив людей, они замерли, но тут между штакетин просунулось сразу несколько крысиных морд. Гномики перебежали тротуар и спрыгнули на мостовую. Фома Андреевич дослал патрон и дважды выпалил по крысам. Полетели щепки. Штакетник завалился и повис на кустах. Крыс, конечно, смело. Гномики встали, подняли своего пострадавшего товарища и, поглядывая на людей, пересекли мостовую. Татьяна присела, чтобы лучше их разглядеть. Они были вполне обычными — только маленькие. Ей показалось, что последней шла женщина — впрочем, одетая, как все остальные.

Значит, Мишка ничего не придумал… значит, все так и было, как он говорил…

— Эй! — позвала она. — Вернитесь! Мы вам поможем!

Но никто не вернулся и не отозвался.

**ВИТО, ИЛИ САЙР ГЭБРИЛ КСИМЕН**

Что Гэбрилу определенно нравилось в новом тоуне, Джаллаве, так это естественность поведения. Если тоун Джаллав был доволен — все знали, что он доволен; если что-то его не устраивало, то все знали, что именно, и не требовалось вычислять и угадывать, кого и за что наказывает тоун, понижая в чине, допустим, референта вице-председателя Малого круга. Может быть, пройдет двадцать лет — и Джаллав научится делать загадочные жесты, ставящие в тупик всю команду — но пока ничего кроме облегчения никто не испытывал. Сегодня тоун был встревожен, тревоги не скрывал, но, тем не менее, все, собравшиеся на Большой круг, знали, что ни с какими иными трудностями, кроме реальных, не столкнутся.

Прежнего тоуна, Сондж-Такши, никто не вспоминал, руководствуясь мудрым правилом: о мертвых хорошее или ничего. Правило действовало, хотя Сондж-Такши был жив, здоров и шумно проматывал свое неимоверное выходное пособие. Гэбрил видел его однажды, но сделал вид, что он сам на задании, а в теле его жокей.

Оперативная обстановка внезапно осложнилась, говорил тоун Джаллав, причем в нескольких уровнях одновременно. Особые опасения внушают уровни Вав, Зайин и Хет, где события развиваются по образцу «Припарийской катастрофы», но в значительно большем масштабе. Уже очевидно, что процесс охватывает все три уровня, локализуясь в каждом из них на площади от одного до трех миллионов квадратных миль. «Припарийская катастрофа», как все помнят, началась на территории в несколько сот квадратных миль — и привела к гибели половины населения планеты и деградации оставшейся, что, в свою очередь, резко ослабило наши позиции в отдаленных уровнях.

Ничего себе, ослабило, подумал Гэбрил. Уровни выше Коф практически недоступны…

Понятно, что события в уровне Коф, в Припарии, произошли еще тогда, когда мы не обладали даже минимумом необходимых средств, продолжал Джаллав, а главное — не имели представления об истинной причине происходящего. Сегодня мы имеем возможность локализовать подобные процессы в течение дней и даже часов. Не далее как в прошлом году была проведена успешная операция в слое Ламед — хотя и небезупречная с этической точки зрения…

В сущности, за эту операцию Сондж-Такши и сняли. На ИТ-тест отреагировал один из заливов мелкого и чрезвычайно населенного ламедианского океана. Сайр-команда организовала там столкновение двух танкеров: с нефтью и с какими-то кислотами. После чего в заливе не стало даже бычков.

С другой стороны, если болезнь запустить… в уровне Коф погибло полтора миллиарда. Правда, там был чисто сухопутный вариант. Но с морскими аналогами «преображения» бороться было бы практически невозможно. Поэтому неизвестно, что хуже.

Вообще неизвестно, что хуже. Похоже, что выжившие в уровне Коф не так уж бедствуют. Хотя живут странно — по нашим понятиям. А по своим — хорошо. Спокойно живут. Многие из нижних уровней поменялись бы с ними… если те согласятся, добавил про себя Гэбрил.

А может быть, и меняться не придется…

Джаллав закончил вступление и спросил, не нужно ли что уточнить? Это был обязательный ритуальный вопрос на Большом круге.

И встал магнус Зоунн.

— Мой командир, — сказал он, — как давно появились признаки «преображения» в этих уровнях?

— Ретропроекция показывает: в уровне Вав — около трех лет назад, в уровне Зайин — около полугода, в уровне Хет — более двадцати лет назад.

— А идентификация состоялась?..

— Две недели назад.

Ропот прокатился по залу.

Сейчас спросит: чья вина? — подумал Гэбрил.

— Мой командир, есть ли объяснения тому, что в сроках ретроспекции мы имеем двадцатикратный разнос?

— Объяснений… — тоун чему-то, известному только ему, улыбнулся. — Объяснений до черта. Лично я отдаю предпочтение двум: во-первых, методы ретроспекции крайне несовершенны, во-вторых, противник сознательно оттягивал момент инвазии в слой Зайин. Подчеркиваю: сознательно. Он создал плацдармы: сверху и снизу; накопил силы… Мы с вами знаем, какова роль уровня Зайин для равновесия системы, для защиты Алефа. Думаю, противник знает это не хуже нас. Пора перестать относиться к нему как к безмозглому животному, как к явлению природы — этим многие из нас грешат до сих пор. Я ответил на ваш вопрос, квинтал?

— И последнее: почему допущена такая поздняя идентификация признаков?

— Потому что формально этих признаков нет. ИТ-тесты отрицательны в Зайин и Хет, сомнительны — в Вав.

Вновь прокатился ропот.

— Мы отстали от событий, — подождав, когда установится полная тишина, продолжил тоун, — и упустили из виду многие изменения, произошедшие с нашим противником. Скажем, резчайшее усиление способностей к маскировке — или к мимикрии, если так будет угодно господам арбореям. Хотя, как я понял из рапортов группы Ауэбба, эту тему они разрабатывают минимум четыре года…

Гэбрил посмотрел на Ауэбба — его место было в ложе руководителей групп, но он всегда сидел со своими расчетчиками. Сейчас он был бледнее обычного и смотрел строго перед собой. В пересечении сотен взглядов ему было неуютно.

— Именно этим путем, путем самообмана, самоуспокоения мы пришли к ситуации, обозначившейся в последние недели. Но буквально до сегодняшнего дня мы не подозревали о том, что положение не просто несколько осложнилось… — тоун помолчал, глядя на пустой пюпитр. — Я даже не могу сказать, что мы на грани катастрофы — потому что, боюсь, мы давно перешагнули эту грань.

В наступившей тишине кто-то закашлялся.

— Мой командир… — поднялся штаб-магнус Манхолт, но тоун жестом усадил его на место.

— Сейчас я по возможности кратко опишу то, с чем столкнулись наши службы за последний месяц, а также то, что происходит сейчас в уровнях Вав, Зайин и Хет. После чего объявлю о своем решении. Прошу выслушать меня внимательно.

Странно, что я ничего не чувствую, подумал Гэбрил. А должен бы. Или уже все перегорело?..

— Ровно месяц назад сайр Бэлард, следуя в авторежиме из уровня Йод, пропал где-то между уровнем Зайин, который был отмечен мониторингом, и — Гиммель, где, как вы знаете, имеется стацрегистратор. Мониторинг прервался при прохождении уровня Вав. Судьба сайра Бэларда неизвестна. Это была первая потеря такого рода. В течение недели точно так же пропали еще двенадцать человек — все при прохождении уровня Вав. Магнус Зоунн организовал спецгруппу, занятую исключительно поиском и прямым подуровневым возвращением наших разведчиков. Не имеет смысла, очевидно, говорить о том, что авторежим теперь применяется в самых исключительных случаях. Но, как вы понимаете, наблюдатели и разведчики, покинувшие Алеф более месяца назад, об этом не знают, продолжают им пользоваться — и пропадают при пересечении уровня Вав… Один из них, наконец, найден и возвращен сегодня. Это сайр Ксимен, рапорт которого проливает свет на многое. Хотя, возможно, и не на все.

Теперь все смотрели на Гэбрила. Он постарался этого не заметить.

— Естественно, отдел структурной разведки стал уделять самое пристальное внимание уровню Вав. Зоной сопряжения энергетических минимумов Базы Алефа и пространства Вав является большой портовый город Альбаст на юге бывшей Империи гипербореев. Общий уровень технического развития государств Вав достаточно высок, в основном это касается сферы информатики. Антропогенное давление на среду переходит за критические пределы. Классических признаков самоорганизации среды не отмечено — но в истории зафиксирован случай создания артефакального биокибернетического анклава. Попытка закончилась катастрофой, информационным коллапсом — однако это, похоже, ничему их не научило. Более десяти лет ведутся работы, в том числе и в военных целях, над снятием межличностных блоков и установлению симпатических связей как между индивидами, так и между индивидом и внешней информсистемой. Наши попытки сорвать эти работы пока почти ни к чему не привели. Далее: практически все информационные системы технически развитых государств Вав, развиваясь стихийно, оказались соединенными в единую сеть, причем это касается как высокосложных специализированных систем, так и бытовых, широко распространенных там. Возможно, впрочем, что имел место не только стихийный процесс, но и желание правительств иметь возможность обеспечить при необходимости тотальный контроль над информацией, поскольку новейшая история этих государств отличается сверхкритической нестабильностью. В полном соответствии с теорией бесконечно-замкнутых систем в сети стали зарождаться информпакеты, воздействующие на сознание и подсознание людей с целью побудить их к свершению тех или иных действий. Процесс этот идет по экспоненте, принимаемые меры, естественно, запаздывают, так как нацелены на ликвидацию последствий уже состоявшихся событий, а не на опережение. Корпус эрмеров — так называется организация, созданная для защиты от этого бедствия — слаб, плохо оснащен технически и обладает минимумом возможных полномочий. Очевидно, что предотвратить очередной, теперь уже тотальный, информационный коллапс он не сможет. Если же мы попытаемся событийно совместить тотальный информационный коллапс с выходом из-под контроля разработок по снятию межличностных блоков и созданию симпатической связи — а это произойдет неизбежно — то совершенно ясным становится итог: образование в непосредственной близости от Алефа гигантской аморфной безличностной биокибернетической системы, которую противнику не потребуется даже завоевывать — она будет полностью открыта для него. Тем более, что плацдарм противника в уровне Вав существует, по всей вероятности, уже не один десяток лет…

Он перевел дыхание.

Тишина стояла гробовая.

— Детального изучения событий вокруг артефакального информационного коллапса не проводилось, но из тех материалов, что — часто вопреки воле непосредственного руководства — доставляли наши наблюдатели, становится очевидным следующее: некоторая часть населения уровня Вав, по крайней мере в местностях, прилежащих к центру событий, потенциально тропна к противнику. Эти люди составляют, по различным подсчетам, от одной десятой до трех процентов населения и отличаются повышенной чувствительностью к неофициальным раздражителям. Магнус Ауэбб считает, например, что можно говорить о формировании у них зачаточной третьей сигнальной системы, совместимой с сигнальной системой противника. Точно известно, в частности, что они способны принимать и генерировать модулированное ультрафиолетовое излучение, причем это излучение четко и однозначно влияет на уровень активности коры головного мозга — вплоть до возникновения некупируемого судорожного синдрома. Есть данные, хотя и менее полные, о воздействии химических раздражителей в микродозах… В общем, это люди, но уже не совсем люди. И, вполне возможно, их поступки диктуются не только их собственным разумом. У нас нет достоверных данных о происхождении этих людей, и лишь по некоторым косвенным намекам мы предполагаем, что они появились в результате вирусной инвазии в наследственную плазму минус третьего поколения. Причем это с абсолютной точностью напоминает эксперименты по генному инженерингу, выполнявшиеся в Алефе примерно в то же время…

Понадобилось несколько секунд, чтобы осознать сказанное. Тоун Джаллав обводил глазами зал, вглядываясь в лица, и Гэбрил понял, что тоун, помимо всего, решает сейчас и кадровую задачу. Для самого Гэбрила этот вопрос был уже решен, поэтому он вполне мог позволить себе самую естественную реакцию на слова тоуна: отвалить челюсть. Боже правый! Минус третье поколение, поколение дедов, не имевших и понятия о структуре мира, об уровнях выше первого… воинственных дедов, немало сил вложивших в науку о самоуничтожении… по-дурному бесстрашных дедов, творцов монстров и оборотней — созданий несчастных и несущих несчастья…

И — вот какой поворот темы…

— Мы не можем пока судить о характере процессов, превративших Вав в непреодолимую преграду для наших возвращающихся разведчиков, — помолчав подобающее время, продолжал тоун. — Информация, предоставленная сайром Ксименом, интересна, но не проверена. Чисто спекулятивно можно предположить, что это одно из следствий возникновения в информационной сети специфических информпакетов, именуемых там «кодонами». По крайней мере, сам сайр Ксимен был переправлен из уровня Вав в уровень Зайин после того, как воспринял один из таких пакетов. Я не берусь делать выводы из уникального пока факта, но случай крайне интересный и требует внимательного анализа. И, возможно, экспериментальных проверок…

Это он осторожничает, подумал Гэбрил. Нутром чую: все, кого найдут, расскажут одно и то же: поймали кодон. И вообще — сама ситуация с исчезновениями заставляет задуматься над обоснованием многослойной системы. Как бы не оказалось, что уровни, начиная с Бет, вовсе не являются дочерними реальностями, возникшими в результате функционирования Алефа — так, по крайней мере, считается до сих пор, — а суть вполне самостоятельные миры, и Алеф — равный в ряду прочих… и, может быть, даже не первый? Никто ведь, кажется, не пытался проникнуть под?

А ведь это может оказаться богатой идеей — проникнуть под Алеф…

Как? Он стал думать, как это можно сделать, и пропустил момент, когда тоун перестал рассуждать о Вав и перешел к Зайин.

— …с Базой сопряжен малонаселенный район, и самый большой город имеет население около четырнадцати тысяч человек. Поскольку уровень Зайин имеет важное стратегическое значение, мы держим там постоянно около двадцати наблюдателей. Признаков проникновения, известных нам по предыдущим вторжениям, нет до сих пор, но я беру на себя ответственность за следующее заявление: в уровень Зайин, причем в район, сопряженный с Базой, осуществляется массированное вторжение сил противника. То, что происходит там, я бы назвал преображением реальности — поскольку преображение коснулось не растительности, как на уровне Коф, не части каждого царства живого мира, как в Вав, а всей совокупности живой, мертвой и идеальной сфер — пусть и на ограниченном пока участке. Зона вторжения оказалась огороженной непроницаемым в обе стороны барьером, причем если изнутри барьер видим и осознаваем, то снаружи — нет. Сотни квадратных миль территории, город, несколько поселков исчезли без следа, исчезли память и упоминания о них, люди, жившие там, будто никогда не существовали… Мы еще ни разу не встречались с подобным феноменом. Возможно, это самое грозное из последствий вторжения. Борьба с ним будет одним из приоритетных направлений нашей деятельности… Внутри барьера происходит истребление населения — по меньшей мере, две трети на сегодняшний день — и внедрение в реальность форм жизни, никогда не существовавших ни там, ни где-либо еще… за исключением, может быть, верхних, закрытых для нас уровней.

Гэбрил помнил, какими возвращались сайры из верхних уровней после Припарийских событий. Многих списали — у ребят не выдерживала психика. Сколько я провел в Зайин? Меньше суток? Вернувшийся позже Гайт рассказывал страшные вещи. И за это время, наверное, все стало еще хуже. Как там они? — вдруг сдавило сердце. Мы тут болтаем, а они держат оборону, умирают, защищая нас…

А по идее — мы должны умирать, защищая их. Так это виделось поначалу.

— Вторжение противника в уровень Хет, случившееся, очевидно, лет двадцать назад, мы умудрились не заметить. Как ясно сейчас, противник контролирует огромную территорию, королевство Альбаст, и готовит оккупацию всего слоя. Преображение в слое Хет коснулось прежде всего людей и лишь в последние месяцы перенеслось на животных, диких и домашних. Причиной столь позднего обнаружения деятельности противника можно считать ту самую мимикрию, о которой я говорил вначале. Уровень Хет характеризуется чрезвычайно высоким развитием магических начал, и потому очень грязную и шумную возню противника мы сочли просто особенностью пейзажа…

Не удержался, лягнул Сонджа, подумал Гэбрил. Выражение «особенность пейзажа» было у него из любимейших…

— На территории Альбаста нами зафиксировано свыше пятидесяти очагов сосредоточения преображенных людей. По оценкам магнуса Ауэбба, в ближайшее время преображение охватит до трех четвертей населения королевства. Это почти двадцать миллионов человек. Почти весь интеллектуальный потенциал преображенного человека переориентирован на создание коллективного интеллекта, каковой интеллект, как вы все понимаете, полностью совместим с интеллектом противника…

И все это было в отчетах, подумал Гэбрил, и наблюдатели сидели там и все видели — в общем, здорово мы работаем. Умно, главное. Тесты отрицательные — значит, все в порядке. Что-то есть в этом от Провозвестников…

А как все было задумано, как начиналось! Гэбрил был мальчишкой, когда первый отряд добровольцев-сайров отправлялся в Далет, чтобы там противостоять «косной природе». Тогда все поголовно считали, что противник — «косная природа», для которой человек — инородное и раздражающее существо… Сайров знали в лицо, у них брали автографы, девушки гроздьями свисали с их широких плеч. Далет отстояли — хотя, похоже, вторжением там и не пахло, а происходили сложные, но вполне автономные процессы взаимоадаптации биосферы и техносферы. Вторжения начались позже…

— …только решительные преобразования в самой структуре Ордена! — от этих слов Джаллава Гэбрил вздрогнул, хотя и знал точно, что они прозвучат.

— Поэтому властью, данной мне, объявляю упраздненными все существующие ныне отделы, а их сотрудников — уволенными с месячным выходным пособием. Поручаю магнусу Зоунну сформировать команду «пси-лавверов», в которую он имеет право кооптировать любого сайра вне зависимости от прежнего звания и должности. Общая численность команды Зоунна — семьсот человек. Поручаю магнусу Ауэббу сформировать команду инструментальной дистант-разведки. Условия кооптирования те же. Численность команды — на усмотрение магнуса Ауэбба. Список представить сегодня. Бюджет и необходимое инженерное дооснащение — завтра утром. Интенданту Македу — сформировать группу инженерно-технического обеспечения. Составить список специалистов, не входящих в Орден, привлечение которых желательно. Срок исполнения — два дня. Бюджет неограничен. Доктор Штром, на вас — все медицинское обеспечение. Срок тот же. Моим заместителем по кадрам назначаю штаб-магнуса Манхолта, заместителем по оперативной части — медиуса Алексозо. Начальником штаба прошу быть штаб-магнуса Бари. Все, господа. Большой Круг распускается до окончательной победы, малые Круги будут проводиться по моему представлению. Всем спасибо. Прошу расходиться.

«Когда все утихнет, подойдете ко мне», — накануне сказал магнус Зоунн. Гэбрил, встав, озирался. Да, не похоже, что утихнет скоро. Голова квинтала — теперь, понятно, уже командира — Зоунна то показывалась над морем голов, то скрывалась. Можно пойти покурить и попить пива…

В кантине было шумно и нервно. Гэбрил, стараясь не прислушиваться к разговорам, взял две кружки у пивника — это было много дороже, чем в автомате — но без толпы, — подал серебряную бумажку, вместе со сдачей получил знак сочувствия и сожаления и возразил знаком «у меня все прекрасно». Пивник, не поверив, поднял брови, и тогда Гэбрил сказал словами: «Я уже устроился». "Поздравляю, господин Ксимен, — сказал пивник.

— В прежней должности?" Гэбрил кивнул, взял пиво и отошел к незанятому еще концу стола — у самого подоконника.

На самом деле это было не окно — кантина, как и большинство помещений Базы, находились под землей — а голо, снятое неизвестно где и неизвестно когда: пологий, уходящий вниз склон, роща в виде клина, лежащая между холмами, а справа, чуть видные за выпуклостью склона, укутанные пышными плодовыми лозами — темно-красные высокие крыши. Гэбрил не знал, да и не интересовался, истинный это пейзаж или синтезированный, а если истинный — то записан или транслируется. Могло быть все, что угодно, и ничего от этого не менялось и не зависело. Даже приметы сайров не были связаны с пейзажем в окне кантины — хотя по части примет сайры были недосягаемы. Вот сегодня, скажем, за окном шел дождь…

— Привет, Гэб, — сказали рядом, и Гэбрил оглянулся: это был дистантник Айз Топ-Ворош, в общем, полузнакомый щуплый узкоплечий парень в перекошенных старообразных очках и с ранней сединой в длинных, до плеч, прямых волосах. — Что, уже обмываешь удачу?

— Привет, — откликнулся Гэбрил. — О какой удаче ты говоришь, птица? — Птицами звали дистантников — по эмблеме на рукаве. Пси-лавверов в трепе называли «скачками».

— То есть как? — удивился Айз. — Ты что, еще не знаешь? Тебя же назначили квинталом. Это скачок, это я понимаю!

— Боже правый… — Гэбрил почувствовал, как его брови задираются вверх.

— С тебя кружка — за радостную весть, — сказал Айз.

— Бери, птица, теперь мне из нее не пить, — Гэбрил придвинул к нему одну из своих. — А у тебя-то как дела?

— Начинаю просаживать выходное пособие.

— Вот как… Извини. А почему?

— Я, видишь ли, арборей. Теперь это не в почете.

— И из-за этого?..

— Как же иначе?

— Н-не знаю… Я думал… ну… это разные взгляды, не более…

— Я до некоторых пор тоже так думал. Знаешь что, Гэб… тебя ведь пошли искать, ты там нужен… давай вечером обо всем этом потолкуем? Часов в десять? У меня накопилось кое-что… будет жаль, если пропадет. Заходи. Зайдешь?

— Хорошо, птица, жди. Но, если опоздаю, не теряй. Все равно приду.

Гэбрил осушил начатую кружку, сунул ее под крышку стола на ленту транспортера, кивнул Айзу и пошел к выходу из кантины, проталкиваясь сквозь густеющую массу ставших внезапно безработными сайров. На лифтовой площадке остановился, стараясь угадать, какой лифт придет первым. Кажется, этот… Клавиша вызова светилась красным, Гэбрил, думая о чем-то, смотрел на нее — и вдруг почувствовал, что не может отвести взгляд. Сделав над собой усилие, он рванулся, но свет не отпускал, держал вязко и цепко, потом потянул к себе, к себе… Краем глаза Гэбрил увидел, что открывается дверь прибывшего лифта, кто-то выходит, он шагнул в дверь — и стал падать в бездонную шахту, полную багровым клубящимся светом, лицо опалило встречным жаром, а потом вдруг оказалось, что он лежит на чем-то мягком, вокруг полумрак и движение теней, и кто-то сказал: эй, как ты себя?.. Парни, сказал Вито, до чего же мне паршиво, ну, еще бы, отозвался кто-то — Томаш? Томаш, это ты? Я, конечно, кто же еще… Ребята, дайте глотнуть чего-нибудь, Стас, ты там ближе всех, достань, где это мы? Едем, едем, на чистое место едем, остались чистые места, пей вот, коньяк, да я воды просил, ну, да ладно, сойдет и коньяк… Ноэль, ты зафиксировал режим, обижаешь, начальник, работа такая сволочная — обижать, знаешь, старик, сколько мы с тобой мудохались? Трое суток! Трое? Трое, трое, ты хоть помнишь что-нибудь? Вито сосредоточился. Помню. Да, помню. Слушайте, я же все помню! Я все помню!!!

**МИКК**

— Пожалуйста, — санитар выложил на стол бумажник, жетон детектива, удостоверение личности, зеркальце, расческу, ключи и горсть мелочи. — Пятнадцать динаров мы удержали за чистку и ремонт одежды. Остальное все здесь. Чувствуете вы себя хорошо? Вызвать такси, или вы желаете воспользоваться больничной развозной машиной?

— Я позвоню другу, — сказал Микк.

— Телефон на стене, — сказал санитар. — Бесплатный.

— Спасибо…

В голове у Микка шумело, как в раковине, приложенной к уху… смешно, в ухе есть улитка, в ней тоже шумит море, то есть раковина приложена к уху изнутри, а снаружи тоже есть раковина, ее так и называют: ушная раковина, следовательно, мы должны слышать шум моря постоянно, а мы почему-то не слышим… и ноги слушаются плоховато. А номер, номер, номер… ага. Кипрос снял трубку после второго гудка.

— Привет, Кип, это я, Микк.

— Ты? — безмерное удивление в голосе.

— Да, я. Я в больнице, Кип, в этом, как его…

— В вытрезвителе?

— Нет, хуже. По кодонам… забыл.

— В гипнологии?

— Да. Так ты меня заберешь?

— Конечно. Жди.

Микк повесил трубку.

Ну, вот. Приедет Кип, все будет хорошо. Который же час? Половина четвертого… утра, наверное. А голос у Кипа свежий. Не спал еще. Вообще неизвестно, когда он спит.

Микк почувствовал вдруг на себе тяжелый взгляд санитара. Как странно: санитар вовсе не смотрел на него, перебирал себе бумаги на столе, вот вообще отвернулся и полез в тумбочку — а взгляд его, как бы отдельный от хозяина, сверлил, и сверлил, и сверлил голову Микка: затылок, виски, переносицу… От него нельзя было скрыться. Нашки, неуверенно подумал Микк. Нафаршировали всякой химией, вот и мерещится черт-те что…

Он сел на банкетку, прижался затылком к стене. Где-то в глубине стены еще сохранился холод — с тех доисторических времен, когда вечера и ночи были прохладны. Мягкой лапкой коснулся холод человека… Это было упоительно.

— Вы в порядке? — спросил санитар. Взгляд его на мгновение рассеялся.

— В порядке, — пробормотал Микк. — Еще бы не в порядке…

Еще бы не в порядке, подумал он про себя, из головы выдрали здоровенный кусок чего-то и заморозили так, что не понять и не почувствовать, что же именно выдрали, и это называется порядок…

— Развозная машина будет через полчаса, — сказал санитар.

— Пусть, — сказал Микк.

Минут через десять снаружи зашуршали шины, скрипнули тормоза — остановилась машина. Микк с трудом открыл глаза: через дверь проходили Кипрос и с ним какая-то незнакомая девушка. Смотреть было больно, веки запеклись. Микк сглотнул. Глотать тоже было больно. Заболеваю, что ли?..

— Вот он ты где, — сказал Кипрос. — А я сначала заехал к военным, на площадь Элентроп. Вообще-то там сегодня прием…

— Сударь был доставлен на попутной машине добрыми гражданами, — со своего места пояснил санитар. — Понятно, что мы не могли отправить его в другую больницу, не оказав помощи.

— Спасибо, — сказал Кипрос.

— Это наша работа, — сказал санитар.

— Увези меня, — шепотом сказал Микк. — Я не могу больше…

Он сам не знал, чего он больше не может.

— Но ты в порядке? — с тревогой спросил Кипрос.

— Да, да. Только увези. Здесь мне… не могу я здесь…

— Ему нужно выспаться, — сказал санитар. — После этого все немного не в себе, всем надо выспаться. Часов двенадцать…

— Понятно, — сказал Кипрос. — Пойдем, что ли.

Машина была не его. Микк вздрогнул, когда понял это, и расслабился, когда увидел, что за руль садится девушка. Некоторое время казалось, что пристальный взгляд санитара проникает и сюда, через дверь, через пространство улицы, через металл и стекло машины. Потом это прошло. Заурчал мотор, машина тронулась.

— Извините, сударыня, мы незнакомы… — начал Микк, и Кипрос похлопал его по колену:

— Знакомиться будешь завтра. Вообще ее зовут Флора. Она племянница Агнессы.

— Понял. Значит, твоя будущая… — Микк задумался, вспоминая степени родства.

— Агнесса пропала, Микки. Я тебя искал вчера и сегодня, хотел, чтобы ты занялся поисками.

— Господи, Кип… Когда?

— Дней пять назад.

— А это не… как раньше?..

— Боюсь, что нет. На этот раз — нет.

— Хорошо, Кип. Я буду ее искать. Добудь мне только что-нибудь просветляющее: декседрин, эфедрин…

— А просто много кофе не пойдет?

— Нет. Калибр не тот.

— Ладно, добуду. И?..

— Еще нам будет нужен Ноэль.

— Это сложнее. Я пытался его найти.

— Повторим попытку. Нужно, чтобы он мне вправил мозги. Я ведь понял — все — про исчезнувших… но с этими делами… — он кивнул назад. — Все как в киселе.

И тут на секунду — отдернули штору. Микк сам не знал, что увидел за ней, не успел разобрать, понять, почувствовать — но жутковатое осознание прямой повторности происходящего легло на душу…

— Ты что так смотришь? — слегка испуганно спросил Кипрос.

— Н-ничего… — сквозь болезненный спазм в горле выдавил Микк. — Уже прошло…

**ЛОТ**

Дверь открылась, и из темноты коридора кто-то сказал: пойдемте. С готовностью — и злясь на себя за эту готовность — он встал, обулся и пошел следом за позвавшим его. Проходя мимо зеркальца у двери, бросил взгляд и остался доволен. В зеркальце был толстый тупой заспанный идиот. Голова все еще кружилась, зеленая муть не осела. Вчера его чем-то кололи, долго не могли попасть в вены, о чем напоминает бинт на левом локте…

— Сюда, пожалуйста, — сказал провожатый и открыл перед ним железную дверь лифта.

Это был очень старый лифт, даже без кнопочной панели, управляемый рычагом: вверх-вниз-стоп. Лот смутно помнил, что уже ездил в этом лифте.

— Повернитесь лицом к стене, — попросил провожатый. — Не смотрите пожалуйста…

Лот встал так, как просили. Скрежетнул рычаг, пол чуть-чуть надавил на пятки. Лифт поднимался очень медленно, производя всевозможные звуки. В частности, пощелкивая клиньями. Лот насчитал двенадцать щелчков. Значит, шесть этажей от того, где была его каморка. Рычаг снова скрежетнул, лифт задергался и остановился.

— Сюда, прошу вас, — провожатый, выпустив его из лифта, показал рукой. Короткий, освещенный медными бра коридор, зеленая ковровая дорожка, уходящая под зеленые портьеры… Они пошли по дорожке, Лот впереди, провожатый на полшага сзади и справа, шагнули под портьеры. Там было светло, слишком светло, неистовый свет снаружи прорывался сквозь жалюзи, и Лот, глаза которого за эти дни привыкли к очень умеренному освещению, зажмурился — но успел увидеть двух мужчин, вольно сидящих в тяжелых старинных креслах, и узнать одного из них…

— Господин Бенефициус, — сказал его провожатый странным тоном, и Лот напрягся, ожидая продолжения, но продолжения не последовало, и он понял, что провожатый формально представляет его. Будто они не знают… Сквозь ресницы Лот видел, как мужчины встают ему навстречу.

— Очень приятно, — сказал один из них, помоложе, крупный, крепко сбитый. — Я — майор Брауде. А это — профессор Меестерс, доктор наук. Присаживайтесь.

— Я слушал ваши лекции, профессор, — сказал Лот почтительно.

Меестерс сделал вид, что улыбнулся:

— Поэтому я здесь.

— Садитесь, садитесь, — майор без усилий подкатил и развернул третье кресло. — Амо, принеси нам что-нибудь этакое… Вы курите, господин Бенефициус?

— Нет, — сказал Лот.

— И пьете мало и редко, — кивнул майор. — И никогда не использовали наркотики, правда?

— Н-ну… в общем, да.

— Когда-то пробовали, и это не доставило удовольствия?

Лот кивнул.

— Вот видите, профессор, — майор улыбнулся, — наш человек!

Меестерс продолжал молча рассматривать Лота. Лот изобразил смущение — благо, это не потребовало усилий.

— А я вас помню, — сказал, наконец, Меестерс. — Вы были старше остальных студентов… сколько вам было?

— Лет двадцать шесть… или двадцать семь? Двадцать семь, кажется.

— Да, наверное… И ходили еще с такой смуглой девочкой, похожей на турчанку…

— Она и была турчанка. Лия Хамди.

— А почему печальный оборот: «была»?

— Я слышал, что она умерла где-то в провинции…

— Это ложные известия.

Лот внимательно посмотрел на него.

— Вы хотите сказать?..

— Совершенно верно. Слух о смерти госпожи Лии Хамди был распущен по моему поручению. Она жива и пребывает в добром здравии, хотя и вынуждена носить пока другое имя. Хотите встретиться с ней?

— Это… возможно? — Лот сглотнул.

— Возможно.

За портьерой раздались шаги, и Лот стремительно обернулся — но это был приведший его сюда, по имени Амо, кажется — с подносом в руках. На подносе были ваза с виноградом, высокая бутылка и три бокала. Амо поставил поднос на низкий столик и стал заниматься сервировкой. Лот разочарованно отвернулся.

— Господин Бенефициус, — спросил майор, — а почему вы в таком солидном возрасте решили стать студентом?

— В армии я был санитаром, — сказал Лот. — После армии поступать в университет не решился, пошел в училище — на субалтерна. Два года потом отработал на скорой, там меня и уговорили — добирать образование.

— В армии — в каких войсках служили?

— В пехоте.

— Это были годы?..

— Восемьдесят первый — восемьдесят второй.

— Номер части помните?

— Четырнадцатая отдельная мотопехотная бригада, шестой батальон, первая рота. Командир роты капитан Счастный.

Майор нагнулся вперед и, глядя Лоту в глаза, тихо спросил:

— Капери?

— Капери, — сказал Лот. — Вернее: деревня Розум, у федерального шоссе номер четыре. А весь участок бригады…

— Не надо, мы знаем, — перебил Меестерс. — Неужели вы так все помните?

— Так? — переспросил Лот. — Так может помнить кто угодно. Вы не представляете себе, как я помню… Вы там были?

— Да, — сказал Меестерс. — Только с другой стороны. Внутри кольца.

Лот обнаружил у себя в руке бокал с вином и отхлебнул глоток. Вино было слишком сладким.

— Тогда вы все это знаете…

Меестерс задумчиво покивал:

— Да, если не все, то многое… Господин Бенефициус, я хочу спросить вас еще вот о чем: теперь, двадцать с лишним лет спустя вы, человек со специальным образованием, с опытом работы… как вы интерпретируете те события?

— Я не хочу… — Лот сглотнул, — говорить об этом…

— Если вы опасаетесь за свою безопасность, то зря, — сказал Меестерс.

— Ничто вам не угрожает… кроме того, что угрожает всем нам…

— Причем тут это? — начал Лот — и вдруг увидел глаза майора. Глаза были белые. На белом лице.

— Не хочет говорить, — прошептал майор. — Никто не хочет говорить. Остаться чистеньким. Не опоганиться. И ничего не нужно больше. Все такие. Себя поберечь. Только себя…

— Спокойно, Дитрих, — сказал Меестерс. — Человек имеет право.

— А я — человек? Я — имею?

— Я тебе говорю — успокойся. Нервы еще понадобятся.

— Извините, — буркнул майор. — Вы тоже извините, — повернулся он к Лоту. — Устал.

— Я не могу сразу, — сказал Лот. — Поймите: я всю жизнь запрещал себе…

— Ладно, поговорим о приятном, — сказал Меестерс. — Или, может быть, вы хотите спросить о чем-нибудь нас?

— Вопрос у меня, собственно, один: кто вы такие и почему меня держите под замком?

— Это называется о приятном, — сказал Меестерс. — Ну, во-первых, с этой минуты вас под замком уже не держат: можете встать и идти.

— Вот так прямо?..

— Да, конечно. Амо выпустит вас. Когда вы доберетесь до обитаемых районов — уже ваша проблема. Впрочем, это не так трудно.

— Понятно. Может быть, скажете мне, где мы находимся?

— В Старом порту. Гостиница «Золотая наяда». Теперь вы знаете практически все… но ответьте: нет ли у вас желания пережить все то, что было двадцать лет назад — но в большем масштабе?

— В Капери и окрестностях было восемьдесят тысяч человек, — сказал майор. — Здесь в зоне возможного карантина — миллионов десять.

— Так… — Лот закрыл глаза. — Это точно?

— Что?

— Насчет… повторения?

— По крайней мере, существуют очень серьезные опасения, — сказал Меестерс.

— Мой доклад от мая этого года вы читали?

— Нет. Какой доклад?

— Я подал доклад в Министерство природы…

— Не читали. О чем был доклад?

— О том, что численность мутирующих форм в регионе нарастает по экспоненте… — Лот приподнялся. — Дома у меня есть запись.

— Каков мутагенный фактор, по вашему мнению? — Меестерс подался вперед, глаза его сверкнули.

— Может быть, это прозвучит дико… Мне кажется, это вирусный перенос чужеродных генов. Насколько я знаю, такой механизм применяется при генно-инженерных операциях; здесь мы имеем природный аналог.

— Вот! А теперь — пожалуйста — попробуйте вспомнить — как это пришло вам в голову?

— Ну, это было давно… Я как раз заинтересовался работами по генному инженерингу, шла речь о выведении насекомых, которые уничтожали бы промышленные отходы… но из этого, кажется, ничего не получилось. И задумался — а не работает ли такой механизм в природе? Стал искать…

— И нашли.

— Да. Похоже, что нашел.

— То есть не было этакого гениального озарения?

Лот покачал головой.

— Скажите, если не секрет, — тихим голосом начал майор, — зачем вы пытались украсть из больницы ту девушку?

— Не секрет, — стараясь говорить небрежно, ответил Лот. — Хотел проверить еще одну идею.

— Какую?

— О природе фобического шока.

— Если можно — подробнее.

— Тоже — из безумных… Перенос генов — это, как понимаете, побочное действие вируса, оно проявляется только в потомстве. Я подумал, что одним из проявлений прямого действия может оказаться этот самый фобический шок…

— Вам понадобился свеженький экземпляр…

— Да.

— …и вы, презрев должностные инструкции…

— Совершенно верно.

— Хватит, Дитрих, — сказал Меестерс. — На сегодня достаточно. А вас, доктор, — он улыбнулся, — я прошу пройти в лабораторию. Там мы поговорим еще — более предметно. Возражений у вас нет?

— Вы, вообще-то, так и не сказали мне, с кем я имею дело.

— Формально — с ведомством научной разведки при Министерстве обороны. Фактически — лично со мной, — Меестерс изобразил поклон. — Я гарантирую вам полную научную независимость. Оклад — какой назовете. А главное… — он помолчал. — Я подозреваю, что нет ничего важнее того, чем мы занимаемся сейчас.

— Извините, профессор, — сказал Лот. — Я боюсь, что моя квалификация…

— Помимо всего прочего, — сказал Меестерс, — помимо квалификации, образования, таланта, черт возьми… есть что-то еще. После Капери я перестал пить и курить. И Дитрих — так и не начал. Ему там было двенадцать лет. В общем…

— Я, кажется, понимаю, — сказал Лот.

— Тогда пойдемте. Это в другом здании…

**НИКА, ИЛИ АННАБЕЛЬ**

Господи, только бы он жил! Только бы жил! Что еще надо сделать? Я сделаю все. Я смогу. Только бы жил! Хоть бы был день. Днем не так страшно. Днем почему-то проще. Как я устала. Силы берутся откуда-то, но это не мои силы. Моих не осталось. Я устала. Берт его держит. Просто держит руками, чтобы он не ушел. Сердце останавливалось дважды. Рана страшная — пройдет кулак, — и все разорвано внутри. Берт держит. Генерал жив. Мой генерал. Сейчас, сейчас. Как медленно срастается все. Я делаю, не зная, что делаю. Как называется. Но кровь уже не вытекает наружу. Он дышит — с трудом, но сам. И Берт — держит. Держит. Я знаю, чего это стоит. Мы сможем. Скорей бы утро. Темень убьет меня. И пот. Глаза съел пот. Не думать. Все там, в ране. Осталось мало. Края. Грязь выйдет сама. Вот так. Сколько ее. Задышал легче. Глубже. Хорошо. Еще грязь. Скопилась. Берт, уже лучше. Расслабься. Сделай, чтобы он просто спал. Помоги закрыть. Просто сведи руками и держи. Вот так. Больше ничего. Скоро, Берт. Несколько минут. Несколько минут. Держи. Не отпуская. Держи. Сейчас. Сейчас. Сейчас. Сей…

Все, Берт.

Можешь убрать руки.

Можешь убрать.

Убери руки.

Ну, что ты. Вот так. Понемногу. Одну. Другую.

Ляг, Берт.

У нас все получилось.

Я тоже лягу.

Мы спасли его, Берт. Слышишь? Мы его вытащили. Он живой. Он дышит. Он пойдет дальше. Нужно только отдохнуть.

Не знаю, где мы.

Плевать.

Найдемся.

Бернард сторожит.

Невидимы. Да, невидимы.

Скорей бы день.

Господи, как я устала…

**ВИТО**

— Хорошо, — неторопливо, как и раньше, произнес Томаш. — Тогда скажи, пожалуйста, какова вероятность того, что на пустом перекрестке в твою машину втыкается другая, причем в этой другой на заднем сиденьи лежит человек, которому ты нужен до зареза? И при этом оказывается, что он владеет информацией, нужной до зареза нам? И, больше того…

— О, черт! — Ноэль рубанул кулаком по воздуху. — Да я тебе то же самое пытаюсь втолковать, только другими словами!

— Но ведь ты не станешь утверждать, что столкновение это кем-то подстроено?

— А почему, собственно? Именно подстроено.

— Кем?!

— Этими… Вито, как они называются?

— Сайрами, — подсказал Вито.

— Вот именно. Сайрами. Очаровательное название.

— Ребята, — сказал Томаш, — мне кажется, вы поймали зелененького. Провериться не желаете?

— Два-ноль, — сказал Ноэль.

— Ну, друг… — Томаш разочарованно пожал плечами. — Если только для этого…

— Знаешь, Том, — сказал Вито, — хотя наш общий друг и показал тебе сейчас носик, но: по существу он прав — на мой, конечно, взгляд, — а кроме того, с тобой трудно разговаривать всерьез — стало трудно. Уж очень постная у тебя морда после столиц. Так что я предлагаю гол не засчитывать и считать предположение серьезным.

— Что — насчет сайров?

— Угу.

— Тогда я ничего не понимаю. Ведь это же был кодон, галлюцинация. Комбинация былых впечатлений…

— А история нашего нового друга Микка тебя не настораживает?

— А какое отношение?.. — начал было Томаш, замолчал — и задумался.

Вито подмигнул Ноэлю, взглядом показал на дверь, и они вышли, оставив Томаша размышлять. Вряд ли он это заметил.

В большой и пустой гостиной — почти зале, впору устраивать танцы — развернули два стац-эрма и весь вспомогательный комплекс. Эрмы работали пока в беспилотном режиме, прочесывая сеть в поисках источников материала «черного шара». Стас и Вильгельм сидели спина к спине и смотрели, не мелькнет ли что-нибудь интересное. Прочесывание, по сути, только началось, ждать настоящих результатов было рано. Кое-что эрмы взяли на заметку, бледные разноцветные шарики пульсировали над столом проектора. Вот когда они сведутся в точки, когда между ними пролягут линии — тогда наступит черед пилотов. А пока… пока нужно запастись терпением.

— Ты знаешь, — сказал Ноэль, — все это, конечно, смешно, но если меня еще немного подкачать, я взорвусь.

— Слушай, а этот твой приятель… — начал Вито.

— Он мой друг, — перебил Ноэль.

— Друг, — согласился Вито. — Что мы будем с ним делать?

— Что ты имеешь в виду?

— Не ершись. Друг моего друга — мой друг. Дело святое. Вот я и спрашиваю…

— Куда спешить? — Ноэль помрачнел. — Ты лучше меня знаешь, что такое Штольц-Гусман. Я сделал ему белый релакс, пусть отдышится. Ведь — просто напинали по мозгам. Гады. Это, кстати, в ту же копилку. Не зря же нас не допускают к обвалившимся.

Вито кивнул: не зря. Значит, что-то мы могли бы из них наковырять. Но что? Он уставился в стену. Красивые здесь стены… и вообще повезло с домом, мог подвернуться какой-нибудь склад, или подвал, или… странного для дерева палевого цвета панели, сложный и что-то смутно напоминающий узор волокон, темных и светлых: острова в бушующем море, безысходные лабиринты, осенний плющ на скалах…

— Давай-ка, пока он в релаксе, прогоним через него «пьяное эхо», — предложил Вито.

— Можно попробовать, — согласился Ноэль.

Комната на втором этаже, куда поместили гостей, была невелика и почти уютна. Хозяева, уезжая, забрали не всю мебель, и сюда удалось насобирать практически все, что нужно. Микк лежал на широкой кушетке, рядом с ним в плетеном кресле-качалке сидел Кипрос; девушка спала, свернувшись калачиком, на коротком диване. Компакт-эрм попискивал на полу, через маску-дисплей вводя в подкорку Микка бальзамирующие кодоны. Белый релакс был великолепным средством для лечения психических травм, но медики его не признавали, и вряд ли только по причине корпоративной неприязни к Корпусу… впрочем, и эрмеры далеко не все признавали его. В госпитале Корпуса, например, имели и использовали свою методику…

— Ты бы поспал, Кип, — сказал Ноэль. — Боюсь, что завтра…

— Я думал, — сказал Кипрос. — Я могу рассказать, до чего додумался. Но только взамен на гарантии, что вы меня не засадите в психушку.

— О психушке нам остается только мечтать, — сказал Вито. — Как о несбыточном и прекрасном.

— Поговорим, Кип, — сказал Ноэль. — Сейчас мы запустим одну забавную штучку…

«Пьяное эхо» было развитием знаменитого «детектора лжи», но служило для других целей. Компьютер выбрасывал слово, требовалось в ответ сказать другое. Отслеживались степень и характер ассоциативности, вегетативные реакции, скрытые или подавленные мышечные и глазодвигательные ответы. Результатом было составление схемы активных полей коры и некоторых подкорковых зон. В общих чертах это напоминало зондаж информсетей в поисках источников загрязнения.

Ноэль сменил маску-дисплей Микка на управляющие очки, приладил наушники и ларингофон. Несколько секунд лицо Микка было ничем не прикрыто. Вито передернуло: было противно видеть замаслившиеся, чуть прищуренные глаза в обрамлении погибельно-черных век.

Неразборчиво буркнуло в наушниках, и Микк тотчас отозвался.

— Жизнь, — хрипло сказал он.

Снова буркнуло.

— Холод, — сказал Микк.

— Предупреждаю, парни: все это в порядке бреда, — начал Кипрос. — Никакой точной информации у меня нет, так — слухи, обрывки… домыслы… Короче: где-то здесь, в Альбасте, была — а может, и есть до сих пор — лаборатория по принципиально новым типам биологического оружия. Абсолютного оружия. Суть которого вот примерно в чем: не убивать солдат противника, а заставлять их воевать на своей стороне. И даже не то чтобы воевать… Короче, враг — по нажатии, условно говоря, кнопки, — становится своим. А свои, естественно — все, как один… В общем, не знаю, как именно — в деталях — все это должно было выглядеть, но механизм был примерно такой: крупный — крупнее оспенного — вирус поражает мозговую ткань, сама болезнь протекает легко, ну, не в этом дело: дело в том, что помимо репродуктивной программы вирус вводит в клетку — в нейрон — еще и специальную программу, и по этой программе клетка делится, прорастают в заданных направлениях аксоны, дендриты — короче, создается дополнительная нервная сеть. В норме она себя никак не обнаруживает. Но по особому сигналу — активизируется, практически отключает сознание, человек становится восприимчив к непривычным для него раздражителям, ультразвуку, например… в общем, становится неким биороботом, готовым выполнять скрытно подаваемые команды. Я абсолютно уверен — правда, доказать не могу — что лет десять назад прошла серия опытов по созданию таких биороботов — правда, хирургическим путем — и они закончились успешно. Но у военных возникли трения с НБ. На какое-то время пришлось — ну, не законсервировать тему, но хотя бы сделать вид. Тогда и перенесли лабораторию сюда. И вот то ли во время перебазирования, то ли каким-то образом после — произошла утечка. Я думаю, порядка пяти лет назад. То ли этого не заметили, то ли не придали значения. А вирус оказался тропным не только к человеческой мозговой ткани… и вообще — мутировал… вирусы мутируют прекрасно… Короче: наш город — дома, подвалы, всяческие подземелья, канализация, свалки, пустыри, я не знаю — в общем, все, что угодно — все это стало одной огромной генноинженерной лабораторией. В роли скальпеля — тот вирус, в роли хирурга — случай… Микк принес мне двух десятиногих тараканов, которые обходятся без кислорода, живут в бензине и жрут стекло. Медленно, но жрут. В машине, пока мы ехали, он пытался рассказывать о них же — якобы они под всем городом прорыли ходы и проникают в дома, чтобы… чтобы жрать людей. А люди ничего не могут сделать, потому что все заражены, у всех в мозгах дополнительная схема, которая реагирует на этот тараканий запах и отключает сознание. Или вгоняет человека в шок. Или еще что-нибудь. Я слышал о желтых крысах, они не прогрызают норы, а способны просачиваться — буквально — в самые узкие щели. Новых мух видели все: очень деликатные, не пристают, но всегда держатся поблизости. Или этот мох на газонах… Так вот: ребята, которые сбацали все это, озабочены теперь, чтобы не полезла квашня из кадки. Про дополнительную нашу схему они знают на порядок больше нас. И знают, чем и как воздействовать на нее. И воздействуют. И поэтому мы почти не замечаем того, что происходит вокруг, и уж совсем — не боимся. Не общаемся ни с кем за пределами привычного круга. Супер, если бы это был не ты — хрен бы я мог что-нибудь сказать. Тебе — могу. Это пока сильнее. Может быть, только пока. Это карантин, ребята, и вместо колючки на столбах — электроды в мозгах. Причем такие электроды, которые не выдрать. А пока мы гуляем там, где можно гулять — они размышляют, как бы нас приморить без особого шума и без вони. Поэтому, парни, давайте прислушаемся сейчас к себе и скажем: может ли кто-нибудь из нас дать немедленно деру, а если нет — то почему?

— А где обещанный бред? — спросил Вито.

— До бреда дойдет, — пообещал Кипрос. — Так что? Слабо сбежать? Куда-нибудь в горы? Ладно, пропустим. Продолжаю: в девяносто седьмом году в Бразилии проходил длительный эксперимент из серии «земных звездолетов» — сбалансированная экология и прочее. Тогда впервые применили компьютерную систему оптимизации флоры: датчики собирали информацию о самочувствии растений, процессор ее обрабатывал, эффекторы производили необходимые действия: подкормку, поливку, облучение — в общем, все, что нужно. И замкнули систему на экипаж — по типу сенситивного управления телерамами: рама сама выбирает ту программу, которая обеспечивает наилучшее самочувствие и настроение хозяина. Ну, и там: все нацелено на то, чтобы экипажу было очень хорошо. Им и было очень хорошо, психологи руками разводили. Полгода они провели в этом биостате, а через полгода после выхода все четверо — их там четверо было — перемерли; кто-то из окна выбросился, кто-то от инфаркта — уже не помню подробностей. Можно не комментировать, да? Так вот, помимо всех прочих странностей, там была такая: все они вели дневники. По условному календарю. И у всех в этих дневниках было не по сто восемьдесят записей, как должно бы быть — по числу дней — а у кого на три, у кого на пять больше. Причем невозможно было понять, откуда взялись эти дополнительные дни, и даже четко вычленить их так, кажется, и не удалось.

— Я читал об этом, — сказал Вито.

— Короче, эта сбалансированная биосфера, стремясь сделать ребятам приятное, стимулировала выработку эндорфинов и, возможно, аутогенных галлюциногенов. И у ребят возникала какая-то мнимая реальность, в которой они жили, как в обычной, первой…

— И ты хочешь сказать… — начал Ноэль, но Кипрос перебил:

— Да. То же самое. Только в масштабах города — и с отягчающими факторами.

— Вряд ли это самое страшное, что может произойти, — сказал Вито.

Кипрос набрал в грудь воздуха, чтобы достойно ответить, но не успел — Ноэль обнял его за плечи.

— Расслабься, Кип, — сказал он. — Ты связался с эрмерами, а эрмеры — люди простые, грубые, гипотез не измышляют… Понимаешь, какая штука: материал, с которым нам приходится работать, позволяет резвиться, как хочешь — в поисках объяснения. Объяснение обязательно найдется, полное, универсальное, может быть, даже изящное… Но если ты в него поверишь, то тебе тут же подвернется нечто такое… понимаешь, да? Мы поначалу очень объяснениями увлекались, и все об это как следует стукнулись: и Вито, и я… нам хорошо, мы хоть живы остались. А был у нас такой Сихард, талантливейший парень… вот. Пытался проверить свою теорию…

— Подождите, ребята… — Кипрос помотал головой. — Ноэль, ты что — хочешь сказать, что вы не пытаетесь объяснить… все это? Не верю.

— Давай я скажу, — Вито тронул Ноэля за локоть. — Видишь ли, Кип, мы имеем дело с чем-то, на сегодняшний день объяснения не имеющим. Одна закономерность, впрочем, известна: если связно сформулировать какую-нибудь гипотезу и начать ее проверять, то сначала она получит блестящее подтверждение, а потом будет начисто опровергнута. И опровергнута, как правило, шумно и грязно. Понимаешь, почему мы не проявляем энтузиазма?

— Хотя, естественно, в анналы мы все, что ты сказал, занесем, — усмехнулся Ноэль. — У Вильденбратена, помнишь: «Жизнь, конечно, имеет смысл, но человеку он недоступен»? Вот что-то подобное и в нашем деле.

— Знаешь, как в Корпус отбирают? Тебе Ноэль не рассказывал? — Вито зашарил по карманам в поисках сигарет. — Всякие предварительные проверки — это чепуха. Главный тест — на стрельбище. Мишени движущиеся, управляются якобы компьютером… то есть и компьютером, конечно. Но главный фокус в том, что когда ты прицелился и давишь на спуск, срабатывает датчик, на мишень подается сигнал — и она или прячется, или отходит в сторону… Короче, все сделано так, что попасть ты в нее не можешь, но на то, чтобы сообразить — времени тебе не отпущено… плюс всяческие шумовые эффекты. Короче, если ты истратил больше двух патронов, эрмером тебе не быть. В идеале — ты должен вообще ни разу не выстрелить. Хотя объявленная цель — поразить десять, что ли, мишеней. Понимаешь?

— Кажется, да… — медленно сказал Кипрос.

— Томаш расстрелял все патроны сразу и попросил еще, — сказал Ноэль.

— Это чтобы ты не думал, будто мы суровые догматики.

— Томаша мы любим не за это, — сказал Вито. — Томаш — это особая статья.

— Статья расходов, — уточнил Ноэль.

— Ладно, можно меня не убеждать, — сказал Кипрос. — Я рассказал — вы услышали. Может, пригодится.

— Пригодится, дружище, — сказал Вито.

— Микки, слушай меня внимательно, — глядя Микки в глаза, заговорил Ноэль. — Я нашел, что именно тебя беспокоит. Тебе довольно грубым способом загородили доступ из долговременной памяти в сознание. Это, собственно, и есть цель методики Штольца-Гусмана. Я разобрался в их кодировке и могу этот барьер убрать. Давай сейчас без эмоций подумаем, следует ли это делать. Там, за барьером, память о том, что происходило не в действительности — а в так называемой мнимой реальности. Возможно, конечно, вместе с этими оказались и какие-то необходимые сведения…

Микк поднял руку ладонью вперед.

— Это я все знаю, — сказал он. — К тому же барьер этот не сплошной, что-то через него проходит — короче, я имею представление, чего именно я не помню. Это важное, — он голосом подчеркнул: важное. — Так что… давай.

— Ладно, — сказал Ноэль, поднимая гипноген. — Смотри сюда.

Вито отошел на два шага и встал, слегка сгорбившись, опустив чуть согнутые в локтях руки — готовый, в общем, ко всему…

**ТАТЬЯНА**

Топили на огне воск и лили в воду — плошку за плошкой. Воздух был тяжелый и сырой. Керосиновый чад плыл по ногам. Нити сажи тянулись с потолка, колебались и вздрагивали. Кто-то бубнил в углу. Мерзли пальцы.

Слабый свет раннего утра дрожал в высоком окне.

Леониде помогал Куц — Куцый, как звали его в школе, в этом году он ее закончил и, напуганный исчезновениями одноклассников, не поехал, как собирался и заранее хвастался, в Ленинград, в какое-то там особое училище рисования, а просидел пол-лета на берегу с планшетом и цветными карандашами. У Леониды он брал книги и разговаривал часто и подолгу и с ней, и с Фомой Андреевичем — и после этих разговоров во взгляде его появлялось превосходство, и за это Татьяна его не любила. Его вообще мало кто любил. А вот теперь он, голый по пояс, обмотанный веревками, с медной на груди пластиной, помогал Леониде в ее малопонятном пока деле.

Дима крупно вздрогнул, задремывая, и Татьяна погладила его по голове, так уютно лежащей у нее на коленях. За эти странные сутки Диме стало намного лучше, и все-таки он еще слаб — ветром качает… и спит, каждый удобный момент — спит. Но тут почему-то все спят, даже Фома Андреевич, она видела: свернулся в уголке на телогрейке… и сама она — как все… Каменные стены позволяли чуть расслабиться.

Леонида тихонько запела, и Куцый ей вторил: голосом, без слов. Тихое это пение наполнило пространство. Звучал сам воздух. Ярче стал свет. Шевельнулись люди. Медленно сойдя в тишину, голос стих, и все улеглось, и люди замерли — уже в тревожном ожидании.

Да, теперь, наверное, уже скоро…

Незадолго до полудня, сказала Леонида. И поправила себя: полдень у нас — это примерно половина одиннадцатого. А незадолго — это, может быть, и за два часа…

Татьяна не слышала, как подошла Окса, наклонилась над плечом, шепнула: пойдем, велено помыться. Татьяна осторожно высвободилась из-под Диминой головы, подменила себя свернутым ватником, грустно и с нежностью подумала: вот будет разочарование у человека… Окса держала в руках сложенное в стопку упрессованное белье. Сама она его и шила вчера — по Леонидиным наброскам.

Мылись в темной каморке рядом, поливая друг другу ковшиком из кадки с теплой, почти горячей, водой — впервые за бог знает сколько дней. Татьяна, Окса и Марья Петровна, сорокаслишнимлетняя продавщица орсовского магазинчика — все три женщины отряда. Если не считать Леониды. Но Леониду было почему-то затруднительно числить и женщиной, и членом отряда. Она была отдельно от всех.

Вытершись, оделись: в просторные бязевые рубахи и мешковатые штаны. Все: горловина, рукава, штанины, пояс — затягивалось вязками наглухо, как кисет. Что ж ты, Ксюша, швы-то не заделала? — спросила недовольно Марья Петровна. Разлезется ведь… А, махнула рукой Окса, мой Васька как говорил: танк рашшытан на сорок минут боя, и усе. На раз надеть. Бог свят, перекрестилась Марья Петровна.

Леонида вновь тихо напевала, когда они к ней подошли. Окса шагнула первая, но Леонида покачала головой, посмотрела на Татьяну. Татьяна встала перед ней, развела руки. Хотелось закрыть глаза. Истонченное почерневшее лицо Леониды было страшно. Окуная пальцы в растопленный воск, Леонида медленными движениями стала наносить какие-то знаки на рубаху Татьяны. В местах прикосновений кожа съеживалась. Повернись, без слов сказала Леонида, и Татьяна послушно повернулась. Знаки легли на спину. Еще раз повернись. Горячий палец коснулся скулы, очертил линию над бровями, через другую скулу спустился у уголку рта, прошел под нижней губой, поднялся, замыкая линию. Татьяна была уже где-то не совсем здесь. Прикосновение к ушам, к ноздрям, жгучее движение между ног, жар в коленях, стонущая боль в кончиках пальцев — были уже не ее. Далекий шепот пришел откуда-то, коснулся глаз. Она видела теперь, что все вокруг состоит из слов, из незнакомых знаков, воздух распадается на знаки, некоторые вещи пропадают совсем, зато стены превращаются в страницы книги. Нимрод, прочитала она название главы, и заметалось эхо: Нимрод, Нимрод, Нимрод…

Та, что облачалась потом в ватные штаны и телогрейку, натягивала сапоги, укутывала голову шерстяным платком, мазала руки какой-то быстро сохнущей, стягивающей кожу дрянью, — была не она. Она лишь рассеянно следила за этими странными действиями и пыталась разобраться в письменах, из которых состояли стены.

И люди были письменами — перемещаясь и меняясь, они составляли все новые и новые фразы, слагающиеся в строки и строфы. Смысл их был ясен, но нельзя было сказать то же словами простого языка…

Бледный, как бумага, Дима — между черно-железным Архиповым и краснолицым Малашонком, матросом с застрявшего у лесоперевалочной пристани буксира, все в одинаковых белых бязевых рубахах и кальсонах, означали: бесконечность имеет размер — нет лишь способа измерения ее; с появлением же способа бесконечность обратится в свою противоположность, в ноль; точно так же нет способа определить, полон наш мир или недостаточен — и если появится способ, исчезнет мир… Как узнать, с какой стороны зеркала находимся мы?

Пение Леониды будило застывшие когда-то письмена, они обретали блеск и движение. Ртутными ручейками текли они по стенам, и из-под истекших выступали другие — древние и жуткие.

Как само время.

Год — эпоха. Четверть века — смена знаков. Три века — новый язык, а значит — новое все. Тысячелетие — мрак. Три тысячелетия — бесконечность. Шесть — возврат. Соприкосновение. Муки рождения и смерти. Возобновление царств.

Нет ничего в прошлом.

Прошлое родится заново — как оправдание настоящему.

Вспыхнет, как звезда, и остынет темными планетами-брызгами…

И не будет солнца в этом мире, ибо свет станет тьмой, а тьма — светом.

И ложь воплотится в тела и предметы, став истиной, а истины утратят имя свое.

И никто не скажет на белое — «это белое», а на черное — «это черное», ибо ни белого, ни черного не останется в том мире из этого, а то, что останется, назовут другими словами.

Одиннадцать, стоящие в ряд у стены, значат: сгустились тучи, и поднимается ветер. Небо темнеет от стрел. Дым полей застилает солнце. Враг, вышедший на брань, горд собой, и нет ему равного в схватке. Не увидят ушедших плачущие, и много сирот пойдет по дорогам, не в силах забыть тепло. Лишь к живущим жестока судьба…

Автомат странно мягок в руках.

**АННАБЕЛЬ**

Невидимые, они прошли мимо стражников, сонно обвисших на древках крестовидных копий. Похожая на желоб дорога уходила в седловину меж двух холмов, а за холмами лежало то, что Аннабель недавно видела сверху, посылая на разведку дымок, генерал и улан — в прежней службе, и только Берт еще не видел. Может быть, стоило бы это обойти, но нужны были лошади — а лошади там были. Лошади, упряжь, повозки. И лишь два солдата в белом.

Был резок свет раннего дня, безветрие угнетало. Над невообразимой пустошью Эуглека — сюда их вынесло из изнаночного мира — лишь начинали собираться плоские еще, похожие на шляпки от Кроллиана, облака на вершинах термиков. После полудня они набухнут, как грозди, прольются — или не прольются — дождем, прибивая тонкую пыль когда-то цветущей долины… Нежна была дорога под ногами.

Пронзительно стояла тишина.

Молча кружили впереди вороны.

Изогнулась трава на обочинах. Изогнулась и посерела. Оставшись живой.

Страшно хотелось пить.

Генерал был бел, как сама смерть, но шел, отказавшись от помощи, сам. Берт и улан лишь страховали его. Даже ранец он не отдал, как ни просили.

После полудня может собраться дождь.

Может и не собраться.

Боже, как глупо все. Как бездарно.

Привыкнув к скоростям, невыносимо перебирать ногами и делать вид, что движешься.

Пологий подъем незаметно перешел в пологий спуск, и открылся взгляду котлован.

А на секунду раньше — настал смрад.

Но — смрад, непохожий на смрад человеческих скоплений: такой она знала и не относилась к нему слишком нервно. И ее доля бывала в том, так стоило ли морщить нос? Нет, этот смрад напоминал почему-то о тех уровнях в логове Дракона, ниже которых их не пускали; или о дымных осенних вечерах на ферме Зага Маннерса, ее первого антрепренера. Или даже о парфюмерных фабриках Дэнниусов, там ей приходилось бывать…

Необозримое море тел открылось им.

Голубовато-бледные, голые, уродливые, тела лежали, или сидели, или бродили меж других таких же тел; ни осмысленности, ни тоски не было в этих перемещениях. Взявшись за руки — попарно, по трое, по четверо — исполняли медленные движения, как на репетициях танцкласса. И где-то в глубине этого моря, как остров, чернело пустое пространство, и в центре этого пространства, этого голого острова поднималась, похожая на росток бамбука, коленчатая башня. Ревматические сочленения ее светились красным, видимым даже днем светом.

Она была омерзительна.

Стократ омерзительнее голых и грязных тел, копошащихся у ее подножия.

Берт булькнул горлом. Аннабель покосилась на него. По серому лицу Берта катились крупные капли.

— Идем, — сказала Аннабель и сглотнула, сдерживая позывы к рвоте. — Бернард, завяжите глаза. Я думаю, нам тоже стоило бы завязать…

— Я смогу, дочка, — сказал генерал. — Кому-то надо видеть и глазами…

— Только не вам, генерал, — сказал Берт. — После этой ночки — нет.

— Это уж точно, — подтвердила Аннабель. — Ладно, не будем делать проблему. Пойдем с закрытыми глазами, надо будет — откроем…

— Ваше величество, я мог бы… — начал улан, но Берт похлопал его по плечу и молча покачал головой.

Аннабель уже закончила накладывать «кошачий глаз», когда заметила перемены в поведении людского теста. Там, ближе к башне, вдруг начались непонятные мелькания, рябь, обозначился такой вот рябящий круг — с два футбольных поля, не меньше — и в круге этом рябь все усиливалась, все убыстрялась, а потом вдруг кажущееся сплошным полотно тел лопнуло, разошлось на отдельные полосы, и полосы эти побежали от границ круга к центру, пересекаясь под углом и образуя острый клин, все увеличивающийся и темнеющий, и вдруг стало понятно, что в этом клине люди стоят, или лежат, или что еще делают? — не в один, а в два, в три, в четыре слоя, и все новые волны набегают на него, увеличивая, увеличивая, увеличивая толщину этого страшного месива… А через миг клин задрожал, как желе, расплылся — и распался на мельчайшие пылинки, и там, где следовало ожидать увидеть груды раздавленных, изувеченных тел, не оказалось ничего… Серая земля.

— Может, все-таки лучше обойти? — неуверенно сказал Берт. — Попадем в такую давильню…

— Не обойдем мы, — сказала Аннабель. — Лучше и не пытаться.

Она не смогла бы описать то, что видела и чувствовала в своем развоплощенном полете, но все ее новые знания и инстинкты буквально кричали: не подходить! Не трогать! Даже не смотреть пристально на это!..

Похоже было на то, что вся странная, нечеловеческая магия гернотов воплотилась в мертвых почерневших деревьях, низких каменных лабиринтах, стелах из красного кирпича и выдавленных в земле, как в сургуче, печатях с неразборчивыми письменами.

Не темным, неразборчивым и злым веяло от них — нет: четким, холодным, выверенным, бесстрастным, мертвым — мертвым и обращающим в мертвое просто по природе своей. Аннабель с высоты смотрела вниз, видела черные деревья, стелы из красного кирпича и выдавленные в земле печати, но сквозь все это проступало и исчезало тут же то бронзовое сочленение, то стальные жвалы, то ажурный скелет крыла, то фасетчатый глаз…

— Только прямо, — тихо сказала она. — Без паники. И ни во что не вмешиваться…

Аромат истлевших, раздавленных цветов принял их в себя. Он пьянил, как светлое вино, и отнимал часть веса, как вода. Идти было легко, труднее — держать равновесие. Край людской толпы был близок, но приближался как-то слишком медленно — медленнее, чем они шли. Будто кто-то невидимый подбрасывал на дорогу лишние футы.

Потом, как из тумана, на земле поперек пути проступила красная полоса. Аннабель подошла к ней и остановилась. Справа и слева подошли и остановились спутники. Полоса — точно такая же — появилась бы, если бы сквозь щель на землю падал резкий и яркий чистый красный свет. В ней было около шести футов ширины. Можно было тронуть ее ногой или острием меча или присесть и протянуть руку — но Аннабель знала уже, что не будет этого делать. Прыгнуть — пожалуйста. А дотрагиваться… Пусть пьяные ежики дотрагиваются.

Если посмотреть глазами… Она открыла их и тут же закрыла, ошеломленная. Будто вихрь горящих бабочек налетел на нее. Нет, глазам здесь делать нечего…

А как же тогда улан?

Чуть позже. Сначала — самой.

Она отошла на три шага, разбежалась и прыгнула.

Это был странный замедленный прыжок, почти полет, растянутый на долгие секунды, и можно было успеть посмотреть по сторонам, и вперед — и выбрать место приземления, и вниз — просто из любопытства…

Бездонная пропасть, прикрытая полузеркальной пленкой, проплывала под ней. Никогда еще не-зрение не обманывало ее, может быть, не обманывало и на этот раз. Она, не отрываясь, смотрела на утесы внизу, на скальные обломки, на далекие тонкие пики, на уходящие все ниже и ниже ступени террас и карнизов, на багровое зарево, подсвечивающее оттуда, снизу, прикрывающую пропасть тончайшую пленку — а потом, будто кто-то щелкнул выключателем, она видела уже лишь отражение в этой пленке и не видела ничего кроме… Большой и полный человек, держа ее за руку, вел за собой, безвольную и вялую, по длинному коридору с бесконечным рядом окон с одной стороны и бесконечным рядом дверей — с другой. Квадраты солнечных отпечатков лежали на полу, готовясь перебраться на стену. Они шли, и шли, и шли, молча, обреченно, никуда уже не торопясь, и за их спинами открывались, и открывались, и открывались двери, и что-то выходило из дверей и шло следом, пристально глядя в затылок…

Аннабель коснулась ногами земли и тут же обернулась.

Да, с этой стороны пропасть была видна, и было видно, до чего же она широка. Не выше оловянных солдатиков, стояли на том краю ее спутники. Вот Берт и улан, отступив на несколько шагов, разбежались и прыгнули разом. Улан оттолкнулся сильно, с запасом, и теперь уходил в высоту, почти в зенит, уменьшаясь и теряясь из виду. Берт, наоборот, плыл над самой закрывающей пропасть пленкой, руками и ногами делая медленные движения — как снятый рапидом бегун, разрывающий финишную ленту…

Медленно. Медленно. Не верить ничему. Ничего нет. Есть только земля под ногами. Есть то, что надо обойти, и есть те, кто идет за тобой. Ни вправо, ни влево не ведут никакие дороги. Нет лестниц вверх и ходов вниз. Нет пути назад. Лишь вперед — как по ущелью. Тупое спокойствие. И — медленно, медленно, медленно. Игра на скрипке. Чародейский вид. Литые башни без проникновения. И окон нет…

Не-зрение утрачивало власть.

Безумное стремление остаться. Безумное втройне, нет — вчетверне. Загадочная книга прорицаний… Где провозвестник высших архенонов вдруг предстает фанерным силуэтом, читающим заученные тексты. Смятенна явь… наслаивалось что-то непрямое, но косвенно присущее природе пространства при престранных преломлениях

Эй, кто-нибудь, рискните отозваться! Молчание и эхо. Пустота. Железный тихий звон. Злосчастные хариты… И вас минет та чаша искупленья. Кровавых казней кончена кадриль. Законы бытия непостижимы… как уровни грозы — от пузырей на лужах до перьев самых верхних облаков, все составляло полное единство, и ритм ударов грома

Ритм!

навевал воспоминания о полных наслажденья

Ритм! Ритм! Ритм!

Не сметь! Остановиться!

египетских ночах и вавилонском — нет, не пленении: соблазне

Не дышать — пока не завертятся огненные круги перед глазами. Толчок в спину. Стоять! Всем стоять! Не двигаться! Не подчиняться! Против ритма! В подчинении — смерть!

Алые цветы смерти… обманчиво… увитая плющом лежало обратиться любовь к огню и краски витражей немногое осталось даже нищий отдаст и тот последний долг последний поцелуй рискуя всем родятся от искусства уходя жестоко знать и мир и благодать придя в багровых облаках вновь без ответа просто трясет, трясет, как по проселку… где? А, вот они заранее поверившие в бегство, в возможность бегства вперебой желая уступить

Ржавчина! Ржавчина!

не поддаваться ритму!

РЖАВЧИНА!

Все рухнет, если дотронуться.

Нет! Стойте, генерал, стойте!

Я вам приказываю!

Не оборачиваясь — идет.

Узкий, не разминуться вдвоем, железный мостик — раскачивается под ним. Внизу, в ущелье — пламя.

Любовь к огню — любовь к Богу…

Ущелье плотно набито огнем.

Жар колеблет видимый мир.

Как все качается и скрипит!..

Он стоял спиной к ней и смотрел в окно.

— Пока вам везет, — сказал он, а может быть и не он, потому что Аннабель не видела его лица. — Но это ничего не значит. Яппо запускает креатур, герноты их уничтожают, убито уже больше ста, не знаю, сколько точно. Это все выдохлось, как выдыхаются все неудачные наступления. Вы можете пройти еще сто миль, можете дойти до столицы, можете ворваться во дворец, даже можете убить несчастного короля Германа… Не изменится ни-че-го! Потому что территория, которую по привычке называют Альбастом, давно не Альбаст. Альбаст умер, и из шкуры его сделали механическое чучело. И думать надо не о том, как вдохнуть жизнь в то, что уже не может быть живым, а о том, как уничтожить его, потому что опасность неоспорима, и в этом я с Яппо согласен полностью.

— Что делают герноты с трупами убитых креатур? — спросила Аннабель почему-то мужским голосом.

— Закапывают в землю — что же еще? — пожал плечами человек у окна.

— И Яппо это, конечно, знает… — сказала Аннабель. — Может быть, он умнее, чем мы о нем думаем.

— Возможно. Возможно, ты и прав. Да, такой вариант мне в голову не пришел бы…

— Помнишь, ты говорил как-то, что верующие считают, будто Бог создал окаменелости, когда творил мир, чтобы у людей возникла иллюзия бесконечного прошлого? А не кажется ли тебе, что сейчас мы разглядываем некую окаменелость, которая призвана создать иллюзию бесконечного будущего? А на самом деле…

Человек у окна заинтересованно обернулся, и Аннабель с ужасом узнала его…

без верха и низа без трения и тепла без луны

руками изготовления тип наискось полный пламени

лава раскаленная лава там бунтарей и благ день гнева

до костей и кровь кровь полная железа осталась

неподвижно парить в вере

и синь озер взъяренная обитатели рая

**МЕРТ**

Солнце клонилось к вершинам истонченно-высоких сосен, длинной шпалерой выстроившихся вдоль старой имперской дороги. Туда же, к тем же соснам, катил фургон, запряженный четверкой разномастных лошадок. Аннабель дремала на сложенном ввосьмеро ковре. Ей было холодно и неуютно в новом обличии. Стареющая акробатка с вялым лицом, жилистыми ногами, сухой, как солома, волосней и похожими на пустые мешочки грудями. Жонглер и клоун Берт спал, лежа на животе и уткнув лицо в скрещенные руки. Генерал превратился в огромного — гора мускулов — горбуна-негра, а улан стал человеком-змеей, тонким, гибким, способным завязаться узлом. С новыми личинами они получили новые имена, новые характеры и даже новые воспоминания — все было учтено.

Они бежали из Кикоя, охваченного волнениями. Деревенский маг Дило, по прозвищу Чернотел, сплотил вокруг себя несколько тысяч фанатиков, которые повырезали гарнизоны в главном городе провинции, Хтооге, и двух городах поменьше: Сапре и Альше. Не дожидаясь, когда гнев гернотов обрушится на мятежников, все незаинтересованные люди побежали из Кикоя. Позади, по слухам, начинались эпидемии, пожары, необъяснимые умертвия и выход из земли чудовищ. Бродячие циркачи стремились к торговому городу Эствель, где скоро будет ярмарка и можно будет заработать. А денег надо много, потому что одни звери съедают столько, что можно прокормить двадцать человек…

Зверей было четверо: горный лев и львица, усмиренные и послушные, серый худой медведь, умеющий все, и удав. Аннабель испытывала неловкость перед зверьми — слишком уж суровая шутка обрушилась на ни в чем не повинных настоящих циркачей. Успокаивало совесть одно: так циркачи оказывались в гораздо большей безопасности, чем в людском своем обличии.

Имена от них перешли захватчикам: Аннабель звалась Стеллою, Берт — Адамом, генерал — Пальмером, а улан — Иппотропом. С именами перешли привычки и мелкие давние отношения…

— Ты мошной впредь не тряси, — дребезжащим тенорком ввинчивал Иппотроп Пальмеру, и тот согласно кивал пегой головой. — А то вишь, какой ще-едрый. За общий-то счет. Хошь чего — меня спроси или вон Стеллу. Мы — понимаем. А ты, дурак здоровый — не понимаешь.

— Подумаешь, чего я там переплатил — три монеты. Пить хотелось, вот и все. А дешевле он не давал… — оправдывался Пальмер за провинность недельной давности.

— Вот, говоришь, три монеты. А на эти три монеты, глядишь…

— Тпру-у-у, черти! — лениво сказал Пальмер, и мерный рокот окованных железом колес по щебенке мгновенно смолк. Стелла приподнялась на локте. Сворачивая с имперской дороги, к ним направлялись два десятка всадников…

**ЛОТ**

В дверь постучали.

— Заходите, — сказал Лот.

— Не спите еще? — на пороге стоял Меестерс. — Если хотите спать, говорите, не стесняйтесь.

— Хочу, но все равно не усну, — сказал Лот.

— То же самое и у меня, — вздохнул Меестерс. — Вы не думайте, я не буду надоедать вам каждый вечер. Это у меня просто на новых людей тяга. Привыкну — перестану замечать. Устали сегодня?

— Да. Перегруз получился. Слишком много фактажа.

— Зато теперь вы, наверное, все понимаете.

— Пока еще ничего не понимаю. Не обработал.

— А-а… Вам не холодно, кстати?

— Жарко. Но, если хотите, выключите.

— Нет-нет, что вы. Пришел в гости и распоряжается…

— Я просто люблю прохладу. Зимой сплю с открытым окном.

— Это я уже знаю. Я о вас, наверное, вообще все знаю. Вас это не смущает?

— Пожалуй, нет. Особо стыдных вещей я за собой не помню.

— Это, наверное, неплохо — не помнить о себе стыдных вещей… Я, к сожалению, никогда не смогу испытать такого чувства. За сорок лет работы накопилось всякое. Иногда мне странно, что я все еще жив.

Лот сочувственно кашлянул. Интересно, зачем он пришел, подумалось ему. Просто излить душу? Или еще раз прощупать? Или ненавязчиво внушить что-нибудь, или расположить к себе?.. Или без цели? Он с сомнением посмотрел на Меестерса. Вряд ли такие люди делают хоть что-нибудь без цели — даже снимая пушинку с рукава, просчитывают — на автопилоте — сорок три варианта возможных последствий…

Меестерс понял этот взгляд по-своему.

— Я догадываюсь, что вас беспокоит. Внезапное доверие, да? Это так не по-нашему, против всяческих традиций… Ну, допустим даже, что вы агент. Все равно, чей. Хотя, мне представляется, вы именно тот, кем назвались: санитарный врач, прошедший в свое время Каперскую зону и в своих исследованиях глубоко проникший в суть проблемы. В самостоятельных исследованиях. Подчеркиваю. Так вот, даже если вы агент, скажем, Конторы, или Корпуса, или иностранной разведки, или инопланетной… Нам это не то что не страшно — мы это приветствовали бы. Потому что нам противостоит нечто такое, что требует слияния сил. Но вы, к сожалению, не агент… И крысиные гонки продолжатся. И мы будем вцепляться друг другу в глотки — в стремлении не допустить противника к финишу первым, а еще лучше — не допустить вообще. Хотя и лабиринт построен не нами, и несемся мы по нему не по собственной воле, и что нас ждет на финише — не догадываемся…

— Зачем же меня держали в подвале? Проверяли? Если вам все равно — кто?

Меестерс помолчал. Похоже было, что простой вопрос поставил его в тупик.

— Все религии, вы знаете, построены на борьбе добра со злом, — заговорил он другим, безразличным, уставшим голосом. — Две трансцендентные силы, Бог и Дьявол. Непрерывная борьба. Ад и рай, наслаждение и страдание. Я как грубый материалист произвожу все из нейрофизиологии, из центров поощрения и наказания. Их взаимодействие проецируется на внешний мир, и в результате — все вышеперечисленное в миллиардах оттенков. И вот мне, грубому материалисту, приходится допускать существование во внешнем мире каких-то подобных… я не знаю, как сказать? Центров? Они не имеют локализации. Короче, чего-то аналогичного по функциям… нет, тоже вру. Допустим, существуют и Бог, и Дьявол, но ни тот, ни другой не есть добро и зло в чистом виде, они вообще внеморальны, внеоценочны, у них есть какие-то свои интересы, своя борьба, людей они используют в этой борьбе, но сами люди им глубоко безразличны… Причем и Бог, и Дьявол существуют самодовлеюще, но — лишь в сознании людей. Как описание процессов реального мира. И вот эти процессы становятся все более интенсивными, более сложными, запутанными — и тут в них начинает вмешиваться человек… Вы еще не отключились?

— Нет, — сказал Лот.

— Это вмешательство странно, не вполне самостоятельно и абсолютно нерационально. Человек выступает ни на чьей стороне — и даже не на своей, что парадоксально лишь на первый взгляд. Он вообще пока не догадывается, что ввязался в чью-то борьбу.

— И все-таки — причем тут я?

— Были подозрения, что вы действуете не по своей воле. Если позволите, я не стану говорить, откуда они взялись.

— Так. Ну, и?..

— Не подтвердились.

— А, понял. Вы меня исследовали, пока я спал. Помню, были такие странные сны…

— Знаете, Лот, вы удивительно уравновешенный человек. Я удивлен.

— Нет, — сказал Лот. — Я нервный и неуверенный в себе тип. Мне стоит больших усилий держаться так, как я держусь.

— Все равно. У вас здорово получается. Хотите, я доскажу, что начал? Немного осталось.

— Хочу.

— Вы сегодня увидели все, что можно увидеть. Многого, конечно, не поняли — не спец. Ничего. Понимаете, это все частности. А в целом — мы пытаемся разобраться в той самой борьбе Бога и Дьявола. Выяснить цели, средства, механизмы. Понять наш интерес. Суметь защититься. Если успеем, конечно…

— Бог и Дьявол… — Лот произнес слова медленно, пробуя языком. — Как я понял, вы употребляете эти термины не в метафорическом смысле?

— Нет. Именно как термины. С другой стороны, вы понимаете, весь наш мир — это одна большая метафора…

— И — обладающие теми способностями, которые им приписывает молва?

— В части власти над живой природой — да.

— Всемогущество?

— Практическое всемогущество. Может быть, имеющее границы — но я этих границ не знаю.

— Всеведение?

— Абсолютное.

— Как насчет всеблагости?

— Я бы сказал — всебезразличие.

— С обеих сторон?

— Может быть, есть какие-то оттенки отношений. Но, опять же, я их не знаю.

— Так… А человек?

— Человек становится почти всеведущ и готовится к всемогуществу. Думаю, это вы уже поняли.

— Но подождите. Бог и Дьявол — они существуют в сознании человека или в окружающем мире?

— А какая разница? Где вы проведете границу? Как отличите одно от другого?

— Да, действительно… — вяло сказал Лот. — Вы правы.

— Я, например, вообще не знаю, существует ли что-нибудь в окружающем мире. Может быть, мы с вами — два слизняка, заползших на один валун… а все вот это вокруг и все, что с нами было и будет — лишь запятая в нашем разговоре…

— Это вы-то, профессор — грубый материалист?

— При всем при этом — да. Знаете, Лот, вот вы поработаете немного с мозгом — станете сомневаться вообще во всем. Внезапно окажется, что в любом мировоззрении опереться можно только на собственное невежество. Кстати, можно нескромный вопрос?

— Попробуйте.

— Я помню, в восьмидесятые годы, когда вы учились, в моде были галлюциногены. Я думаю, и вы пробовали их. Не можете ли вспомнить, что именно вам привиделось?

— Нет, — резко сказал Лот. — Не могу.

— Понятно. Значит, все помните, но говорить не хотите. Потому что это было страшно, и с тех пор вы этой химии на нюх не выносите. Хотя, если услышать описание ваших видений от постороннего человека — покажется простеньким и невинным. Вам казалось, что вы приросли спиной к другому человеку и вынуждены подстраиваться под его движения. Спина к спине. Такие сиамские близнецы. И, в сущности, это все. Я прав?

— Да, — без голоса сказал Лот. — Откуда?..

— Нас тут таких — почти сорок человек. После Каперской зоны. У всех — одно и то же. Так что появление ваше здесь было не случайным. Поразмыслите над этим.

— Да… Я… постараюсь…

— Спокойной ночи. Если хотите — в шкафчике снотворное. Будить вас завтра не станут.

Меестерс вышел. Лот лежал без движения, ошеломленный услышанным. Ника, в панике позвал он и прислушался к ответу. Сухой звук — как от щелчка по спичечной коробке. Ника…

Он уже знал, что ничто не отзовется.

**МИКК**

— Ладно, — сказал Ноэль, бросая на стол еще одну полоску распечатки. Их уже много лежало на столе, и некоторые должны были бы уже съехать на пол, но цеплялись друг за друга и пока не падали. — Механику этого дела мы поняли. Пусть кто-нибудь объяснит мне, в чем его смысл.

Микк взял последнюю бумажку, подержал перед глазами, положил обратно. В принципе, то же самое: слева — «Ника Буковчан, 23 года, БОМЖ/03, временное УЛ N\_709830, социальное страхование — прочерк, медицинское страхование — ИСО 02/3. Обращение в файл 16.08.04, повод: неотложная мед. помощь. ДС: фобический шок IV. ОП: Ш-Г мод. Амб.» Справа: «ВОССТАНОВЛЕНО: Ника Андерсен, урожд. Буковчан, 23 года, проживает: Альбаст, ул. Цепная, д. 144. Муж Грегори П.Андерсен, 30 лет, водитель. Род занятий: швея. Социальное страхование Ф-XII, медицинское страхование „НПН“ N\_23098167. ИСО 00/0. Обращение в файл: 16.08.04. Повод: неотложная мед. помощь. ДС: фобический шок IV. ОП: Ш-Г мод. Госп.» Но, конечно, и здесь никакого «госп» не было: возиться с бродяжкой без страховки! Промыли мозги, поставили на крылечко и наладили пинка… гуманисты херовы. Неужели нельзя хотя бы по внешнему виду отличить приличную замужнюю даму от бродяжки? Или доверие к официальной информации оказывается сильнее здравого смысла? И те, которые переписывали файл: видно же, что вранье. Ну, не может быть такого, чтобы в файл бродяжки обращались только один раз. Ее что, ни разу не задерживали? А откуда тогда индекс социальной опасности «02/3»? А, господа?

— Почему, интересно, они одним имена меняют, а другим — нет? — тупо спросил Кипрос.

Нет ничего важней, чем это выяснить, с внезапным раздражением подумал Микк.

— Наверное, в зависимости от того, кого они ожидают… ну, кто будет искать, — сказал Ноэль.

Он соображает, а я — уже нет, понял Микк. Вслух он сказал:

— Агнессу не трогали, потому что есть Флора. Флора приходит и требует: дайте мне тетушку. Они говорят: вот тетушка. Такого-то ушла и не вернулась. А здесь…

Он замолчал и стал рыться в бумагах. Наконец, нашел то, что вспомнилось и перебило рассуждения.

— Это ее муж, — сказал он. — Вот: вставлено, что шестого августа погиб в автокатастрофе… Наверное, пошел ее искать…

— Или она — его, — тихо сказал Ноэль.

— Ребята… — прошептал Кипрос. — Ребята… Что это — все — значит?..

— Тебе сказать? — голос Ноэля едва звучал. — Или уже знаешь сам?

— Но почему? За что?

Ноэль пожал плечами. Посмотрел на Микка — будто ждал, что тот подскажет. И Кипрос стал жадно смотреть на Микка — как иудей на мессию.

— Тебе они как сказали? — как бы не замечая этих взглядов, спросил Микк. — Сами с тобой свяжутся или ты должен к ним?..

— Я — к ним… должен… — Кип сглотнул. — Причем не в участок, а в какое-то бюро по розыску… Вокзальная, семь…

— Нет там никакого бюро, — сказал Микк. — Это я точно знаю.

— Хотят, значит, чтобы сами приходили… — покачал головой Ноэль. — Барствуют, значит…

— Слушай, но ведь уже не те времена… — начал Кип, наткнулся на взгляд Ноэля и замолчал.

Нет логики, подумал Микк. Нет логики ни в чем, и в том, о чем думает Ноэль, тоже нет логики. Хотя в это — в то, о чем он думает — страшно легко поверить. Хотя и нет логики. Но для веры логика не нужна. Для веры нужно только желание поверить. Хотя, с другой стороны, логика — это вроде гениальности тех стихов, которые сочиняешь во сне. Они гениальны, пока снятся. Как велосипед, который не падает на ходу. Ты просыпаешься — и гениальность исчезает. Остаются нелепые строчки. И что-то подобное происходит с логикой. Только я не пойму, что…

— Вокзальная, семь, — протянул Ноэль, делая пассы над пультом. Засветился маленький плоский монитор, на нем возникла схема города: кварталы, видимые сверху и немного сбоку. Все чуть утрировано, и поэтому легко узнается. Тут же обозначился — будто на него лег солнечный луч — двухэтажный домик с маленьким садиком, задами выходящий на полосу отчуждения железной дороги. Потом над домиком будто образовалась увеличительная линза: он стал больше и приблизился; окружающие его дома и кварталы сдвинулись к границам экрана, спрессовались, но из поля зрения не исчезли. Ноэль пробормотал что-то; пальцы его мелькали. Схему опутали разноцветные нити, но ни одна из них не касалась этого дома. Потом он, наконец, оторвался от пульта.

— Домик не просто так, — Ноэль растянул губы будто бы в улыбке. — Не подступиться. Ладно, парни, мы его прокачаем…

Микк посмотрел на Кипроса. Кип был бледен. На лысом черепе, на лбу стремительно росли прозрачные бородавки пота. Не сходи с ума, мысленно закричал ему Микк, но Кипрос уже разлепил губы и сказал:

— Я… туда…

— Что? — обернулся Ноэль.

— Пойду…

— Ты?..

— Прикроете. — Он встал.

— Не валяй дурака, — сказал Ноэль. — Шесть часов утра.

— Это несерьезно, — сказал Микк.

— Да как тебе сказать… — Ноэль с сомнением смотрел на Кипроса. — Не зная броду — конечно… А вот если зная…

— Мы не доделали по крайней мере еще одно дело, — сказал Микк. — Напомню: мы решили быть методичными.

— А, твоя яма… — Ноэль вздохнул. — Может, вы вдвоем съездите?

— Вдвоем мы уже к Деду ездили, — сказал Микк. — Это будет перебор.

— Ладно, — сказал Ноэль. — Я с вами Джиллину отправлю. Он парень способный, хоть и молодой.

Джиллина неохотно передал свой участок Вито и, проверив оружие, пошел к машине. Микк, подчиняясь какому-то странному импульсу, вынул свой «таурус», картинно прокрутил барабан и сунул револьвер за пояс. Ему тут же стало неловко. И вдруг захотелось увидеть Флору. Но для этого надо подняться на второй этаж… а люди ждут. Все равно она спит.

Было как-то уж слишком светло. Казалось, кроме солнца, сюда посылают свои лучи невидимые прожектора. Мореные плашки, которыми была обшита стена, казались белыми. Шляпки латунных гвоздей сияли. Ломко и призрачно стояла густая полувысохшая трава.

— Вы сюда близко не подходите, — сказал Микк Джиллине, подавая ему револьвер. — Стойте вон там, на углу. Если с нами что-то…

— Вы уже говорили, — кивнул Джиллина.

— Ну, так и делайте, как говорили, — внезапно раздражаясь, сказал Микк. — Делайте, как говорили, не заставляйте повторять…

Яму прикрывал фанерный лист, грязный, в каких-то потеках — совершенно чужеродный этому ухоженному садику и пряничному домику; даже вынутую землю покойный Ланком ссыпал в мешки для мусора; три мешка стояли у ворот и один, неполный — здесь, приваленный к стене. Микк взялся за край листа и вдруг понял, что не может его поднять — и не потому, что лист тяжел, какая тяжесть в старой фанере… просто не может, и все. И тогда, обманывая себя, он потянул лист к себе, будто стаскивал с кровати одеяло… Свет рухнул в открывшуюся яму и закружился пыльными вихрями.

— Я спущусь, — сказал он Кипросу. — А ты смотри сверху.

— Это твое? — спросил Кипрос, показывая рукой на оставленные в яме инструменты: лопату, лом, ножовку… Все было так, как в прошлый раз, когда Микк пришел и почти сразу начал пилить… нет, ножовки тут не было, ножовку он принес с собой. А кто в таком случае закрыл яму? Впрочем, это был бесполезный вопрос: на него некому отвечать…

— Да, мое…

В стенку ямы он позавчера — или когда? — господи, как все перепуталось — сегодня двадцатое… уже двадцать первое — а на часах? — тоже двадцать первое — действительно, позавчера — забил два толстых кола: ступени. По ним легко было спуститься и легко выбраться. Он сел на край ямы, поставив ноги на верхний кол. На миг что-то сместилось, ему показалось, что он сидит над разрытой могилой. Потом он понял: просто боится спускаться. Кто-то внутри него кричал от страха. Холод зрел в животе. Лопата, лом и ножовка внизу образовывали знак ловушки — этакий усложненный сыр для мышеловок. Не пойду… Он уже спускался — неловко. И в этой неловкости злился на Кипроса — за то, что тот видит.

В яме стоял утрированный запах пыли. Так могло бы пахнуть в архиве — когда перетряхивают… Он вспомнил: точно так пахло у Деда, когда они втроем искали нужную папку. Да, и Деда, пожалуй, надо навестить…

Микк поднял ножовку. Полотно было в тончайших продольных царапинах, алмазная пудра местами стерлась до клея. А ведь я ставил новое полотно… или только собирался поставить новое? Так вот и дурят нашего брата… Он хорошо помнил, что ставил, но червячок сомнения остался. А пилил я… вот здесь и здесь. На «корне», растущем из дна ямы, в этих местах были кольцеобразные утолщения. Микк примерился, потом поднял голову, посмотрел на Кипроса. Кип стоял на краю ямы, уперев руки в колени. Какого черта, в отчаянии подумал Микк, мы все равно никогда не поймем… Он был уверен, что все бесполезно. Кипрос смотрел на него, и Микк ободряюще кивнул ему.

Он помнил, что «корень» был крепче стали, и решительно поднес к нему пилу, и полотно, почти не встретив сопротивления, прошло насквозь, Микк отдернул руки и отшатнулся — «корень» от места разреза то ли осыпался, то ли оплывал, как чрезвычайно быстро сгорающая свеча, тончайшая пыль текла вниз, клубясь, и через несколько секунд ничего, кроме плавающей в воздухе плотной светящейся завесы, не осталось. Микк чихнул несколько раз, потом натянул рубашку на лицо, оставив одни глаза, и присел. На дно ямы свет не падал, и видно здесь было лучше. Там, где «корень» выходил из земли, зияло отверстие сантиметров двадцати в диаметре. Из него не сильно, без напора, шел воздух; Микк, не дыша, помня о том, что было в прошлый раз, наклонился над ним и несколько секунд всматривался в темноту. Сначала не было видно ничего, а потом вдруг — глаза поймали фокус — темнота рассыпалась множеством далеких огней, и больше всего это было похоже на вид ночного города с высоты… Вставай, прикипел, похлопал его по плечу Малашонок, и он встал и отошел к стене, пропуская Малашонка и идущих следом Петюка и Фому Андреевича и пытаясь осмыслить, перевести на язык слов то, что он увидел в скважине. Не верь подземным звездам, категорично говорил Куц, а Леонида Яновна говорила иначе: подземные звезды смущают мысли. Пусть так. Прошли Дим Димыч с Танькой. Что он в ней нашел, подумал Пашка, стерва ведь. Обидно, хороший человек пропадет… Замыкал отряд Архипов. Ну, пойдем, сказал он Пашке. Что, опять в скважину глядел? Пашка кивнул. Высмотрел что? Кажется, нет, неуверенно сказал Пашка. Не знаю… Ему не хотелось говорить, что звезды все отчетливее складываются в знак Зверя…

Недолгое прозрение, посетившее его тогда, когда Леонида Яновна накладывала защиту, ушло, оставив лишь память о себе — память о божественном состоянии, в котором весь мир стал книгой, написанной простым языком, а на каждый заданный вопрос тут же возникал выросший из самого вопроса ответ. Пашка шел и старался не замечать охватившего его горя утраты. Ему разрешили полетать — полтора часа, — а потом отняли крылья. Тогда, в прозрении, он знал, зачем и почему они идут, что это за подземные ходы и что произойдет, если они не придут вовремя в нужное место. Теперь он этого не мог бы объяснить другому, но себе — прежнему — он верил. Они должны дойти и, дойдя, стоять насмерть — и это единственный шанс уцелеть тем, кто остался еще наверху… и это «наверху» касается, кажется, не только жителей города… тут он не был уверен.

Поросший светящимся мохом переход оборвался кромешной тьмой. Отряд сгрудился и чего-то ждал. Видны были только одинаковые — подпоясанные ватники — спины да несколько автоматов, висящих по-охотничьи, стволами вниз.

Архипов обнял его за плечо и легонько потряс, и Пашка понял: они пришли на место. Только теперь он услышал — скорее, не ушами, а всем лицом — далекий рокот: будто медленно-медленно проворачивалась громадная бетономешалка.

**ПЕТЕР МИЛЛЕ**

Он выбрался из-под дневного света, как из-под мягких невидимых глыб: в поту, с одышкой и сердцебиением. Дневной сон был мукой — увы, неизбежной. Без него ни глаза, ни голова не выдерживали обязательных трех часов над тетрадью. А так… сейчас… Постанывая от привычной боли в затекших икрах, он встал и потащился под душ. Тепловатая водичка с железным привкусом все-таки освежала. Плохо, но освежала. Кроме того — ритуал. Обязательный двукратный ежедневный. Флаг «Умираю, но не сдаюсь». Оркестр играет мазурку…

Сравнение ему понравилось. Не вытираясь, он накинул халат и пошлепал на кухню. В холодильнике было пиво. «Черный бархат», три бутылки. Он не помнил, когда и как покупал его, но это было почти неважно. После приступа неуправляемой паники — когда вдруг понял, что не запоминает абсолютно ничего из того, что происходит с ним за порогом дома — он старался принимать все как должное. Да, может быть, там, снаружи, он и сам точно такой, как те, кого он видит сейчас из окна: монотонно бредущие по прямой кукольные люди. Никто ни с кем не раскланивается, не озирается по сторонам, не совершает каких-то странных, но человеческих поступков: скажем, не снимает ботинок и не начинает вытряхивать из него камешек… скрупулюс… В бинокль видны лица: одинаково озабоченные и в то же время бессмысленные. Бессмысленная целеустремленность — вот так это можно обозначить. Неужели и у него такое же лицо, когда он там?.. Тем более следует оставаться человеком все остальное время.

Вернее — все оставшееся время.

Похоже на то, что его весьма мало.

Потому — нужно ли ломать голову над тем, что, выходя из квартиры, он тут же входит в нее обратно — до полусмерти уставший, потный, грязный, дрожащий. Час, а когда и больше часа уходит только на то, чтобы прийти в себя. Правда, результатом таких вылазок оказываются хлеб, сосиски и сыр — почему-то всегда одного и того же нелюбимого сорта: «Адмирал». Недели две назад вдруг появилась коробка трубочного табака, и теперь вечерами он обязательно выкуривал трубочку-другую. Табак был страшно дорогой, вирджинский «Глэдстон», и удивительно, что он сумел раскачать себя на такую покупку. Начав курить после двадцатилетнего перерыва, он испытал небывалый душевный подъем — будто эти двадцать лет испарились, ничего после себя не оставив, и ему не семьдесят девять, а — еще нет шестидесяти…

Когда кончается время, даже воздух становится сладким, даже слюна, даже скрип половиц оборачивается музыкой, даже простые мысли вдруг обретают платиновый блеск… Лишь когда кончается время, можно, наконец, понять, что земная жизнь не в счет, хотя она — все, и что рай и ад неразделимы и даже неразличимы, если смотреть в упор.

Бокал пива и ломтик мягкого сыра с розовыми крапинками креветочного мяса… Что еще надо для полного счастья?

И тетрадь. Четыреста листов отличной нежно-палевой бумаги в деликатную розовую линеечку. Обложка из натуральной тисненой кожи табачного цвета. Зеленовато-серая бумажная наклейка в углу, и по ней каллиграфически: «МЫСЛИ, ПРИШЕДШИЕ В ГОЛОВУ СЛИШКОМ ПОЗДНО». Не лень же было выводить…

"Пророк Илия и жрецы Ваала. Он один, их — четыреста пятьдесят. Соревнования: чей бог быстрее разведет костер? Ваал сплоховал. Тогда Илия приказал стоящим вокруг: схватить их! Жрецов схватили, Илия отвел их на берег реки и всех заколол, Божий человек. Ученик его, Елисей, благословил в одном городе источники, и вода в них стала хорошей. Уходя из города, он встретил детей, которые крикнули ему: плешивый! Елисей воззвал к Господу, и тогда из леса вышли две медведицы и разорвали сорок два ребенка. Это что — всемилость? Иисус на фоне своего родителя выглядит настолько добрее и человечнее, что верить в его божественное происхождение просто не хочется.

И история с распятием темна до полной непроницаемости. Схвачен, торопливо судим с нарушением всех и всяческих процессуальных норм (чего стоит одно только ночное заседание синедриона!) и осужден на немедленную смерть — не для того ли все провернуто так быстро и вопиюще противозаконно, чтобы успеть к Пасхе — чтобы заменить на кресте другого Иисуса, Иисуса Варавву, Иисуса-"сына-Отца"?

Бедный отец Виталий. Наверное, мои замечания и вопросики стоили ему нескольких лет жизни. Но ведь он сам приходил, и высиживал заполночь — значит, было у него ко мне какое-то долгое дело. И обнял он меня, прощаясь, и даже прослезился — со мной за компанию. Он же как-то — по-моему, накануне мятежа — сказал: иногда ему кажется, что Страшный Суд уже начался. Мы просто не замечаем этого, потому что все, что так естественно происходит вокруг, и есть Страшный Суд. Сказал же Павел: мы не умрем, а изменимся. И вот мы изменились настолько, что Страшный Суд для нас стал средой обитания… Он напомнил мне профессора Смолячека, который в Академии вел курс философии. Вот ведь учили нас: в Технической Академии во время войны читали основы философии. Я потом рассказывал — не верили. Или говорили: на что тратили драгоценное время! А мне кажется — это был один из важнейших курсов. Благодаря ему все стало очень сложным, и я — и не только я — с меньшими душевными травмами воспринимали последующее. Так вот, Смолячек рассказал историю о том, как апостол Петр сидел в камере смертников, ожидая казни за богохульство. Камера была заперта, а кроме того, Петр был прикован цепью к двум стражникам. И вот в ночь накануне казни дверь открылась и вошел ангел. Петр подумал, что это ему снится, и отнесся к появлению ангела спокойно. Ангел сказал: встань. Петр встал, цепи упали. Ангел вывел его из тюрьмы мимо спящих часовых и исчез. И тогда Петр понял, что все это наяву, и побежал в дом матери Марка. Там он и рассказал эту историю. Итак, с абсолютно равными основаниями можно считать, что Петра действительно вывел ангел Господень; или кто-то из высокопоставленных сочувствующих вывел его, а историю об ангеле Петр рассказал с какой-то целью: может быть, для придания авторитета себе или делу, а может быть, и в те времена в подполье не жаловали тех, у кого есть друзья-тюремщики. Или, наконец, можно считать, что Петру приснился и ангел, и все последующие события его жизни, и его смерть, и дальнейшая история человечества, и все, происходящее сейчас, и мы здесь, рассуждающие черт знает о чем — все это лишь снится Петру, лежащему на грязной соломе на полу тюремной камеры меж двух сторожей, а тем временем какой-то плотник приколачивает перекладину к невысокому кресту…"

Он перевернул несколько страниц.

«Принято считать, что поступки людей, их поведение вообще — должно быть „хорошим“, „правильным“, „умным“. Иначе — рациональным. К поступкам людей подход настолько же утилитарный, как к глиняным горшкам. Вместо искусства поступка воспитывается ремесло, даже индустрия поступка, и никто не видит в этом насилия над природой человека. В искусстве же полезность — вообще не критерий, а красота, оригинальность, неповторимость — более чем критерии. И, если мы начнем оценивать человеческие поступки, пользуясь критериями искусства, то увидим: в этой сфере царит жесточайший гнет, бесчинствует цензура, духовная и светская, и все, что не соответствует канону, подвергается гонению и уничтожению. Но даже в такой атмосфере — а может быть, по закону парадокса, благодаря этой атмосфере, — случаются поступки, по своей красоте и бесполезности превосходящие величайшие произведения искусства. Если допустить, что человечество в целом имеет какую-то цель, то ведь ясно, что эта цель — не строительство новой тысячи заводов, прорывание длинных и глубоких канав поперек материка и полеты к Луне и прочим небесным телам (хотя именно эти полеты достаточно неутилитарны, чтобы приблизиться к тому, о чем я хочу сказать). Так вот: не цель ли человечества — свершение неимоверно красивых и абсолютно бесполезных поступков? Или такой поступок уже был совершен, существование человечества оправдано, а теперь оно живет по инерции, не имея ни цели, ни смысла существования? Может быть, вся история цивилизации — это лишь прелюдия к оркестру, играющему вальсы Штрауса на палубе тонущего „Титаника“?»

Еще несколько страниц.

«С ужасающей отчетливостью вспомнился Юнгман. Потом это прошло, но несколько часов я буквально находился в его обществе, причем воспринимая все неимоверно интенсивно. Похоже было на то, что в памяти моей случился какой-то пробой, выбило все предохранители — никогда раньше такого не происходило. Вспомнилась его теория о машине, создавшей и продолжающей создавать человека, приспосабливая его для своих нужд. Интересно, что ни тот я, который это слушал, ни я сегодняшний не нашли бы возражений — даже если бы и хотели. Получается…»

Чистый лист. Перо оставляет тонкий черный след.

"Перечитал «Смерть клоуна» Леона Эндрю. По первочтении, сразу после войны, вещь произвела на меня потрясающее впечатление. Казалось, это ключ ко всем загадкам обыденности. Впрочем, он так и не повернулся в скважине до конца… И вот теперь — еще раз, чтобы проверить себя. Тогда это казалось глубокой философской метафорой, позволяющей проникнуть на «обратную сторону» личности: Ормелы, истинные носители разума, живущие в сознании людей, способные сменять своих «носителей», как всадник сменяет лошадей; симпатии и конфликты между ними приводят к сложнейшим и трагическим коллизиям людей; Ормелам люди почти не интересны, поскольку для них они просты и примитивны, как проста и примитивна клоунская маска и клоунская роль для Орландо. Но, когда Орландо проникает в тайну существования Ормелов, те обращают на него внимание… Да, тогда это казалось метафорой. А сейчас мне это кажется недосказанным пророчеством.

Интересная деталь: Орландо, вырвавшись ненадолго из-под власти Ормелов, начинает видеть мир таким, каков он есть, и это повергает его в отчаяние. И в отчаянии он принимается делать то, от чего раньше его удерживала надежда, и в какой-то момент, задумавшись, понимает, что счастлив. А в видении мира, которое обрел Орландо, есть, помимо всего, такая странность: в течении времени возникают паузы, лакуны, процессы на это время останавливаются, у людей события не запечатлеваются в памяти, и лишь Ормелы не видят существенной разницы между нормальным ходом времени и этими лакунами. Нужны ли комментарии? Кто-то же отключает мою память, едва я переступаю порог.

И, может быть, не только тогда. Позавчера я обнаружил папку с документами по лихорадке Вильсона и ее последствиям на столе — хотя совершенно не представляю, какого черта я ее вообще тревожил. Тема закрыта. Если я прав, заниматься этим дальше бессмысленно, если не прав — тем более бессмысленно. Пожалуй, даже наоборот. Более бессмысленно — если прав".

Петер отложил ручку и откинулся на спинку кресла, отдыхая. И вдруг, неожиданно для себя, подумал: а когда? Ясно, что скоро — но «скоро» может быть и десять лет… Сосчитать нельзя — а почувствовать? Он закрыл глаза.

Осень — ударило в сердце. Эта осень.

Осталось… Почти ничего не осталось.

Эта — последняя — осень.

Он открыл глаза и посмотрел, как впервые, на свою руку. Пальцы дрожали.

Значит, правда.

Осень.

Горький дым…

Не без труда он набил трубку, но раскурил — с первой попытки.

"Иногда я испытываю почти панический страх перед зеркалом. Интересно, кого именно я боюсь там увидеть? Наверное, так и не узнаю.

Найдя папку, вспомнил о Кипросе: ему это, может быть, показалось бы интересным. Вспомнил с ноткой раздражения: засранец, совсем забыл старика — и вдруг испытал острое чувство неловкости, будто на улице повстречал знакомого и не узнал его, и лишь потом, отойдя, сообразил… Так что, может быть, ему я ее и показывал? Попробовал телефон: все по-прежнему. Попадаю куда угодно, кроме того места, которое мне требуется. Точно так же и мне звонит кто угодно, кроме тех, кому я нужен. И это, похоже, в порядке вещей.

Потерял Вильденбратена. Не пойму, куда мог деться огромный, ин квадро, томина девятьсот второго года издания: кожаный переплет, цветные, переложенные калькой, иллюстрации, бархатная ленточка, золотой обрез… Печать: «Библиотека коммерции советника Иоганна Милле». Библиотека дедушки была знаменита, попала даже в энциклопедию. Ничего не осталось. Но, собственно, чему удивляться?

По каким-то ассоциациям вспомнились «Солдаты Вавилона»: «Но стража Нимрода в проклятую ночь не сдвинулась с мест. Лишь юный один безбородый…» — и так далее. Солдаты Вавилона окаменели на своих постах, поскольку их не могли сменить — они не понимали офицеров. У классика — все. А я докопался — молодой был и упрямый — до той легенды, на которую он ссылается. Оказывается, после смешения языков ослабевший Вавилон осадили враги. И солдаты, переставшие понимать офицеров, понимать друг друга — отбили их, потому что знали каждый свою задачу и свое место на стене…

И позволили разноязыким людям рассеяться по свету.

Вообще с Вавилонской башней масса неясностей. Почему Бог изобретает такой экзотический способ, чтобы сорвать строительство: ведь хватило бы, скажем, прямого обращения или небольшого землетрясения? Кроме того, уж Богу-то известно, что кирпичное строение можно довести метров до трехсот максимум. Что-то во всем этом есть весьма странное. Для того, чтобы рассеяться по земле, людям понадобилось построить башню. То есть — собраться огромным числом на маленьком пятачке. Выбиваться там из сил, производя тяжелейшую работу. Монотонным, засасывающим, бесконечным трудом достигать высоких степеней отрешения. Конечно, строители не догадываются, что именно они делают. И вряд ли до конца понимает сам Нимрод. Но ведь название Вавилон происходит от Баб-илу, что значит: Врата Бога. А Чжуан-Цзы писал: «Врата Господни — это несуществование».

Впрочем, сопоставление всяческих высказываний древних и великих может завести куда угодно.

Однако, слишком уж много Вавилонских башен разбросано в нашей истории. Создается впечатление, что вся она — всего лишь история строительства одной огромной башни. Причем сама башня — лишь способ достичь несуществования.

Правда, иногда мне кажется, что все, окружающее меня сейчас и окружавшее в прошлом, происходившее и происходящее — это просто очень громкий шум, непонятно от чего исходящий. Даже не так: я знаю, что знаю, от чего он исходит, но знание это заперто во мне, и ключ в скважине не поворачивается до конца.

Может быть, с этим и связана боязнь зеркал?"

**НИКА, ИЛИ СТЕЛЛА**

Они давно так не работали — по четыре представления в день. Но зрители шли, и грех было упускать их. Адам пришел в себя, но был еще очень слаб, горяч и временами заговаривался. Стелла кормила его с ложечки и придерживала, когда он сидел на горшке. Иппотроп ворчал, что это она во всем виновата — нужна она, такая, солдатам, когда у них по лагерям молодых блядешек — как блох; а если бы и сунули раз-другой — не рассыпалась бы, что, девочка, что ли, в первый, что ли, раз — тогда вон, с серыми монахами, могла, не орала, а тут — как резать будто ее собрались… Она и сама знала, что виновата.

Городок по имени Куртц был переполнен людьми. Слились два потока: селян, приехавших на ярмарку, и беженцев из Кикоя. Лишь на второй день им удалось найти крышу над головой: хозяин гостиницы «Красный лев» пустил их в просторную, но абсолютно пустую угловую комнату с двумя узкими бойницеподобными окнами. За это сверх программы Стелла и Пальмер каждый вечер бесплатно показывали небольшой номер в гостиничном трактире.

От усталости она стала вглядываться в лица — чего никогда не делала раньше. Цирковых детей учили презирать публику, и эту науку она освоила не менее успешно, чем акробатические трюки. Никто из сидевших вокруг не мог того, что могла она… А теперь — зачем-то смотрела исподтишка и не могла понять… У публики были лица детей. Счастливых или обиженных, сытых или полуголодных — но детей. И в трактире сидели бородатые пьяные дети. Они легко смеялись и ссорились по пустякам. Они были очень слабы и болезненно доверчивы, хотя казались себе могучими и хитрыми. Она поняла это, тревожащее ее подспудно уже давно, когда на одно из представлений заглянули два гернота. Кажется, это были юноша и девушка, хотя судить, естественно, было трудно. Узор на лбу показывал, что живут они в истинном обличии первый год. Тем не менее, они выглядели мудрыми добрыми королями в толпе восторженных малышей. Стелла сама испытала умиление и радость, вдохнув исходящий от них тончайший аромат — и тут на мгновение вспомнила, кто она в действительности и зачем находится здесь. Но даже это не заставило ее отвести жадный взгляд от прекрасных одухотворенных лиц с глазами, похожими на глаза святых угодников… Потом это прошло, и она с брезгливым удивлением спрашивала себя, что такого прекрасного можно рассмотреть в малоподвижных голубоватых масках?..

После этого посещения Иппотроп впал в мрачность, разговаривать не хотел и работал лишь один номер: борьбу с удавом. Похоже, ему самому доставляло какое-то извращенное удовольствие выскальзывать из могучих колец, доводя змея до бешенства. Борьба у них шла всерьез.

Так прошла неделя.

Чужое нервное присутствие внутри не доставляло беспокойств: Стелла будто бы несла в кулаке неразумную птичку, которую следовало защитить от котов. Иногда она задерживалась у клетки с горными львами. Наверное, их следует продать: дрессировщик Бигл пропал где-то в круговерти Кикоя… Но что-то удерживало ее от быстрых решений.

На восьмой день Адам вышел во двор гостиницы.

Стелла поддерживала его под руку, и он не отстранялся — но просто потому, что ее прикосновение было ему приятно. Шел пятый час дня, кончилось второе дневное представление, и впереди ждало вечернее, самое долгое и тяжелое. По двору сновали какие-то люди, из конюшни слышалось возбужденное ржание. Пахло горячей кухней и лошадьми. Мальчишки лет шести-семи деятельно тузили друг дружку у забора. Собаки в разнообразнейших позах валялись в пыли и чахлой серой траве.

— Мух нет, — сказал вдруг Адам.

— Что? — не поняла Стелла.

— Куда делись мухи? Их же было…

— Не знаю… — удивленно покрутила головой Стелла. Мух действительно не было.

Неприятное — смычком по ногтю — ощущение возникло и тут же растаяло в груди. С мухами действительно было что-то связано, из той, бывшей, ненастоящей жизни. Какое-то предупреждение… или сигнал?

— Надо уезжать, — сказал Адам. — Ехать дальше. Засиделись.

— Да, — сказала Стелла. — Раз ты здоров, то можно ехать. Завтра чтобы…

— Я не помню — про мух, — в голосе Адама прозвучало отчаяние. — У меня будто дырка в мозгах, и ветер в дырке… — он посмотрел на Стеллу, наклонился и заглянул ей в глаза. — Скажи — ты помнишь?

— Что-то помню, — пробормотала Стелла. — Неопасное что-то…

— Повелители мух, — вдруг прошептал страшным шепотом Адам; глаза у него расширились и стали как у гернота: огромные и блестящие. — Приближаются Повелители мух…

Странный вибрирующий гул произвели эти слова. Земля слегка качнулась под ногами и повернулась немного — со всем, что на ней было. И по всему, что было на земле, прошла мгновенная рябь, и на миг все покрылось трещинами, и в этих трещинах проступило что-то другое, чего не успел увидеть глаз и охватить разум — а потом трещины затянулись и все стало, как было: чересчур яркой, четкой, подробной и законченной картинкой, раскрашенным картоном, еще пахнущим сырой гуашью…

Если уходить, то немедленно — бросая все, верхами… и тем самым выдав себя. Или положиться на маскировку — и тогда держаться до конца. Равновесное положение… Нет — Адам не доскачет. Решено.

— Утром, — повторила она. Адам с тоской смотрел на нее.

**ТОУН АЛЕКСАНДР ДЖАЛЛАВ**

— Расслабься, Бо, — сказал Джаллав. — Ты не в строю. Ну-ка, расстегни мундир…

Зоунн сморщился, потом улыбнулся.

— Так уже лучше, — похвалил Джаллав. — Напомню, господа: в этом кабинете и в этом кругу — на «ты» и без званий.

— Как-то это против того, что… — Зоунн запнулся, — ты говорил на Круге.

— Круг Кругу рознь, — сказал Джаллав. — Ладно, ближе к делу. Бо, что это за херня произошла с Ксименом?

— Спонтанное возвращение, — пожал плечами Зоунн. — Теоретически возможно. Правда, раньше не наблюдалось.

— Вот именно. Притом — через слой.

— Нет, Алек, не через. Вав — ближайший…

— Я оговорился. Через воплощение.

— Ну, мы мало что знаем о природе спонтанных перебросов.

— Ты не находишь, что с Ксименом вообще происходит что-то странное?

— Нахожу. Но пока не могу сказать, что именно.

— Он сейчас в статусе наблюдателя? Кто с ним на связи?

— Топ-Ворош. Ну, ты помнишь — который работал по Препарии.

— Этот седой? Помню. Но, кажется, Тим собирался его вычистить?

— Я передумал, — сказал Ауэбб.

— Ну, и?..

— Он в прежнем облике, — сказал Ауэбб. — Вито Ивонни, эрмер. Весьма пассивен. Они все пока ведут сбор информации и первичный ее анализ. Боюсь, что дальше они так и не продвинутся.

— А больше нам там опереться не на кого… — не то спросил, не то подвел итог Джаллав. — Нужно послать подкрепление Ксимену — и попробовать реверсировать его самого. Хотя бы частично — чтобы он мог принимать информацию.

— Это мы уже делаем, — сказал Ауэбб.

— На то, чтобы подготовить группу, уйдет еще часов сто, — сказал Зоунн.

— А с другими нашими потерявшимися контакт не установлен? — спросил Джаллав.

— Нет, — сказал Зоунн. Ауэбб молча покачал головой.

— Понятно, — сказал Джаллав.

— В сущности, Ксимен косвенным путем ведет розыск остальных исчезнувших, — сказал Зоунн. — Мы считаем, что выброс пси-лавверов за пределы уровня Вав происходит путем усвоения ими особого артефакального кодона. Ивонни как раз и занят поиском источника этих кодонов. Когда мы найдем источник, нам будет легче искать наших людей.

— Так давайте ему поможем. Проведем симулирующую операцию…

— Я уже думал об этом. Но, Алек, — Зоунн поднял руку в знаке «возражения не принимаются», — операция состоится при одном условии: пойду я.

Повисло молчание.

— Хорошо, — сказал, наконец, Джаллав. — Назначь своего преемника. Сколько нужно на подготовку?

— Ничего, — сказал Зоунн. — Все уже готово. На Йод меня встретят. Оттуда пойду на авторежиме.

— Значит, ты уже все подготовил? — покачал головой Джаллав.

— Как вариант. Тим обеспечивает слежение и передачу данных Ксимену. Если потребуется, за мной отправится Марон.

— Который вытащил Ксимена?

— Да.

— Ну что же, господа сайры… — Джаллав встал. — Успеха вам.

Зоунн не ответил, просто поднялся и вышел из кабинета. Дверь он открыл левой рукой, а через порог переступил правой ногой. Дверь так и осталась открытой.

— Тим, — сказал Джаллав. — Ты постарайся, Тим.

Ауэбб кивнул.

Джаллав закрыл за ними дверь, вернулся на свое место и с минуту сидел, стараясь не думать ни о чем. Потом нажал клавишу интеркома.

— Это тоун. Малигнана ко мне.

Малигнан вошел почти сразу — будто стоял под дверью и ждал. Он был тонкий и угловатый, будто произошел не от обезьяны, а от кузнечика или богомола. И голос имел подстать: высокий и скрипучий.

— Вы призывали меня, владетельный тоун?

— Садитесь, Малигнан, — улыбнулся Джаллав.

— Не смею.

— Садитесь.

— Помилуйте, не смею!

— Повелеваю: садитесь.

Малигнан сел. Он был, пожалуй, единственный, кто относился с пиететом к старинному ритуалу. Все сменилось в Ордене, лишь чины и звания задержались — да громоздкий протокол официальных приветствий.

— Я прочел ваш обзор, Малигнан, — сказал Джаллав, — и хочу задать несколько вопросов. Я знаю, что вы осознанно отказались от роли аналитика, но лучшего, чем вы, специалиста по уровню Хет в Ордене, к сожалению… извините, я сказал бестактность. Малигнан, я прошу вас ответить на те вопросы, которые задал бы аналитику.

— Владетельный тоун, если это приказ…

— Нет, Малигнан, это не приказ. Вы имеете право отказаться. Я знаю, какими мотивами вы руководствуетесь, и уважаю их. Поэтому, если вы откажетесь, я начну сам ломать голову над этими вопросами, но это займет гораздо больше времени, а у нас его нет.

Малигнан молчал. На его лице ничего не отражалось. Потом он сказал:

— Хорошо. Я принимаю на себя ответственность за все, что я скажу, и я надеюсь, что владетельный тоун простит мне мое уклонение от обета.

— Спасибо, Малигнан. По-вашему, откуда взялись герноты?

— У меня два предположения, — сразу сказал Малигнан. — Возможно, это аналог тому феномену, который произошел в уровне Вав: занос из Алефа генного материала. А возможно, они пришли из другого уровня. Насколько я помню, в Шин описывались похожие существа.

— Похожие — и только, — возразил Джаллав.

— Кто гарантирует, что нам известны все уровни? — пожал узкими, почти несуществующими плечами Малигнан. — Я подозреваю, что уровни, где Преображение произошло давно, становятся закрытыми и неощутимыми для нас.

— И тогда герноты…

— Люди, прошедшие через Преображение.

— Другими словами — вочеловеченный Противник?

— Можно сказать и так. Но это лишь одно из проявлений вочеловечивания, и в этом же Хет мы найдем и другие формы…

— Котлованы?

— Да.

— Опять же, ваше мнение: котлованы служат подготовке к Преображению или чему-то еще?

— Чему-то еще. Другому.

— Вторжению в Алеф?

— Может быть… Не уверен. Нет, думаю, что нет.

— Ну, а чему?

— Мне кажется, что это оружие не нападения, а защиты.

— Но — оружие?

— Оружие, инструмент, сооружение… В наших терминах это не обозначишь. Нечто, служащее определенной цели. Донг.

— Что?

— Этим словом герноты обозначают предметы, назначение которых может быть лишь затуманено объяснениями. Предметы, отталкивающие слова.

— Хорошо, а почему вы уверены, что эти… донги… предназначены именно для защиты?

— Не могу сказать, что я абсолютно в этом уверен… но я действительно склоняюсь к такой мысли. У гернотов существует своеобразная эстетика вражды. Согласно ей, оружие нападения должно быть как можно меньше, незаметнее. Отравленная игла, а не дубина. В обороне же хороши все средства…

— И против кого они так могут обороняться? У них есть враги в уровне?

— Есть, и немало. Против них выступил очень сильный маг Яппо. Герноты встревожены этим вмешательством. Но, похоже, встревожены именно тем, что Яппо может расстроить их систему обороны против кого-то третьего. Самого Яппо они всерьез не опасаются.

— И кто же этот третий?

— Не знаю.

— Сколько у нас наблюдателей в Хет?

— Семеро. Готовим подкрепление, но… вы знаете, как все это непросто.

— Знаю. Скажите, Малигнан… нет ли возможности реверсировать кого-либо из наших наблюдателей — и вступить в переговоры с гернотами?

— Заставить наблюдателя раскрыть себя?

— Лучше — выступить медиумом.

— Надо подумать. Я не готов к ответу. Кроме того, я очень сомневаюсь, что с гернотами возможны переговоры.

— Я тоже сомневаюсь. Но попытаться необходимо — даже рискнув нашим агентом. В конце концов, нам еще не представлялось шанса побеседовать напрямую с противником.

— Я не думаю, что беседа будет с противником. Беседа будет с гернотами. Хотя… — Малигнан задумался. — Может быть, вы правы, владетельный тоун…

**ВИТО**

Грязь местами доходила до колен, жидкая, вонючая, ноги скользили, Микк, шедший вторым, провалился вдруг в какую-то невидимую под грязью дыру и застрял, стопа хитро подвернулась и не шла обратно, ему было адски больно, и лишь минут через двадцать удалось освободить его от этого капкана. Остаток пути он хромал, опираясь Вито на плечо. Лампочки горели тускло, красновато, на отдельных участках тоннеля их вообще не было. Ноэль вел уверенно, как крыса, давно изучившая этот старый лабиринт. Кабели всяческих видов увешивали стены, и не всегда можно было увидеть даже, бетонные эти стены или кирпичные.

Наконец, Ноэль остановился и стал сверяться со схемой.

— Где-то здесь, — сказал он. — Где-то очень близко.

Через несколько шагов обнаружилась темная ниша. В глубине ее луч фонаря осветил квадратную дверь из рифленого железа с приваренной скобой. Замок оказался кнопочно-цифровой, простенький, девяносто секунд работы. Труднее было пролезть в открывшееся отверстие: Сразу за дверцей начиналась крутая лестница вниз. Оттуда, снизу, шло низкое гудение и поднимались непонятные запахи.

Ноэль спустился первым. Вито смотрел, как пятно света пляшет по стенам, ложится на решетчатый пол — глубина метров пять, отметилось в сознании, — потом скрывается за каким-то препятствием. Шаги Ноэля были по-кошачьи беззвучны. Секунд через сорок внизу загорелся свет, и голос Ноэля позвал:

— Спускайтесь!

Спустились. Микк постанывал. Ему, наверное, казалось, что он просто дышит. Устал парень, подумал Вито. Держится, но устал. Зачем мы вообще его с собой потащили? Остался бы со Стасом. Здесь от него мало толку… Решетчатый пол — вибрирует — а что под ним? Вито пошарил по карманам, нашел монетку, уронил между прутьями — ничего. Тишина. Ладонь ощущает слабый ток теплого воздуха. Что там может быть? Непонятно…

Хорошо, если просто вентиляция.

Вдруг стало жутко. Необъяснимо, беспричинно. И даже не жутко, не страшно — накатило отчаяние от полного, предельного, неодолимого одиночества. Как на плоту в океане… как один в Антарктиде…

Что?

Нет, со мной полный порядок…

Помещение коммутаторного узла имело форму правильного куба. Все стены были скрыты под панелями разъемов. Ноэль сорвал уже две из них и изучал маркировку. С потолка свисала голая лампочка накаливания. Свет от нее шел желтоватый, пригорелый. Пахло электричеством. Воздух был переполнен электричеством, и от этого сжало, как тисками, виски.

Или от боли, или от тускло-желтого света — но Вито показалось, что перед ним мертвецы: скорчившийся на полу неподвижный мертвец и деловитый мертвец у стены. И сам он — шагающий мертвец, шкурка человека, набитая чем-то движущимся. От нас ничего не осталось, кроме способности двигаться…

Когда же мы успели умереть?

Незаметно, во сне…

Звуки Иерихонских труб не были слышны, и никто не знает, какую мелодию они выводили — просто стены города вдруг превратились в песок. И люди — к ним подползали невидимые нежные твари, вонзали без боли тонкие хоботки и выпивали, высасывали кровь, и мысли, и способность чувствовать, и что-то еще, свойственное людям…

— Ноэль, — позвал он, и, хотя своего голоса не услышал, был уверен почему-то, что Ноэль обернется. Прошло несколько минут. Ноэль обернулся.

Это был не Ноэль. Кто-то другой, неуловимо его напоминавший, но — другой. У человека было иссиня-бледное лицо и огромные черные глаза, полускрытые коричневыми морщинистыми черепашьими веками. Рот был тонкий, губы нервно кривились.

— Чтооо слууууоооааа… — звуки исходили не в такт движению губ, а потом и вовсе пропали.

Проверь меня, хотел сказать Вито, но не смог, губы освинцовели, язык не ворочался, в груди не было воздуха. Человек шагнул ему навстречу, вынимая что-то из кармана, — и это была смерть. Умирать еще раз было страшно. А потом вдруг все отодвинулось куда-то, сжалось и сморщилось — Гэбрилу показалось, что он вынырнул, наконец, из глубины и теперь может перевести дыхание. Он не дышал целую вечность.

— Порядок, — сказал он. — Показалось.

Ноэль недоверчиво смотрел на него. В руках у него был гипноген. Гэбрил знал практически все об этом варварском инструменте — гораздо больше, чем знал сам Ноэль. Уже несколько часов База гнала и гнала Гэбрилу всю имеющуюся информацию о Вав вообще и об эрмерах в частности. Не стоило подставлять себя под удар багрового луча…

— Давай все-таки проверимся, — сказал Ноэль. — Хочешь — сначала меня. Как-то все по-дурному я вижу…

— Подставляйся, — сказал Гэбрил. — Во избежание.

Он проверил настройку своего гипногена, поменял код и поднес излучатель к глазам Ноэля. В красном рефлексе лицо на миг стало кровавым. Ноэль вытянулся — и упал, будто внезапно перерезали все нити, удерживавшие его тело. Гэбрил сел рядом, еще раз поменял код и вновь включил излучатель. На этот раз излучатель работал долго.

— Кто вы? — спросил Гэбрил, когда лицо Ноэля приобрело обычный в этом освещении пергаментный цвет.

— Ноэль Куперман, — сказал Ноэль. Но голос был не его, и это не вызывало сомнений.

— Ноэль отключен, — сказал Гэбрил. — Пожалуйста, скажите, кто вы. Если хотите, я могу назваться первым. Сайр Гэбрил Ксимен, квинтал пси-лавверов.

— Мне это не говорит ни о чем, — сказал Ноэль. Вернее, тот, кто сидел в Ноэле.

— Вы не хотите называть себя?

— Допустим.

— Видите ли, мое руководство ищет контакт со всеми разумными существами мира, и вы, как я понимаю, относитесь к тем, с кем оно хотело бы встретиться в первую очередь.

— Зачем?

— Чтобы не допустить столкновения между нами.

— От столкновений мы защищены.

— То есть вы решительно не желаете контакта?

Пауза.

— Хорошо. Вреда это не принесет. Пользы, я думаю, тоже. Вы уполномочены вести такие переговоры?

— Нет.

— И я нет. Что будем делать?

— Назначим место и время встречи и передадим это своему руководству.

— Это разумно. Я предлагаю: в этом мире, в этом городе, в парке «Элизиум», в шахматном павильоне, через три часа.

— Хорошо.

— Меня зовут Тамегг, — сказал тот, кто сидел в Ноэле. — Я — Наблюдатель. — Слово «Наблюдатель» он так и произнес — с большой буквы.

— Очень приятно, Тамегг, — сказал Гэбрил.

— Мы расстаемся, — сказал Тамегг.

— Вам не повредит это устройство? — Гэбрил шевельнул гипногеном.

— Я умею закрываться от него.

— А я вот, к сожалению, не умею… Ничего, это не больно и быстро проходит.

Волнообразно затухающая багровая вспышка вернула лицу Ноэля прежнее выражение. Он поднял голову, потом сел. Гэбрил протянул ему гипноген.

— Теперь меня.

— Что было?

— Красный, за тысячу.

— Ух ты… Ладно, смотри сюда.

Глазок гипногена вспыхнул, растекся в круг; в кругу обозначились концентрические кольца, стали расширяться, потекли из центра к периферии, быстрее, быстрее — Гэбрил подался вперед, задержал дыхание и нырнул в это красное — и вынырнул с той стороны, внезапно обессилевший и неподвижный. Запах цветущей травы наполнял воздух — цветущей травы и дождя. Красный камень, на котором он лежал, местами был еще мокрый. Туча уходила, солнце светило ей вслед. На фоне синего занавеса, висящего уже над противоположным краем долины, горел непривычным многоцветием радужный столб, изгибающийся вправо и бледнеющий с высотой. Там, откуда он поднимался, уже никого не было. Потоки небесной воды залили жертвенный огонь. Лесные ушли. Все, лесные ушли. Ушли. Дан повторил это несколько раз. Тело не желало отрываться от камня. Тело знало, что бывает с теми, кто входит в траву. Но из-под камня, на котором он лежал, вытекал ничтожный ручеек и струился вниз, и за те многие годы, пока он струился, тонкий слой почвы стерся до скалы, и сама скала выщербилась и побелела, как отмытая водой и выгоревшая на солнце кость, кость земли, и можно, можно, можно было спуститься по руслу вниз, не касаясь травы, и Дан встал, не чувствуя ничего, кроме слабости, и спрыгнул в ручей, в его холодную легкую воду и, оскальзываясь, пошел, побежал вниз, вниз, петляя, и со стороны могло, наверное, показаться, что он специально бежит зигзагами — то ли спасаясь от выстрелов, то ли стараясь обмануть судьбу, — а на самом деле он следовал изгибам текущей воды и шептал, шептал, не в силах кричать, самые страшные проклятия Вирте, он ненавидел ее так, как может ненавидеть умирающий виновника своей смерти, почему, почему она не послушалась его, почему ушла так далеко, почему… найду и убью, шептал он, найду и убью, найду и убью. Под горой ручей прорыл себе глубокое и широкое ложе, дно стало мягким, ноги проваливались и тонули. С берегов, скрывающих идущего человека с головой, наклонялись, жадно извиваясь, руки травы, но достать не могли и разочарованно свистели вслед. Потом их стало меньше, а потом ручей вынырнул на луг, и здесь травы уже не было, то есть была совсем другая трава, бесконечно перепутанная, прочная, как брошенная на землю сеть, в ней водились огневки, а убегать от них по такой траве было бесполезно. Но Дан знал лисий бег, а огневки после дождя были ленивы и тяжелы, и поэтому следовало торопиться, и Дан побежал, высоко поднимая колени. Дважды огневки, похожие в траве на жирных слизняков размером с кошку, уползали с его пути, не пытаясь преследовать. А потом кончился луг, и начались серые кусты, а потом лиловые кусты, а потом дорогу преградила вдруг вырытая неизвестно кем канава, по обе стороны от нее виднелись беспалые вдавления, будто огромного роста великан полз на коленях, волоча за собой канавный плуг. На дне канавы скопилась синеватая жижа, и почему-то казалось, что под пленкой поверхности происходит какое-то опасное движение. Надо было скорее что-то делать, и Дан дорубил поваленное деревце, сбил с него ветки, осторожно потрогал этим шестом дно канавы — твердое — и, сильно оттолкнувшись, перевалил через канаву. Еще на середине полупрыжка он почувствовал удар по шесту, а потом, когда уже коснулся ногами земли, рывок. Следующий рывок вырвал шест из рук. На поверхности жижи вздулся тугой бугор — как бицепс. Шест тонул, погружаясь рывками. Это было то, о чем говорил Маленький Лев. Только он видел озеро. А здесь — канава. А впереди — деревья, и где-то там должно быть капище лесных. Дан, понимая всю бессмысленность того, что делает, снял с плеча ружье, разломил его и вложил патрон в ствол. Другой патрон он засунул под резиновое колечко, охватывающее ложе. Смешно. В кого стрелять? Во что? Но почему-то с ружьем он мог войти в лес, а без ружья — нет.

Случай или чутье — он вышел на тропу лесных. Ее нельзя было увидеть во мхах, но, пройдя между деревьями, к которым тянулись паутинные нити, и увидев другой такой же проход впереди — капли дождя еще не испарились с паутины, делая видимыми даже невидимые сигнальные — Дан понял, что идет по тропе лесных, а значит, идет правильно. Спящие пауки висели на ветвях, неожиданно похожие на спящих летучих мышей — только больше. Мимо одного он прошел в пяти шагах, и паук заворочался, почуяв, наверное, запах, но поленился проверить свое не самое острое чувство. Клочья грязного кокона валялись под ним, и чьи-то мелкие кости. Кошка или кролик — понять было трудно.

Капище можно было увидеть только в упор — плоский камень заподлицо с землей и черный на нем треножник. Деревья обступали камень близко-близко, образуя подобие частокола, и сплетались ровными кронами. И черные бугристые дубы в отдалении тоже, казалось, имели к этому всему отношение. Только неясно, какое. Было потрясающе тихо.

— Вирта, — позвал он, удивляясь неуместности голоса.

— Вирта! — крикнул он, заглушая страх.

— Вирта!!! — заорал он на самом деле от ужаса, обрушившегося на него подобно эху, могучему эху соляных пещер; ужас, как и эхо, нарастал, будто каждая лишняя секунда прожитой жизни, каждая секунда задержки кары эту кару усугубляла, превращая смерть в бесконечную мистерию. Но уже нечего было терять. — Вирта-а-а!!!

Он не мог сквозь собственный крик услышать ответ, но он его услышал. Тихий стон. Сзади и слева. Он обернулся.

Непонятно, как он не увидел это сразу.

Старый широкий дуб держал Вирту в своих буграх. Она наполовину утонула в нем. Ног до колен уже не было видно за складками коры, голова была запрокинута так, что лицо смотрело совсем вверх, и лишь рука билась, как пустой рукав рубашки на ветру. Медленно, глядя больше под ноги, чем вперед, Дан подошел к дубу. Сучья дуба скрипели, клонясь, но Дан знал, что у таких дубов они не достают до стоящего на земле человека. Может быть, потому что отпадает необходимость добывать пищу самим.

Вирте было уже не помочь. Голову ее втянуло в дерево, и там, где кора соприкасалась с кожей, тянулось множество тонких белесых волосков: то ли дерево корешками проросло в человека, то ли человек в дерево. Дан никогда не видел этого сам, но знал по рассказам — если сейчас попытаться оторвать, или вырубить, или еще как-то спасти поглощаемого — он немедленно умрет. Если не трогать — проживет еще несколько месяцев, погружаясь все больше и больше в дерево, все больше и больше становясь им. Через неделю Вирта перестанет испытывать боль. Лесные будут приходить к ней и разговаривать с нею, и она будет понимать то, что они ей говорят, и отвечать им, если сочтет нужным. Она станет устами их Бога. Всесильного Бога, избравшего себе лесных — и загнавшего остальных людей в горы, к ледникам…

— Вирта, — сказал Дан и понял, что уже давно плачет.

Рука ее вдруг замерла и робко, вопросительно потянулась к нему, и он позволил ей коснуться себя. Рука была нечеловечески холодна, но это была рука Вирты, тонкие пальцы Вирты, гладкая и мягкая ее, привыкшая к глине, ладонь, продолговатая родинка у ногтя безымянного пальца, узкое золотое детское неснимаемое колечко… Дрожащие пальцы то гладили его плечо, то судорожно вцеплялись, разрывая кожу, а потом Дан взял эту руку в свои и склонился, коснувшись губами запястья. Тонкий тоскливый вой пронзил его насквозь. Человек не мог кричать так, так не могла кричать его Вирта — но она кричала. Рот ее скривился, за закрытыми, слипшимися, сросшимися веками панически метались глаза. И тогда Дан, не убирая левой руки, не отпуская руку Вирты, поднял ружье, подвел ствол к ее подбородку и быстро, боясь передумать, нажал спуск. За миг до выстрела Вирта, почувствовав и поняв все, то ли с благодарностью, то ли в страхе — сжала его руку в своей…

Густой белый дым самодельного пороха рассеивался, Дан пятился назад, утратив на миг контроль над собой, и судорожно дергающийся сук скользящим ударом сбил его с ног. Сознания он не потерял, но что-то сдвинулось в восприятии: как будто в мире появился еще один цвет, или звук, или какая-то деталь, и сознание, обманутое обманутой памятью, пытается обнаружить это новое — и не может. Горячая струйка потекла по виску. Пригнувшись, Дан вернулся к стволу дуба. На то, во что превращалась Вирта, он не смотрел. В заплечном мешке его было два бурдюка с керосином. Он так и не снял мешок, придя домой. Теперь керосин был нужен здесь. Держа бурдюк на поднятых руках, он стал поливать кору, стараясь, чтобы драгоценная жидкость не стекала на землю, а задерживалась в трещинах. Двух бурдюков как раз хватило для того, чтобы обойти дуб кругом. Там, где кора была покрыта печеночно-черными сгустками, он остановился и достал огниво…

Грохот и треск остались позади, и желтизна дымного пламени, и почти человечьи вопли занявшейся кроны. Шестым чувством Дан знал тропу и шел по ней, имея последний патрон в стволе и тесак под рукой. Пройдет не больше часа — и весь лес, пока мирный, ополчится на него, и тогда не будет спасения — но не о спасении он молил, а о мести. Увидеть, успеть найти эти проклятые домики лесных, похожие когда на густые фигурно подстриженные кусты, когда на уродливые тыквы с пучком ветвей на макушке, когда просто на пни исполинских деревьев — полые, но живые. И тогда — у него есть еще один патрон и старый тесак, одним ударом срубающий дерево толщиной в руку.

Он не нашел поселка, но на исходе часа наткнулся на стадо линяющих коз, медлительных, как откормленные утки. Многие козы уже сбросили шкуры и голые, розовые, жались к тем, которые все еще носили свой густой белый мех. Значит, где-то здесь должны быть лесные, собирающие опавшие шкуры, подумал Дан, ладно, пусть так… Ему было все равно, кого убить.

Сзади кто-то сдавленно охнул, Дан обернулся: толстая старуха волокла в заросли, обхватив поперек туловища, маленького мальчика. Глаза у обоих были круглые. Налетев на взгляд Дана, она остановилась, одной рукой зажала рот себе, другой — завела мальчика за спину, спрятала. Дан поднял ружье. Надо было что-то сказать. Вдруг снова потекла унявшаяся было кровь. Старуха медленно перекрестилась. Она все знает, вдруг понял Дан, она знает, кто я, почему я… Тем лучше, не надо ничего говорить. Он нажал на спусковой крючок. Проклятие, пальцы не гнулись. Он с испугом посмотрел на руку. Указательный и средний пальцы торчали мертво, как деревянные. Потом вдруг разжались остальные, охватывавшие цевье. Кисть побелела. Он уже не чувствовал ее. Анестезия взлетела до локтя. Рука стала похожа на руку мраморной статуи. Это было нестерпимо жутко. Отшвырнув ружье, Дан повалился лицом в мох, скорчился. Как со стороны, он слышал звериный рев и хохот, исторгавшиеся из его рта. А потом будто лопнуло что-то, стягивающее его, как обруч стягивает клепки бочки. Он развалился на куски и впустил в себя глухую темноту.

Он долго куда-то падал, кружась.

На самом дне его окружили темные и светлые коричневатые полуцветные пятна. Постепенно они собрались в рисунок. Еще позже Дан понял, что именно этот рисунок означает.

Он лежал на кровати и смотрел в потолок. В невысокий деревянный потолок. Отсветы огня бродили по нему. Он сел. Кровать была пружинистая, в меру мягкая. На низком столике горела странная лампа: поставленная на попа крупная, раз в десять больше обычной, сосновая шишка, по чешуйкам которой скользили живые язычки яркого зеленоватого пламени. По ту сторону столика было темное стекло, в нем слабо отражалась лампа, позади лампы туманным пятном проступало лицо, а позади лица и сквозь него двигались какие-то огоньки и бледные сполохи, и Дан не сразу догадался, что это не зеркало, а окно. Просто за окном была ночь.

Он помнил все, что произошло. И, вопреки естеству, ему хотелось только есть и пить.

Пустой для всего, он сидел неподвижно. Потом вздрогнул пол, зашелестела занавеска, и кто-то вошел. С трудом повернув голову, Дан увидел ту самую старуху. Вблизи она оказалась совсем не толстой, просто низенькой и кругленькой. На вид ей было лет шестьдесят.

— Вот и хорошо, — сказала она. — Сейчас будем кушать. Голодный, конечно?

Дан кивнул.

— Ну, пойдем. Я тебе все покажу. Тут уборная, тут умывальня. Весь можешь помыться, белье поменять. Помоешься?

Дан опять кивнул. Он чувствовал себя невыносимо грязным.

— Тогда вот мыло тебе, вот губка. Воду так пускают… — старуха показала. — Понял?

— Понял, — сказал Дан. — Спасибо.

**ТОУН АЛЕКСАНДР ДЖАЛЛАВ**

— Пойду я, и пойдет Малигнан, — повторил Джаллав. — Без вариантов.

— Это неразумно, — сказал Ауэбб. — Ушел Борис, теперь уходишь ты. Что, Алексозо будет командовать?

— Да, — сказал Джаллав. — В случае чего — Алексозо.

— Подумай еще раз.

— Подумано. Хватит, Айз, ты меня не переубедишь.

— Боюсь, что так.

— А нечего бояться, Айз. Поражение мы уже потерпели. Давным-давно. Теперь бы узнать, от кого — и все. Хотя и это, по большому счету — праздное любопытство.

Ауэбб кашлянул в кулак.

— Извини, Алек, твои парадоксы я иногда… хм… не воспринимаю. Что ты имеешь в виду?

— Что мы воюем с миражами. Тебе не приходило в голову, что никаких уровней, никаких слоев просто не существует? И это все — лишь наше истолкование — примитивное — того, что происходит с нами здесь и сейчас? Как тот фокус с двумя зеркалами…

— Алек, ты не обидишься, если я тебе скажу?.. В общем, меня это не интересует. Абсолютно. Мое дело — связь с наблюдателями и зондаж. Пока хоть один наблюдатель будет вне Алефа — я буду заниматься связью, а не космогонией. И я не вполне понимаю, как ты…

— Я не собираюсь бросать весла, — сказал Джаллав. — Если ты об этом подумал. Я вовсе не собираюсь бросать весла. А вдруг и наше ерзанье имеет какой-то второй смысл?

**ТАТЬЯНА**

Душу высасывал этот каменный рокот. И темнота. Далекие огоньки сигарет почему-то лишь добавляли одиночества. Воздух был теплый, даже порывами горячий, но от камня исходил странный холод. Ступни заледенели до бесчувствия. Если сесть — замерзнет жопа. Ватник не спасает. Радиоактивный холод. Холодовая радиация.

Только бы не замерзли руки.

Только бы дождаться, наконец, восхода солнца этого подземного мира, только бы не окоченеть…

Леонида сказала, что свет его мертвенно-белый.

С восходом подземного солнца начнется бой.

Неизвестно, когда он закончится.

Неизвестно, чем.

— Тань! — еле слышно; тусклое пятно по земле. — Тань, где ты?

Не Дима. Пашка. Слабое звено.

— Здесь. Иди сюда.

Сыплется щебень.

— Эй, в глаза только не свети!

— Ой, извини, Тань.

— Извини… Чего на месте не сидится?

— Не знаю… Ждать уже сил нет. Стоило так бежать, чтобы здесь мерзнуть?

— Стоило.

— Ты знаешь, да? Объясни мне. Я все перезабыл.

— Тебе это надо? Главное, что мы здесь.

— Надо. И это тоже надо.

— В Москве был? Метро видел? По эскалатору, ведущему вниз, можно подняться — но надо бежать очень быстро. Так и переходы, которыми мы шли — сюда попасть можно, если очень быстро идти. Чуть медленнее — и уже никогда сюда не попадешь. А чуть быстрее — приходишь намного раньше намеченного. Понял?

— А почему?

— Свойство у них такое. Почему одноименные заряды отталкиваются?

— Ну, это совсем другое…

— В принципе — то же самое.

— Не знаю… Знак Зверя что означает?

— Зверя и означает. А в каком обрамлении?

— Стрела и венок.

— И все?

— Вроде все. А может, и еще что-то. Некогда было всматриваться.

— А, это ты в колодцы глядел? Тогда не бери в голову. Те звезды не дня нас.

— Откуда ты знаешь?

— От верблюда.

— Я тебя как человека…

— Ладно тебе. Откуда мы вообще это знаем? От Леониды, ясно же. Чего спрашивать?

— А ты ей веришь?

— Верю. — Татьяна постаралась сказать это твердо.

— Трюхан, наверное, тоже верил…

— Трюхан — это другое дело. Он, наверное, и человеком-то уже не был.

— А может, и мы уже нелюди. Не знаем этого только.

— Хватит гундеть. И гундишь, и гундишь. Как пердун какой-нибудь старый. Трюхан, наверное, так же вот погундеть любил.

— А правда, что ты его… сама?..

— Нет, не я. Видела только.

— А кто?

— Пошел ты, Павлик, знаешь куда?

— Пойду я, пойду. Ты вот мне скажи: а ты уверена, что мы правильно все делаем? Что воюем за тех?

— А что нам — за оборотней надо воевать? Вместе с Трюханом, да?

— Слушай, не надо так, а? Ты же понимаешь, что я не об этом?

— А о чем?

— Ну, помнишь, Мишка твой все время цитировал: «Бог вряд ли интересуется религиозными спорами»? А почему тогда люди должны интересоваться разборками богов, да еще участвовать в них? Слушай, мы ведь даже не добровольцы.

— Мишку ты не трожь, — неожиданно для себя сказала Татьяна. — Не трожь, понял?

— Да я и не трогал, — растерялся Пашка. — Чего ты?

— Ничего.

Наступило молчание.

Я злюсь, потому что он прав, подумала Татьяна. Я не хочу злиться. Она попыталась вернуть себе — хоть на миг — то состояние полного понимания и приятия мира, которое охватило ее в прозрении. Ничего не получилось. Как щенка, ее выбросили в темноту на мороз и закрыли дверь.

В темноту.

На мороз…

Ниже колен ног уже будто не было.

Она стала переминаться с ноги на ногу, приподниматься на носках, и тут Пашка сказал:

— Тань, ты слышишь?

— Слышу, — сразу отозвалась она, потому что странный звук продолжался уже некоторое время, как бы отпочковываясь от рокота каменного потока в ущелье. Будто кто-то барабанил пальцами по расстроенной ненатянутой гитаре.

Не только они услышали этот звук. Хлопнула ракетница, и три зеленых звезды повисли в вышине. Мерцающий их свет обрисовал тот край ущелья, мост

— и трех всадников, едущих шагом. Кони нервно вздернули головы, но всадники не шелохнулись. Слишком далеко было до них, слишком мало света — но Татьяне показалось, что один из них — женщина. Две ракеты погасли, а последняя все продолжала гореть и падать — прямо на всадников. Татьяна сглотнула. Нет — ракета упала позади них, довольно далеко. В последней зеленой вспышке конные силуэты вдруг выросли и приблизились. Теперь были слышны только звуки — негромкий конский топот легко перекрыл грохот и скрежет каменной реки. Темноту испятнало лиловым. Вдруг — с запозданием — в глазах вновь возникли те же силуэты — теперь светлые. Да, женщина — справа. Почему-то это было важно. Что-то задержалось в памяти из постигнутого.

— Люди и люди, — упрямо сказал Пашка.

**НОЭЛЬ**

Язык не ворочался. Рот нельзя было ни закрыть, ни открыть по-настоящему. Где-то между переносицей и затылком застряло чугунное ядро, не дающее ни дышать, ни думать. И ко всему этому — завязаны глаза и руки пристегнуты к подлокотникам какого-то не очень приятного кресла. Кто-то ходил рядом. Слышался невнятный разговор — как за дверью.

— Дайте воды, — имел в виду Ноэль, выдавливая из себя звуковое месиво. — Воды. Пить.

Его поняли. Шаги торопливо приблизились, чья-то рука легла ему на затылок и наклонила голову вперед — губы коснулись края чашки. Первые глотки дались с болью — казалось, вода раздирает сколотый булавками пищевод. Потом стало легче.

От второй чашки он слегка опьянел.

— Где я? — спросил он, поворачивая голову. — Что со мной?

— Подождите немного, — сказал усталый мужской голос. — Сейчас придет наш главный, он вам все объяснит.

— Зачем мне завязали глаза?

— Вам вреден свет.

— Я в больнице?

— Почти.

— А руки можно освободить?

— Пока нет. Вы еще не вполне здоровы.

— Но что со мной произошло? Черт, я ничего не помню! Скажите же мне!

— Успокойтесь, пожалуйста. Я не могу вам ничего говорить, потому что это повлияет на вашу память. Постарайтесь — молча — сосредоточиться и вспомнить сегодняшний день, начиная с самого утра. Я включу метроном, он не позволит вам отвлекаться.

Раздались легкие сухие щелчки, разделенные затухающим эхом пауз. Ноэль откинулся в кресле. Последуем совету. Он подробно, стараясь не перескакивать, начал рассказывать сам себе, как еще раз попытались проникнуть в «хитрый домик» по проводам и, когда это опять не получилось, стали готовить операцию. Как в рамках этой операции он сам, Вито и Микк добрались до коммутаторного узла, чтобы напрямую подключиться к кабелю «хитрого домика», минуя фильтры и АТС. И там… да, там что-то случилось. Он стал вспоминать последовательно, сбился, постарался найти какие-то опорные эпизоды — и тоже не нашел. Все расползалось в момент прикосновения.

Поймал кодон, это ясно… но где, черт возьми?! Ни одного открытого канала! Разве что телепатически…

А все-таки хорошо, что телепатии не существует. Что бы мы тогда делали?..

Впрочем, мы и без телепатии ни черта не можем сделать.

— Скажите, — позвал он, — со мной были еще двое. Что с ними?

— Нет, — сказал голос чуть встревоженно. — Никого с вами не было.

— Нас было трое.

— М-м… повремените еще немного. Сейчас придет главный и все скажет.

— А вы не можете?

— Не могу. Не имею права.

Как мне это все не нравится, подумал Ноэль. Это не медики, не полиция, не безопасность. Военные? Какого дьявола тут делать военным? Тут же вспомнился рассказ Микка, и следом — спекуляции Кипроса. Абсолютное оружие… военные разработки по генному инженерингу… контроль сознания… И если все это действительно вылетело из бутылки и гуляет на воле — Боже милосердный! Значит, имеется не то что открытый — зияющий канал ввода кодонов! От человека к человеку, помимо воли и сознания… и что-то еще, не только это, что-то еще…

Запах.

Так. Спокойно. Теоретически — возможно?

Да. Летучие молекулы могут быть огромны.

Господи, даже не обязательно летучие. Взвесь. Пыль. Аэрозоль. Значит

— вплоть до фрагментов ДНК. Миллиарды бит информации.

Кодоны тысячных разрядов — биогенного происхождения — по открытому неконтролируемому каналу…

Это конец.

Без паники… только без паники.

Еще не проверено. Не доказано.

Он знал, что это лишь утешение. Проверено и доказано. Лишь надетые кем-то (обязательно кем-то?) шоры не позволяли увидеть…

Биогенного происхождения. Не «антропо». «Био».

Чего нанюхался Микк? Пыльцы? Спор какой-нибудь плесени?

Чего нанюхались мы сегодня там, в подземелье?

А ведь нанюхались. Теперь это ясно.

А здесь мне, похоже, сделали какую-то полную промывку мозгов. Потому что я вижу, какие мы все были идиоты. Шайка слабоумных. Занятых чем угодно, кроме дела.

И ведь давно. По крайней мере, неделю. Да, еще Томаш не приехал, а мы уже тыкались, как слепые, как дурни с заведенными глазами, но при этом очень целеустремленные и очень довольные собой.

Наверное, он застонал, потому что человек, бывший рядом с ним, приблизился — Ноэль щекой почувствовал его тепло — и спросил:

— Что-то беспокоит?

— Да развяжите же меня, черт возьми, — прошептал Ноэль. — Я что — опасный псих?

— Нет, сударь мой, дело не в этом. Вы просто не способны еще контролировать свое тело.

— Не понял?

— Сейчас вам все объяснят. Вот идет главный…

Разговор в соседней комнате прервался, скрипнула дверь, приблизились мягкие уверенные шаги. Запахло лосьоном «Гард» — Ноэль сам иногда пользовался им.

— Здравствуйте, господин Куперман, — сказал вошедший. По голосу было трудно определить, сколько лет его обладателю, но то, что он привык отдавать распоряжения, было несомненно. — Извините за неудобства, но без этого нам пока не обойтись.

— Здравствуйте, — сказал Ноэль. — Где я нахожусь?

— Географически — по тому адресу, которым вы, похоже, интересовались. Организационно — в полевой ноологической лаборатории ведомства научной разведки. «Центр Меестерса», слышали? Причем Меестерс — это я.

— Я догадался, — сказал Ноэль. — А зачем меня так плотно упаковали?

— Чтобы вы не покалечились. Нам пришлось ингибировать многие корко-подкорковые связи, в том числе в двигательной зоне. Сейчас они восстанавливаются, но не обязательно в прежнем порядке. Вот мы с вами побеседуем, а потом в гимнастическом зале вас будут учить ходить — ну, и прочее. То же самое со зрением. Если снять повязку сейчас — вы будете видеть, как новорожденный. На взрослого человека это действует… не лучшим образом. Бывали случаи реактивных психозов.

— Нас было трое, — сказал Ноэль.

— Боюсь, что вашим друзьям мы уже не поможем, — сказал Меестерс. — В туннелях живут очень опасные твари. Вас выхватили, можно сказать, из самых их лап.

— Значит, все-таки живут…

— Да. Об этом вы тоже догадывались?

— Допускал как вариант. Ах, черт… черт, черт, черт…

— Господин Куперман, я понимаю ваши чувства. Но ответьте, пожалуйста: какова была цель этой вашей экспедиции?

— Конечная цель — поиск пропавших. В частности, жены моего друга.

— Этапы вы пропускаете, но я примерно представляю ход ваших поисков и рассуждений… Как ее звали?

— Агнесса Свенсон.

Пауза, ушедшая, видимо, на обмен знаками.

— Она у нас, — сказал Меестерс. — В карантине.

— Вот как… — Ноэль ощутил что-то непонятное — скорее дурноту, чем радость или облегчение. — И что это за карантин?

— Карантин для тех, кто имел контакт с подземной фауной.

— И их родственников?

— Да, если они невосприимчивы к подпороговому внушению.

— Почему?

— Это один из симптомов поражения вирусом «Дельта».

— Не понял.

— Мутировавший возбудитель «лихорадки Вильсона». Слышали про такую?

— А какое отношение?..

— Вирус «Дельта» сам превратился в мощнейший мутагенный фактор. Подземная фауна — это его работа. Вирус ее создал, в ней он имеет свой резервуар…

— Как я понимаю, этот вирус осуществляет перестройку генов? Так?

— Именно так.

— Он создан искусственно?

Меестерс помедлил.

— Хотел бы я знать… Все, что я знаю о строении вируса «Дельта», говорит за это. Но «лихорадка Вильсона» впервые появилась в двадцатых годах — и уже тогда…

— Люди-мутанты?

— Вы слышали?

— Еще бы…

— Вот оно что! Давид Куперман?..

— Мой родной дед.

— У меня есть все его пластинки.

— Это замечательно… Значит, все — из-за этого чертова вируса?

— Получается так. А вы сами не занимаетесь музыкой?

— Я ее не переношу. Сколько же людей в вашем карантине?

— Около трехсот.

— И… что дальше?

— Работаем.

— Так. А зачем все эти сложности: исчезновения, похищения?..

— Потому что нормальные карантинные мероприятия нам проводить запретили. Собственно, запретили вообще всю нашу деятельность. Поэтому приходится так — нелегально.

Ничего не понимаю, подумал Ноэль. Или врет, или недоговаривает, или мир сошел с ума. Или все вместе.

— Насколько я знаю, — сказал он вслух, — вы работали над программой генетического оружия…

— Вы неплохо осведомлены для рядового эрмера, — сухо сказал Меестерс.

— Нет, «работал» — это сильно сказано. Я получил это задание, получил эти деньги… Боже мой, я совсем отупел! Мадам Хаппа, в девичестве…

— Это была моя сестра. Родная сестра. Но вы неправы. С ее мужем я отношений не поддерживаю.

— Как тесен этот чертов мир…

Не расслабляйся, сказал себе Ноэль. Он сфальшивил. Он знал, что я брат Фанни. Или догадывался.

— Вы не договорили, — сказал он вслух.

— Да, — Меестерс помолчал. — Вам это действительно интересно?

— Более чем.

— Ну, что ж… Я с середины пятидесятых работаю над этой темой. Начинали еще в оккупации, подпольно. Цель была: мобилизовать скрытые резервы человека. Кое-чего добились. Очень многое узнали о мозге. Когда все это рассекретят… золотое дно. Лет десять назад подошли вплотную к главному: из необученного, неподготовленного человека мы могли сделать бойца, стоящего десятка спецназовских офицеров. Причем сам человек ни о чем не подозревал. Пока не получал задание. Да… Потом все это с треском провалилось. Не без участия вашего свояка. Но я был слишком упрям… хотя следовало бы… ладно. Как говорят, почтальон звонит дважды. Второй звонок был четыре года назад, в Платиборе. Вы знаете, конечно, что там произошло. Вот тогда я понял, что мы вторглись в запретную зону. И что вообще эти предупреждения адресованы не только мне. С тех пор я трачу деньги, которые мне дают на разработку оружия… м-м-м… в общем, я хочу понять, можно ли из этой запретной зоны выбраться.

И без денег ясно, что нельзя, подумал Ноэль.

— Ваш Корпус занят примерно тем же, — продолжал Меестерс, — хотя, с моей точки зрения, ваш подход… скажем, несколько механистичен. Надеюсь, вы понимаете, что наладить нормальное сотрудничество в наших условиях — дело нереальное. Вы, может быть, понимаете также, что этот антагонизм рационального объяснения не имеет и поддерживается, вероятно, самим предметом нашего общего интереса… — он помолчал, давая Ноэлю осознать сказанное. Потом продолжил: — Я предлагаю вам — лично вам — свое сотрудничество. В частном порядке. Минуя высшее руководство. Я понимаю, что для вас это большой риск. Не буду объяснять, что это для меня. Но на карту поставлена судьба цивилизации. Вы знаете, что это не громкие слова…

Я знаю, что так оно и есть, подумал Ноэль, но я очень сомневаюсь, что мы сможем что-нибудь сделать, даже если перестанем лупить друг друга по мордам и резко объединимся. Он правильно сказал: мы слишком долго бродим по запретной зоне. И даже не в поисках выхода, а непонятно зачем…

— Чтобы вам была ясна серьезность моих предложений, — продолжал Меестерс, — я готов предоставить вам практически всю информацию, касающуюся похищения и убийства вашей сестры.

Сердце Ноэля пропустило удар.

— Я искал способ передать это досье Хаппе, — сказал Меестерс. — Тоже как знак серьезности моих намерений. Я думаю, лучшего случая мне не представится.

— Кто же… — голос внезапно сел, Ноэль закашлялся.

— Убивал Максим Крэгг. Видеозапись делал Ларс Игнацио. Командовал ими Гейнц Гроссбландер. «Летучие мыши».

— Кто заказывал музыку?

— Прямых улик нет. Можно только догадываться. Струх.

— У него уже не спросишь… и с него уже не спросишь. Что ж. Спасибо.

— Вряд ли стоит благодарить за такое… Господин Куперман, сейчас мы перевезем вас на нашу базу — и там, думаю, за сутки поставим на ноги. Христо поможет вам сесть в машину. Старайтесь не делать вообще никаких движений.

Позволяя располагать себя поудобнее в салоне какой-то просторной машины, Ноэль подумал, что так и не поблагодарил за спасение своей жизни. Ладно, подумал он, еще успею…

Машина покатила по Вокзальной, потом свернула на Амундсена. Интересно, как там мои, подумал Ноэль, следят за нами или растерялись? Должны следить… Улица Амундсена выводила на Окружное шоссе. Ага, вот выехали и прибавили скорость. У Ноэля было природное чувство маршрута — как у кошки. В любом городе, раз взглянув на карту, он мог ориентироваться, как старожил. В родном — его невозможно было запутать. Сейчас: с завязанными глазами, лежа — он мог определить свое местоположение с точностью до квартала. Даже если бы водитель попытался запутать его, кружа по переулкам, он все равно знал бы, где они находятся и куда направляются: курсограф в мозгу работал безотказно. Мутантское наследство… Каинова печать.

Сейчас будет развилка: перекрытая (не для всех) дорога в Старый порт, а если правее — шоссе на Боргос, еще правее — «лепесток», ведущий в туннель под шоссе и дальше — к деловому центру. Поедем, наверное, прямо…

Взлетный рев идущего на обгон грузовичка ударил по ушам. Тут же завизжали тормоза, покрышки, Ноэля бросило вперед, чей-то крик, стекло и железо, вонь, удары не слышны, вспышка под черепом, выстрелы: один, другой, третий… Скрежет. Тихая брань. Тишина.

Ноэль очнулся и понял, что его несут. Несут как ребенка, подхватив под спину и под колени. Скорее, скорее, торопил кто-то знакомый, и мучительная неузнаваемость голоса царапала больнее, чем настоящая боль. Потом его стали укладывать в машину, и он опять уплыл.

Вновь он пришел в себя уже в помещении. Он чувствовал, что это помещение, потому что воздух был спертый и воняло сырой человеческой грязью. И — чего-то не хватало. Чего именно — он долго не мог понять. Наконец, понял. Не было повязки на глазах. Значит, их можно открыть…

Почему-то пришел страх. Как на пороге кабинета зубного врача.

Веки просвечивали розовым.

Глаза открылись не сразу. Не с первой попытки.

Над ним был щелястый потолок из серых необработанных досок. На длинном шнуре висела голая лампочка.

Ноэль наклонил голову набок. Теперь он видел еще и стену.

Стена была из расслоившейся перепачканной красками фанеры. Листы были прибиты к каркасу из криво сколоченных горбылей. Два почерневших от времени телеграфных столба — на одном сохранились даже перекладины с изоляторами — удерживали это все на себе. На высоте выше человеческого роста между столбами висела толстая и широкая плаха, непонятно на чем держащаяся. На плаху опиралась грубая приставная лестница. Повыше плахи темнели два неровных отверстия.

Он посмотрел в другую сторону.

Здесь стена была совсем рядом, так что видны были пятна грязи на фанере и загнутые острия гвоздей, торчащие из досок. Зато здесь было окно. Заляпанные косые куски стекла, прижатые гвоздями к деревянной раме. Ноэль смотрел в это окно снизу вверх и видел только кусочек неба. В небе зияла дыра, формой похожая на головастика. Вокруг дыры голубая эмаль облупилась, выставив ржавого цвета основу.

— Очнулся, — сказал рядом голос Стаса. Ноэль перевел взгляд туда, откуда пришел голос.

Это действительно был Стас. Только мертвый. Высохшая вяленая плоть облегала кости. Лицо — нарисованное на том пергаменте, в который превратилось настоящее лицо — неподвижно улыбалось. Глаза сухо поблескивали. Кто-то другой был за этими глазами.

— Слава богу, — сказал другой голос, и другой мертвец встал рядом с первым. Джиллина. Лица у него не было, и узнал его Ноэль только по оперкостюму, сметанному из бумажной мешковины серо-синего цвета, и по голосу, высокому и нервному. — А мы уже не знали, что думать. Совершенно целый, а без реакции… Супер, ты слышишь?

— Слышу, — одними губами произнес Ноэль. — Слышу.

— Ты как, в порядке? — тревожно спросил Стас. Лицо его не переставало улыбаться.

— В порядке…

Звуки, выходящие из его губ, казались совершенно инородными окружающему. Будто невидимые пузыри отрывались и уплывали.

— Вито… где?

— Здесь Вито, здесь. Только он в сопоре. Томаш с ним возится. Говорит

— многослойка. Этот Микк — молодец. Пуля в бедре, пуля между ребер — а Вито дотащил. Молодец. Ты сам-то помнишь, что с вами было?

— Нет, — сказал Ноэль, подумав. — Меня проверяли?

— Чист, как младенец, — сказал Стас. Ноэлю показалось вдруг, что из-за его плеча на миг выглянуло что-то лоснящееся и тут же спряталось.

— Хорошо, — Ноэль закрыл глаза. Так было легче. — Чем эта затея с Кипросом кончилась?

— Убили его. Эти, которые тебя везли. Прямо в лоб. — Голос Стаса.

— Мы его забрали, — добавил голос Джиллины. — А тех оставили.

— Не уследил я, — голос Стаса виновато дрогнул. — А он неопытный — выскочил, побежал… Ты его хорошо знал?

— Вместе росли, — сказал Ноэль. — В одном дворе.

— Я понимаю, — сказал Стас. — Я знаю, что ты чувствуешь. Но я не успел. Даже подумать не мог, что он побежит…

Ноэль открыл глаза. Стас по-прежнему улыбался.

— Позови Вильгельма, — зачем-то сказал Ноэль.

— Он дежурит на эрме.

— Посиди за него…

Стас повернулся и пошел. Со спины он казался более живым. Джиллина не шевелился. Ноэль перевел взгляд на него, и он тут же стал поправлять свой бумажный мундирчик. Ну, чего ты ту топчешься, хотел спросить Ноэль, но не спросил.

Появился Вильгельм. Шагов его не было слышно. Он всегда ходил бесшумно, и лишь теперь Ноэль понял, почему: Вильгельм был матерчатой куклой, набитой чем-то легким. Лишь голова его была пластмассовой головой манекена.

— Что, Ноэль? — спросил он, не открывая тонкогубого рта. — Ты меня звал?

— Да. Хочу тебя попросить… тебя попросить… — Господи, надоумь, о чем я должен его попросить, о чем? Ноэль закрыл и тут же открыл глаза. — Запиши имена, я боюсь… забыть… Запиши: Гейнц Гроссбландер… Ларс Игнацио… Максим Крэгг… Запиши…

— Я записал, Ноэль. Кто это? Поискать их?

— Это мое. Лично мое. Дело.

— Как хочешь. Это все? Ты за этим меня звал?

— Нет. Как «черный шар»?

— Никак, — заметно помедлив, сказал Вильгельм.

— Слушай меня внимательно. Мы не контролируем еще один канал поступления информации. Через обоняние. Этот синий кодон-сборщик…

— Знаю, Ноэль. Томаш допер до этого.

— И… что?

Вильгельм не ответил. Он мягко потрепал Ноэля по плечу, повернулся и пошел прочь. Он шел походкой мультипликационных кукол: каждое движение состояло из десятка статичных поз, сменяющих одна другую почти — почти — неуловимо.

— Вильгельм! — позвал Ноэль. Но Вильгельм не вернулся.

Мертвец Джиллина возобновил свои бессмысленные прихорашивания. Ноэль отвел от него взгляд: Джиллина замер. Стой так, подумал Ноэль. Теперь надо было сделать то, что делать было особенно страшно: посмотреть на себя. Тело свое он чувствовал, однако инстинктивно — или это было внушение? — опасался делать какие-нибудь движения. Но ведь надо когда-то начинать, подумал он. Для начала — поднимем руку…

Он почувствовал, что его правая рука шевельнулась и легла ладонью кверху.

Поднимаем…

Нет, рука лишь напряглась, силясь развернуться еще больше — ладонью наружу.

Понял.

Он сделал усилие в том же направлении — развернуть ладонь — и рука тут же взлетела вверх и упала за головой.

Уже кое-что…

После нескольких попыток ему удалось поднять руку из-за головы и задержать ее напротив лица.

Он был готов ко всему — кроме того, что увидел. Это была его рука. Просто испачканная чем-то, не вполне еще послушная — но ничуть не изменившаяся. Небольшая кисть, коротковатые пальцы с квадратными ногтями, сине-розовый шрам от недавнего ожога… Ноэль перевел взгляд на Джиллину. Тот вновь ожил, поправил ремень, спросил:

— Я тебе пока не нужен?

— Нет, — выдохнул Ноэль.

— Если что — позови. Я тут рядом.

Ноэль, скосив глаза, смотрел ему вслед. У Джиллины было что-то не в порядке с походкой. Прямое туловище уплывало, а ноги подволакивались за ним, не всегда касаясь пола. Ноэль снова посмотрел на руку. Рука тряслась, и он не знал, что нужно сделать, чтобы остановить ее. Рука тряслась все сильнее и сильнее.

Все силы уходили на то, чтобы не закричать.

Потом вдруг поднялась левая рука, обрушилась сверху на правую и прижала ее к груди. Ноэль чувствовал, как медленно затухают судороги и толчки.

Откуда-то пришел холод.

Я чист, подумал Ноэль. Стас сказал, что я чист. И Меестерс говорил что-то подобное. Он говорил, что меня надо заново учить видеть. А это значит… это значит…

Это значило только то, что сейчас он видел мир таким, каков он есть.

Холод усиливался.

**ТОУН АЛЕКСАНДР ДЖАЛЛАВ**

— В сущности, этот мир рушится под собственной тяжестью, — сказал сидящий напротив Джаллава старик, передвигая какую-то фигуру на доске. — Все, что делаем мы — это лишь попытки увернуться от обломков.

Джаллав позволил своему носителю сделать ответный ход.

— У нас не возникло впечатления, что здешние процессы ведут к неотвратимому фатальному исходу, — сказал он.

— Ведут, — сказал старик. — Истощение биосферы уже перешло критическую точку. Через тридцать лет стали бы проявляться эффекты третьего-четвертого порядка. Вам, к счастью, это незнакомо. Взрывное развитие наиболее приспособляемых, наиболее агрессивных форм жизни. И в результате — формирование примитивного злобного божества. Которое создаст еще более примитивный и злобный мир. И так по нисходящей — до воплощения зла.

— Если вас послушать, — сказал Малигнан из-за плеча Джаллава, — вы заботитесь только о добре. А если присмотреться к вашим методам…

Малигнану в носители досталась женщина. Может быть, поэтому он слегка нервничал.

— К нашему глубочайшему сожалению, Создатель не оставил нам других методов, — старик сделал очередной ход. — И либо мы ничего не делаем и соглашаемся с распространением зла, либо творим малое зло, чтобы избежать большого. Третьего не дано.

— Не знаю… — рука Джаллава повисла над доской. — Я не берусь спорить об обстановке в целом — но этот мир я бы попытался спасти. И вам, и нам известны его проблемы, и вы, и мы достаточно сильны, чтобы их разрешить. Наша этика требует бороться за жизнь больного до конца.

— Это достойно уважения, — сказал старик. — Но представьте, какой была бы ваша этика, если бы больной, вместо того, чтобы просто умереть, превращался бы в мерзкое опасное чудовище? В древности наша раса была подвержена такой болезни, — сказал он и посмотрел на Малигнана.

— И вы убивали больных? — спросил Малигнан.

— А как бы поступали вы? — спросил старик.

Джаллав в молчании сделал какой-то ход.

— Есть все признаки того, что этот мир поражен подобной болезнью, — продолжал старик. — Когда вы шли сюда, то обратили, наверное, внимание на то, что этот город просто скучен. Голые стены, слишком широкие улицы, одинаковые люди. У радуги здесь четыре цвета. Если так пойдет дальше, в этом мире останутся лишь прямые углы, несколько оттенков серого и две сотни слов в языке. Причем люди изменений не заметят. Подавляющее большинство из них.

— А те, кто заметит?

— Им будет очень плохо. Но они ничего не смогут объяснить. Смешно жалеть о том, чего нет в природе.

— Очень знакомое чувство, — сказал Джаллав.

— Ничего удивительного, — сказал старик. — Все чисто технологические миры подвержены этому процессу. Инфляция образности.

— А ваш?

— Наш мир не чисто технологический.

— Объясните, пожалуйста.

— В свое время, около десяти тысяч лет назад, наш мир прошел через эту стадию. Правда, нам повезло. Видите ли, наша раса способна к эмпатическому общению. И нам удалось сохранить контроль за ситуацией. Правда, это стоило нам двадцати миллиардов жизней на протяжении тысячи лет. Но в конце концов нам удалось найти свое место в преображенной биосфере, а ей, в свою очередь, удалось приспособить нас к себе. Божество нашего обновленного мира оказалось мудрым и светлым и создало такой прекрасный мир, как Сартас…

— Извините, — сказал Джаллав, — вы уже не в первый раз говорите: божество. Что вы имеете в виду?

— Я имею в виду божество. Создателя. Других названий я не знаю. Того, кто создает миры.

— Кто создает миры… Это — в прямом смысле?

— Конечно.

— То есть мир создает божество, а божество затем создает другой мир? Я правильно понял?

— Абсолютно правильно.

— И так — до бесконечности?

— Не знаю. Возможно, да. Предела пока не положено.

— И все миры — в одном месте?

— Не понимаю вопроса. Вы же перемещаетесь из мира в мир. В одном они месте или в разных?

— Я имел в виду: один мир приходит на смену другому или все они существуют совместно? Но я уже понял. Скажите мне вот что: как именно в мире появляется божество?

— Это очень долгий процесс. Все живое, общаясь меж собой, создает некую идеальную субстанцию, которую мы называем «цаас». Чем теснее и интенсивнее общение, тем плотнее цаас. Когда в него включаются люди, цаас приобретает сходство с разумом. Он начинает активно познавать мир. Естественно, создает свое представление об этом мире. В какой-то момент это представление становится достаточно завершенным, чтобы начать самостоятельную жизнь. Возникает новый мир, в нем тут же образуется свой цаас. Поскольку представления о мире всегда отличаются от самого мира, то вновь образуемый мир отличается от предыдущего — на характер божества…

— Минутку… Получается, что божеству достаточно вообразить — и появляется новый мир?

— В определенном смысле — да.

— И мир существует в воображении божества?

— До тех пор, пока не станет способен к самостоятельному существованию.

— А потом?

— Потом он просто существует. Я не могу понять, о чем вы спрашиваете?

— Образовавшийся мир — он тоже идеален?

— Нет, конечно. Он вполне реален. У него свои законы…

— А вещество? Материя? Она откуда берется?

— Когда цаас осознает, что мир вещественен, что у материи есть свойства, существенно влияющие на основы мироздания, он вводит эти свойства в свои представления. Таким образом, возникающий мир тоже становится материальным… Цаас не осознает, что творит мир.

— Мы не поймем друг друга. Или поймем, но нескоро. Давайте вернемся к этому конкретному миру. Вы хотите в первую очередь предотвратить появление, как вы сказали, примитивного и злого божества? Но, может быть, как раз для этого и следовало бы поддержать людей? Помочь им, направить…

— Здесь это делать уже поздно. Единственное, что остается — это эвакуировать население. Чем мы и заняты, собственно.

— Эвакуировать? Куда? И как? Тела…

— Тела остаются здесь, естественно. И остаются те немногие, кто будет способен удерживать здешний цаас от судорожных движений. Такие люди есть. Наши агенты будут помогать им. Ваши, надеюсь, не будут мешать. Думаю, через сотню лет мы стабилизируем этот мир.

— А куда вы хотите эвакуировать всех? Ведь свободных тел — единицы…

— Для них уже создан новый мир. Он достаточно беден — но это ведь только лагерь для беженцев. И еще сорок миров — в работе. Это как раз то, чем вы интересовались, сударыня, — старик поклонился Малигнану. — Чем занимаются жители королевства Альбаст. Они творят новые миры.

— Вы хотите сказать?..

— Да. Эту функцию божества мы освоили. Не очень давно и не так хорошо

— но кое-что мы уже можем.

Джаллав посмотрел на Малигнана, на своего визави, сделал ход.

— Вам шах, — услышал он свои слова.

— Ушел, — старик задержал руку над доской. — Поправляю фигуры.

— Да, пожалуйста… И когда же вы хотите начать эвакуацию?

— Она уже происходит — постепенно. Сейчас темп ее ускоряется. По нашим подсчетам, через два года здесь останется не более пяти процентов личностей.

— Шах и следующим ходом мат, — сказал Джаллав.

**МИКК, ИЛИ ПАВЛИК САМОХИН**

Когда в карманах осталось три патрона, он протрезвел. Или остолбенел. Или что-то еще случилось с ним, что-то, заставившее его выпрямиться и оглядеться.

Пейзаж уже мало напоминал тот, что был до начала боя. Ущелье стало уже, мост — шире и массивнее. Прежняя дыра туннеля теперь больше напоминала ворота в каменной стене. И сама эта стена, противоположная сторона ущелья, теперь, приблизившись, казалась не дикой и скальной, а сложенной из грубых темных, почти черных кирпичей. Пустынное каменистое плато впереди, казавшееся бескрайним, вдруг обрело границы: из белого марева проступили будто светящиеся изнутри голубые горные цепи. И лишь дорога позади осталась неизменной: узкий каменный карниз, уходящий вверх, в клубящийся мрак. Странное мерцание, потерянный блеск, разбросанный по ней, продолжался еще и во мраке, но потом терялся и он.

Серые туши чешуйчатых коней, белые холмики их всадников усеивали пустошь. Молчание висело над всем этим — рядом с белесым мертвым солнцем — и лишь земля вздрагивала под ногами, будто там, в глубине, проворачивались какие-то застоявшиеся огромные механизмы.

Леонида Яновна стояла в рост, открыто, неподвижно. Единственная из всех, она была не в ватнике, а в свободной белой накидке. Казалось, ни жар, исторгаемый пустошью, ни холод камней под ногами не касались ее. Неподалеку от нее Пашка видел Архипова, настороженного, готового ко всему. Марья Петровна, в испятнанном черным ватнике, сидела над убитыми. Куц был убит, и Фома Андреевич, и Петюк. Куда-то пропала Оксана. Наверное, тоже была убита, но найти ее не смогли. Татьяна, черная и острая, как галка, бродила между камней, разыскивая что-то. Дим Димыч сидел, повернувшись спиной ко всему. Тяжелый архиповский механизм лежал у него на коленях. Может быть, он и не стрелял ни разу, подумал Пашка. И где-то был еще Малашонок, но его Пашка не видел. И был еще сам Пашка, с его тремя патронами к вертикалке шестнадцатого калибра…

Вновь за спиной зацокали копыта. Пашка оглянулся: из зева ворот выезжали новые всадники в белом. Теперь их было четверо. Трое пониже окружали высокого и статного, в сложном и, наверное, тяжелом головном уборе. Их кони шли мерной неторопливой рысью. Тошнотворный восторг накатил на Пашку. Стиснув зубы, он ждал приближения всадников. И тут раздался настоящий грохот.

Он еще успел увидеть, как разлетаются каменные глыбы — и тут же в туче пыли появилась когтистая лапа! Следующий удар взрыл изнутри землю. Из трещин хлынуло пламя. Потом земля приподнялась еще, опала — и появился дракон.

Он был прекрасен!

Он был прекрасен и страшен, и смертельно опасен — но прекрасен прежде всего. Кощунством было — повредить ему. Дракон повел головой, освобождаясь от последних комьев, камней и пыли, и поднял лапу. Шум пересыпаемых монет сопровождал его движения. Потом он волнообразно изогнулся — и тонкий жесткий хвост с визгом рассек воздух и впечатался в землю. Глыба размером с быка расселась пополам от этого удара.

Сзади кричали лошади. Пашка не оглянулся.

Встречный выстрел был почти не слышен — но в груди дракона появилась мгновенная вмятина. Зелеными сверкающими брызгами разлетелись чешуйки. Высоко взметнув хвост, дракон встал на задние лапы — и выдохнул пламя.

Оно было почти невидимым — но чадно, как кучи тряпья, вспыхнули убитые — и Марья Петровна. Комком огня она метнулась вперед, навстречу дракону, и упала между камней, и осталась лежать, а пламя корежило ее, мертвую или еще живую, и убитые тоже изгибались в огне, будто только в нем умирали сейчас окончательно. В море странных шепчущих звуков происходило это, и дракон, совершив кошачий прыжок, медленно плыл сейчас над головой, и медленно — ду-у-у-ду-у-у-ду-у-у — били автоматы, и в брюхе дракона, непристойно-белом, рыбьем, появлялись дырки, дырки, дырки, и дракон, изгибаясь на лету, пастью пытался схватить невидимую смерть — и, не долетев до моста, на котором сгрудились беспомощные боги, грянулся на землю — совсем рядом с Пашкой. Горячий кожаный запах исходил от дракона. Ошеломленный неловким своим падением, обезумевший от боли, он вскочил, озираясь, до жути похожий на человека, и бросился в сторону Леониды, стоящей неподвижно с воздетыми к небу руками, и Татьяна, хладнокровно сменив магазин, хлестнула его длинной, от бедра, очередью — по голове, по шее, по плечу. Он зашатался и остановился, вертя головой в поиске обидчика, и Пашка, не до конца понимая, что делает, навскидку выстрелил из обоих стволов — почти в упор. Наверное, пули с закатанными в них подшипниковыми шариками пробили драконью броню: он вздрогнул как-то нутряно и издал тонкий свист — как закипающий чайник. Из пасти вновь вырвался огонь, но слабо и бесцельно — над головами. Секунду дракон был неподвижен, а потом подался назад — и ударил хвостом.

Пашку зацепило, наверное, средней частью хвоста, да еще не на ударе, а на замахе — но этого хватило. Земля исчезла из-под ног, небыстро опрокинулась, скользнула под спину — и ухнула по спине.

Раздался отчетливый хруст. Не было ни боли, ни страха. Рядом ступила, дробя камни, драконья лапа. Только теперь Пашка осознал, как огромен дракон: лапа его была больше человека. Грохнуло несколько выстрелов подряд, лапа убралась — но появилась голова! Голове досталось больше всего, она вся была в выщербинах, залита густо-зеленой кровью — и с вытекшим левым глазом! Дракон не видел Пашку, и поэтому Пашка смог, поднявшись на четвереньки, отползти в щель между камнями. Дракон снова пустил пламя — теперь по земле. Кто-то закричал — Пашка не видел, кто. Он вдруг остро ощутил свою безоружность. Над головой, как клинок, свистнул хвост. Пригибаясь, Пашка побежал туда, где должен был быть Дим Димыч — и споткнулся об его вытянутые ноги. Он так и сидел, без движения, без цели и без пользы. И лишь когда Пашка схватил его магазинку, он сделал слабое движение: удержать.

Остерегаясь, Пашка выглянул из-за камней. Дракон в полусотне шагов стоял на задних лапах, тонкий, изогнувшийся, как кобра; хвост его то сворачивался кольцами, то расправлялся, взметая пыль и обломки камня. Передними лапами он зажимал себе живот. Наклонив голову, осматривался. Все скрылись, и даже Леониды не было видно. Мост был пуст. Рядом с драконом что-то жирно горело, обволакивая его тяжелым грязным дымом. А потом, как чертик из коробочки, перед драконом выскочил кто-то неузнаваемый и поднял автомат. Очередь — и зеленый проблеск метнувшейся лапы — одновременно…

Человек исчез, а дракон упал на брюхо и забился. Передними лапами он скреб голову, стараясь содрать то, что мешает ему видеть. Летели жуткие ошметья, хлестала кровь. Хвост, как хлыст, сек землю. Потом дракон пополз, слепой, задрав голову к небу, круша и вздымая все, что было перед ним и вокруг него. Невидящей головой он обводил полукруги, и светлое пламя, касаясь камней, становилось красным. Забирая влево, он разворачивался, и Пашка с ужасом понял, что через несколько секунд эта сила сметет и испепелит его.

Дим Димыч подниматься не хотел, он ничего не видел вокруг себя, ничего не понимал, его ничто не касалось. Пашка в ужасе ударил его по лицу, потом схватил за руку — и, к своему удивлению, поставил на ноги. Теперь надо было его увести отсюда. Он тащил безвольного и бессильного учителя между камней, поднимал, когда он падал и, рыдая, тащил дальше, и только взбираясь на насыпь моста, обнаружил в своей руке так и не стрелявшую в этом бою магазинку. А потом с моста ему подали руку. Это была Татьяна.

— Дима, Димочка! — закричала она. — Дима, очнись же!

Дим Димыч, узнавая ее, робко улыбнулся.

— Спасибо, Пончик, — сказала она Пашке. — Я не знаю, как… — и с ненавистью посмотрела на Леониду.

Леонида стояла, отрешенная, там, где кончался мост и начиналась поблескивающая дорога. Ее хитон, грязный и прожженный, свисал с плеч неподвижно — хотя жгучий ветер с пустоши здесь, наверху, был силен. Дракон, воя, уже не полз по кругу, а крутился на месте: его левые лапы судорожно царапали землю, а правые волочились, цепляясь. Что-то еще изменилось в пейзаже, но Пашка не мог понять, что. Потом Леонида с трудом приоткрыла рот и сказала, не глядя ни на кого:

— Все. Уходите.

— А остальные? — спросил Пашка.

— Нет остальных, — вместо Леониды ответила Татьяна.

— Уходите, — повторила Леонида. — Уже начинается…

Тихий, но покрывающий все звук возник ниоткуда. От него тяжестью налились ноги, а вокруг стало пусто и холодно.

— Бежим, — сказала Татьяна, сделала шаг в сторону Леониды и вдруг остановилась.

— Не туда, — еле ворочая языком, сказала Леонида. — Через мост… в башню…

— А вы? — задохнулся Пашка.

— Бегите… хорошие… бегите… скорее…

С трудом, не понимая, что делается с ногами, с головой, Пашка потащился через мост. Овальное отверстие ворот медленно плыло навстречу. Татьяна догнала его и вцепилась в рукав. Другой рукой она держала Дим Димыча.

— Танька… что это?..

— Потом, Пончик… потом… скорее… сил уже нет…

— Леонида… почему?..

— Держит нам… дорогу… не понимаешь?..

Казалось, они поднимаются по крутой тысячеступенной лестнице — так трудно давался каждый шаг. Воздух стоял стеной. Последние двадцать шагов были смертельно трудны. Ног уже не было — каменные подпорки. Свинцовые подпорки. Нечем стало дышать — твердый воздух резал гортань. Пашка знал, что они никогда не дойдут. А потом неожиданно — казалось, ворота еще впереди — они повалились навзничь, как будто лопнула не пускавшая их паутина, и поплыли куда-то. Здесь было темно. Вскоре овал ворот превратился в туманное пятнышко позади, а потом исчезло и оно.

Может быть, прошли годы. Здесь ничто не напоминало о времени. Здесь не было верха и низа, правых и виноватых, жизни и смерти. Здесь был покой. Как маленький окаменевший зверь, спрятанный в скале, Пашка висел посреди ничего без ощущений, чувств, мыслей и желаний. Но шевельнулась и поднялась Татьяна, и стал свет, твердь земная под спиной и затылком и мерзкая искрящая боль в груди и боку. И Пашка застонал протяжно и жалобно. Все кончилось, и нужно было, чтобы его пожалели.

— Тише, Пончик, тише, — плача, сказала Татьяна, — не расслабляйся, нам еще идти и идти… у меня тоже все болит, я тоже не могу… и Диму тащить, тащить ведь придется…

И тут Дим Димыч приподнялся и посмотрел вполне осмысленно:

— Куда это вы собрались меня тащить?

— Димочка… — выдохнула Татьяна и опустилась на землю.

— Погоди… где это мы? — Дим Димыч заозирался, и Пашка тоже, насколько позволяла боль, закрутил головой.

В самом деле: помещение, куда они каким-то непонятным способом попали, было странно: круглое, вернее, цилиндрическое, с рядами темных квадратных окошек на высоте, оно напоминало то ли павильон «чертова колеса», то ли арену для гонок по вертикальной стене. В центре, там, где должно было находиться колесо, стояло что-то, похожее на песочные часы высотой с трехэтажный дом. Мощные колонны из полированной бронзы ограждали саму колбу — формы, может быть, не классической, но характерной, с перехватом посередине. Колба была абсолютно черной, без малейшего отблеска. Высокий туманный потолок заливал все голубоватым подменным светом. Возле стены местами стояли какие-то зачехленные механизмы. Диаметр помещения был метров тридцать, и никакого выхода из него видно не было.

**ВИТО, ИЛИ САЙР КСИМЕН, ИЛИ ДАН, ИЛИ ДИМ ДИМЫЧ**

На завтрак были другие плоды, с хлебным и ореховым вкусом, и новое питье, похожее на молоко, но не молоко. Старуха, госпожа Моника, ела как птичка; Дан же ничего не мог с собой поделать. Ему с трудом удавалось держать себя в рамках приличий и не начать жрать, набивая рот и чавкая. Он слышал, что так бывает, но не думал почему-то, что такое может быть с ним. Это казалось непристойным и унизительным. Впрочем, старуха так не считала и явно была довольна аппетитом гостя.

Гостя? Такой статус устроил бы его — если бы не был противоестественен. Впрочем, все, что произошло с утра вчерашнего, бесконечно далекого дня, было противоестественно. Пропажа Вирты, бег по остывающему следу, проход сквозь траву, капище лесных, желание убить… и

— медленные сборы, будто что-то отводило мысль и взгляд, рысканье на тропе, хотя все было понятно, необыкновенная — и ожидаемая! — легкость прохода, какая-то неполная, кастрированная месть, невозможность убить… приветливость старухи, постыдный жор, чувства уюта и тоски, чужие сны и томящая боль в груди. Все, что происходило, происходило с ним — и не с ним, потому что он не узнавал сам себя.

— Ты кушай, сынок, — сказала старуха. — Кушай, я еще принесу. Этого добра здесь — невпересчет. Вы там, небось, впроголодь живете?

— Нет, — проглотив кусок, сказал Дан. — Не впроголодь… — и впился зубами в ароматную мяготь.

— А вкусноты такой все равно нет, — уверенно сказала старуха.

Дан кивнул. Не вяленая баранина и не лепешки на воде…

— А вот не поверишь — все это при мне началось, — сказала старуха. — Я маленькая еще была, у брата жила. Брат работника держал, а работник руку имел, травы знал и шептать мог. И сделал работник садик, повязал его, и стал садик желания его исполнять. Ну, а ты знаешь — чем трава лучше, тем подход к ней деликатнее. А брат раз перепил — с мужем моим потомошним — и в садике том уснул. И все — высосала его трава. Долго найти не могли, думали — в город уехал. На пятый, что ли, день его работник-то как раз и нашел. Лежит вот такая куколка, с ладошку… С испугу хотели спалить садик, а война же шла, ну, и — не до того оказалось… И вот, видишь — расползлось. Теперь везде, считай, этот садик, а к добру это, к худу — не знаю.

— И я не знаю, — сказал Дан. — Вчера еще знал, а сегодня уже не знаю… Если б людей деревьям не отдавали — кто бы против был?

Старуха помолчала, глядя куда-то мимо Дана. В окно доносились детские голоса и тонкий — не собачий, а скорее, лисий — лай.

— Никто ни в чем не виноват, — вдруг сказала она тихим чужим голосом.

— Так вот живешь, живешь, а потом понимаешь — никто ни в чем не виноват. Убил бы ты меня — а виноват бы не был. И не убил — тоже не виноват.

— Не понимаю, — Дан напрягся.

— А никто не понимает, — сказала старуха. — Рожали нас, не спрашивали, хотим мы или не хотим. И мы рожаем, не спрашиваем. Так же и смерть принять… Пойдем, сынок.

— К-куда? — поперхнулся Дан.

— К Лекья-камнерезу. Он через скалы короткий путь знает. Проводит тебя. А ты подумал — к деревьям? Нет, не твой черед… Да и не смерть то, а многие жизни. Так говорят.

— И ты веришь, госпожа?

— Мне все равно. Идем.

— Моя жена… Она не хотела идти. Ее тащили. Несли. Она дралась. Я видел кровь на земле. Она любила меня, она хотела детей от меня…

— Лес дает нам, что мы захотим. Но и берет, что захочет. Она была лесной и посвящена лесу. Ты знал?

— Она была моя.

— Потом уже твоя.

— Зачем все это? Зачем? Ты ведь знаешь. Скажи!

— Кабы знать… А может, оно и лучше, что не знаем. Нам пора.

Она взяла Дана за руку, как маленького, и повела к двери.

В полость пушистого зеленого кокона шагнул он.

Все было как в дымке, как в зеленом тумане.

Налетели, кружась, легкие звуки.

Паутинки запахов липли к лицу.

Дан зажмурился и чихнул.

И все исчезло.

Все осыпалось, будто ветхой бумаге стало невмоготу от бешенства красок и бешенства времени. Пыль осела, растекаясь по полу и взвихряясь на сквозняках. Было пронзительно холодно, будто пленочка стен прикрывала собой массив вечного льда. Вито приподнялся на локте, сел. Он был один, и гипноген, присоединенный к эрму, висел на странном кронштейне: ржавой рапире, воткнутой в стену. Сквозь попискивание эрма проступала мертвая тишина.

Ноги подгибались. Мочевой пузырь был переполнен. Надо было выйти, но выходить не хотелось. Воздух пропитался страхом. Вито выдернул рапиру из стены, присел несколько раз, держась за кушетку, потом решительно подошел к двери и толкнул ее. Дверь вела на галерею в каком-то не очень большом зале. Господи, сообразил Вито, ведь это дом, который мы заняли перед… перед… Память дала сбой. Что-то не так. Ага, но если это тот дом, то туалет — вот эта дверь. Прекрасно…

До чего же человек зависим от проклятой гидравлики! Вытесняет все.

Облегченно застегивая штаны, Вито услышал за спиной шорох, обернулся

— и подавился собственным криком. На него смотрело чудовище.

Оно спускалось по стене, бесформенное, покрытое бурой шерстью. Мохнатые суставчатые лапы шевелились, не столько передвигая тело, сколько ощупывая путь. Несколько тусклых глазок, расположенных по кругу, смотрели тяжело и злобно. Волна жуткой вони ударила в лицо. Вито шарахнулся назад, инстинктивно выставляя перед собой бессмысленную рапиру, споткнулся об унитаз и повалился навзничь. Мелькнула мысль, что надо успеть заколоться — и пропала. И все пропало. Вито долго лежал без движения, потом открыл глаза.

Изможденное лицо Томаша склонялось над ним.

— Вот теперь, кажется, получилось, — сказал Томаш.

— Может быть, — Вито сел. — Где остальные?

— Все здесь, — сказал Томаш. — Микк ранен. А Супер побывал у тех. Что-то они с ним сделали.

— Разберемся, — сказал Вито.

— Да, — кивнул Томаш. — Если честно, то на тебя вся надежда.

— Разберемся, — повторил Вито. — Скажи лучше, где тут сортир?

— Рядом дверь. Ты что, забыл?

Вито прислушался к себе.

— Нет, вроде бы, все помню. Так — спросилось почему-то.

Он вышел на галерею, посмотрел вниз. Вильгельм и Стас сидели за стац-эрмом и что-то пытались вытащить. Проектор выдавал вулканическое борение форм. Будто парочка гигантских амеб осваивала все позы «Кама-сутры». На овальном столе неподвижно лежал Ноэль.

В сортире странно пахло: смесью горелого пластика с чем-то приторно-сладким. Пол был скользкий — присыпанный тонкой серой пылью. К журчанию воды в бачке примешивался какой-то посторонний звук. Вито нерешительно вошел, огляделся. Вдруг из-за унитаза деловито вышла крыса, посмотрела на Вито, постояла, развернулась и ушла обратно. От подобной наглости он оторопел. Нет, сначала дела, потом — крысы…

Дыра в стене была огромной: не крысиная, а просто барсучья нора. Зная, что делает глупость, Вито достал из кобуры свой «вальтер», передернул затвор, сунул руку с пистолетом в дыру и нажал спуск. Ахнуло глухо — и в лицо из дыры вылетело густое облако пыли. Закашлявшись, он отскочил и стал протирать глаза. На этот раз повезло: под тентом оказалась ручная лебедка с выносной стрелой. Вот, возьми — Татьяна протянула ему чистый лоскуток. Дима приложил его к глазам, прижал, выдавливая слезы. Потом провел несколько раз — от висков к переносице. Лоскуток сделался черный. Стало можно видеть.

— Пожалуй, достанет до окон, — сказала Татьяна.

— Надо попробовать, — согласился Дима.

Вдвоем они развернули лебедку на ее предназначенных для рельсов колесах и подкатили к стене. Потом, крутя визжащий барабан, стали поднимать стрелу. До окон она не достала, но с ее конца дотянуться — можно было попробовать.

— Во-первых, я немного подлиннее, — предупреждая Татьянин ход, сказал Дима, — а во-вторых, я не устал — в отличие от тебя.

— У тебя же голова кружится, — сказала Татьяна. — Я же вижу.

— Все прошло, — сказал он.

Это было вранье, но ничего не сделаешь — приходилось врать. Он окончательно перестал бы уважать себя, уступи ей эту честь. Достаточно того, что вырубился во время боя…

— Ладно, — согласилась Татьяна. — Только давай мы тебя подстрахуем.

Страховка получилась надежная: тросом лебедки Диму опоясали, и Татьяна, стоя внизу, понемногу наматывала на барабан слабину. Стрела покачивалась, и голова кружилась как следует, и два раза Дима чудом удерживался на своей ненадежной опоре — и все-таки докарабкался до верху, ногой оплел ржавый железный уголок — потом качнулся вперед и широко расставленными руками оперся о стену. Поднял глаза. До нижнего края окна было с полметра, не больше.

Но и не меньше.

Что ж… Он перенес ногу на верхнюю, последнюю перекладину, другую поставил на скобу, огораживающую ролик, перебирая руками, распрямил колени…

Стекло. Вот оно, стекло.

Теперь дотянуться до пожарного топорика за поясом…

Он понял, что не сможет этого сделать. Если он отпустит хотя бы одну руку…

Подумаешь, упаду. Я же привязан.

Организм сопротивлялся, как дурной. Он не понимал: привязан, не привязан… Он видел бездну под ногами.

Но нет и обратной дороги… Стрела качнулась под ногами, Дима чуть не сорвался, но удержался все-таки, упершись в стену локтями и лбом. Вот, пожалуй, теперь можно дотянуться до топорика…

Вслепую он рубанул по стеклу. Топорик отскочил. Он ударил сильнее — и вместо ожидаемого дождя осколков раздалось густое «чвак». Топорик застрял. Дима поднял глаза — стекло стало белым от множества трещин. Триплекс. В несколько ударов он вырубил дыру, за которую можно было уцепиться левой рукой. Теперь он почувствовал себя увереннее. Но все равно пришлось повозиться, пока удалось проделать достаточно большое отверстие.

Он постоял, держась за край окна и переводя дыхание. Плечи ломило. Жарко было невыносимо. Отдышавшись, он подтянулся, оперся грудью об острый край рамы и несколько секунд висел, вглядываясь в полумрак. Прямо перед глазами был блестящий хромированный поручень. Дальше — малопонятное: пульты, щиты, железные шкафы… Необитаемый вид. Дима перехватился руками за поручень и втянул тело в окно.

Пыль здесь лежала ковром. И пахло в первую очередь пылью. Он встал, освободился от троса, привязал его к поручню. Высунулся, помахал Татьяне и Павлику, крикнул: «Осмотрюсь и вернусь!» — и пошел осматриваться.

Помещение имело форму сектора. Таких, наверное, вокруг этого круглого зала должно быть штук восемь. Два массивных, будто отлитых из чугуна пульта стояли так, чтобы операторы сидели лицом к окну, а два других, поменьше и покомпактнее — под прямым углом к ним. Дима осмотрел пульт, рукавом стеганки смахнув густую пыль. Под пылью обнаружились циферблаты в черных эбонитовых окантовках. На шкалах были цифры и какие-то полузнакомые символы. Ладно, потом вспомню. Голова еще не вполне своя.

А в противоположной от окна стене, между железных шкафов с рубильниками по бокам, он нашел обычную дверь. Она была открыта. За дверью ощущалось не слишком обширное пространство. Дима постоял, дожидаясь, когда глаза привыкнут к темноте.

Это спасло ему жизнь.

Он уловил скольжение светового блика по стене до того, как услышал шаги — и на всякий случай отодвинулся за створку двери. Рука сама забралась в карман, обхватила плотненькую рукоятку «ТТ». Придерживая левой рукой затворную раму через ткань ватника, Дима дослал патрон. Предохранитель был испорчен, и Архипов, повозившись с ним, выбросил его совсем. Архипов, подумал Дима. Неужели — правда?.. А я лежал, как теплое говно… Шаги приблизились и остановились.

— Чуха, секи масть! — раздался шепот. — Окно!

Окно! Дима, пятясь, обогнул железный шкаф и встал за ним, держа пистолет перед лицом стволом вверх.

После долгого молчания за дверью закричали:

— Эй! Выходи! Выходи, ничего не сделаем! Слышь, чего говорю?

Нашли дурака.

— Выходи!

Леопольд. Подлый трус.

Было странно легко и холодно.

Голоса забубнили, а потом раздались тихие осторожные кошачьи шажки — кто-то на полусогнутых, готовый к прыжку и падению, шел от двери к окну. Остановился, поворот вокруг себя — не заметил. Дима вжался за шкаф. Или заметил? Почему стоит?

Очередь оглушила его. Будто он сидел в железной бочке, по которой лупили молотками.

Вторая очередь была тише — стрелок перенес огонь на другую цель.

Железная стенка — на уровне груди — вздулась и пошла бугорками. Пули пробили только один слой железа.

Все дальнейшее было уже будто бы и не с ним.

Тот, в центре комнаты, намерен был убить его — не зная, кого, не зная, вооружен ли противник… Значит, он получил право на ответный выстрел.

Дима сделал полшага и, не целясь, послал пулю в того, на полусогнутых, с автоматом у живота — и, зная, что попал, тут же развернулся к двери. Второй — замер. Он мог разнести Диму в клочья, потому что ствол автомата смотрел Диме прямо в живот, но — замер. Такое случается.

— Бросай, — тихо сказал Дима.

Автомат закачался на ремне над полом. Охранник чуть наклонился вбок, чуть присел, опуская оружие на пол — и вдруг сделал какое-то движение левым плечом, и пронзительная, слепящая боль взорвала череп — одновременно с выстрелом. Сквозь красную пелену Дима увидел, как падает, хватаясь руками за воздух, охранник. Потом упал сам.

**НИКА, ИЛИ СТЕЛЛА, ИЛИ АННАБЕЛЬ**

Засовы завизжали — верхний, потом нижний, — и, чавкнув, открылась дверь. Снаружи была ночь. Густой зеленовато-желтый свет факелов залепил глаза. Чувствуя себя еще более слепой, чем в темном, наглухо закрытом фургоне, Стелла замерла.

— Выходи! — грубый голос.

— Не видят оне, — другой, гудящий, низкий. — Эй, дамочка, давай сюда руку!

Преодолев оцепенение, Стелла приподнялась, протянула руку вперед. Ладонь ее тут же утонула в огромной лапище, сильной и желающей быть осторожной.

— Придуряются, — сказал первый голос.

— Рук им велено не вязать, а вести так, — сказал второй. — И обращаться вежливо. Ты хоть понимаешь, как это — вежливо?

— Морочут нам голову господа… Ладно, соблюдем. Давайте, остальные. Ты, черный — выходи!

Понемногу зрение вернулось. Стелла огляделась. Их окружала стена, слева высилась круглая башня, и зубцы ее четко выделялись на фоне мерцающего неба. Десятка два солдат стояли во дворе, следя за выгрузкой арестантов, и еще на стенах угадывались смутные силуэты. В свете факелов лица казались лицами трупов.

Пальмер поддерживал Адама, вымотанного столь дальней дорогой, и Иппотроп по обыкновению ворчал неразборчиво и боязливо. Даже выносливую, как сухой бамбук, Стеллу, покачивало на твердой земле. Солдаты с факелами окружили их, и бородач, распоряжавшийся здесь, молча повел к темной дверце, видневшейся в основании башни. Семь ступенек вниз, пароль, протяжный скрип, коридорчик, новая дверь…

— Вам сюда, — сказал бородач, отходя на шаг.

Откинулась зеленая портьера… Круглый зал, убранный богато и тонко. Шандалы со свечами, запах воска и трав. Горящий камин, кресла, расставленные полукругом, стоящий человек. Тот самый, «повелитель мух», Доверенный — так правильно. В мягком домашнем костюме, без колпака. Пепельные волосы — по плечам.

— Прошу вас, — вставая, он слегка повернул одно из кресел, приглашая Стеллу садиться.

Задержав дыхание, Стелла пересекла зал и села в предложенное кресло. За ней сели остальные. Хозяин — последним.

— Я надеюсь, вы простите меня за неудобства в дороге, — сказал Доверенный. — Это было неизбежно. Но теперь все — почти все — позади. Я сыграл свою партию. Вступаете вы. Вы не узнали башню?

Стелла покачала головой.

— Дворцовая тюрьма. Вернее, вход в нее. Сама тюрьма там… — он опустил руку к полу. — Предписано было бросить вас в камеру без выхода.

— А почему — не убить на месте? — спросила Стелла. — Как всех прочих?

Она удивилась своим словам, и Доверенный тоже удивился и пристально посмотрел на нее.

— Я думаю, этим вопросом вы уже дали ответ, — сказал он, наконец.

— Может быть, — сказала Стелла опять не свои слова. — Если так, то давайте поскорее покончим с неопределенностью.

— Одну минуту, — сказал Доверенный. Из кармана он вынул колоду карт и распечатал ее. Это были длинные и узкие гадальные карты сул-киэ, с чисто белыми, без рисунка, рубашками. — Возьмите карту, — он протянул колоду Стелле.

Твердой рукой она вытащила карту откуда-то из середины.

За ней карты взяли Адам, Иппотроп и Пальмер. Последним вынул карту Доверенный.

— Дайте мне, — он перетасовал маленькую колоду, потом стал выкладывать карты картинками вверх по закону сул-киэ. — Здесь и сейчас, — он посмотрел на Стеллу и едва заметно покачал головой, — вода и железо, ночь и веревка, путь дракона и путь зверя, конец и начало. Вот и все.

— Вы сомневались? — одними губами улыбнулась Стелла. — Где наши принадлежности?

Было противно и стыдно чувствовать в себе чужую волю и угождать ей — и вместе с тем пришло чувство близкого освобождения, и требовалось именно подчиняться этой чужой и, в общем-то, не злой воле и делать все как можно лучше.

Наверное, остальные чувствовали то же самое: Пальмер, стараясь не спешить, раскладывал на полу содержимое старого солдатского ранца, и Адам, не в силах погасить лихорадочный блеск в глазах, с деланным равнодушием рассматривал ножи с витыми рукоятками, ожерелья из темных камней, стертые временем монеты, кольца, кулоны, и Иппотроп, не знающий тайн, сидел неподвижно, вцепившись в подлокотники, и пальцы его побелели.

— Вот он, — сказала Стелла, когда рука Пальмера извлекла со дна ранца плоский зеленый камень с глубоко прорезанными неизвестными буквами. И когда она сказала это, легкий жар стал исходить от камня.

Доверенный вдруг встал и попятился, и Стелла, отметив это каким-то далеким и не очень важным краешком сознания, тем же краешком слегка усмехнулась.

Пальмер опустил камень на пол и отодвинулся от него, а Адам и Иппотроп, напротив, потянулись к камню, и Стелла подошла и опустилась на колени, протянув руки и повернув их ладонями вниз. Все уже делалось само, и важно было лишь не нарушить целостности происходящего. Призрачный, проходящий насквозь жар усилился, заставляя ежиться кожу. Скользкая волна приподняла руки Стеллы и опустила, и все остальные точно так же протянули руки и повторили это движение. Зеленое сияние, похожее на светящийся дым, стало подниматься от камня вверх, коснулось ладоней и заклубилось, образуя туманный шар. Шар стал подниматься, увлекая их за собой, и Стелла, потом Адам, потом остальные встали на ноги, подняли руки… шар висел над головами и светился все сильнее и сильнее, и в свете его стал виден холодный заваленный шлаком камин, голый, без ковров, пол из плохо подогнанных каменных плит, стены без драпировок и гобеленов, исписанные примитивными заклинаниями от нечистой силы — и тут шар оторвался от рук, и все четверо, обессиленные, рухнули на пол, будто кто-то разом обрезал поддерживающие их и управляющие ими нити — и Стелла увидела свое падающее и потом уже лежащее тело со стороны, снизу, от самого пола — и продолжала видеть, удаляясь, двигаясь куда-то спиной вперед, так что она не видела — куда, а видела только — откуда. Промелькнули зал, еще какие-то комнаты и переходы, двор, похожий скорее на колодец, потом пришла темнота — и острый звериный запах.

Аннабель выпрямилась и, подчиняясь инерции движения, сделала несколько шагов вперед, преодолевая слабое сопротивление — будто бы нитей, натянутых поперек хода. В синих мелких вспышках виден стал Берт, встающий с колен. Генерал и улан тоже были поблизости, их Аннабель не видела, но вполне чувствовала. Руки жгло незримым огнем, огонь вливался в тело, заставляя его расти и твердеть, и тело обретало вес брони и мощность взрывного механизма. Все вокруг заливал синий свет, и понимание, что свет этот исходит от нее, не удивило Аннабель. Она отлично знала, где она и ее соратники находятся, каков их маршрут и задача — ближайшая и отдаленная. Берт, огромный и страшный, приблизился к ней. Им не было нужды переговариваться, чтобы понимать друг друга. У генерала и улана была своя задача, и они уже начали выполнение ее. Стальные кружева старой клетки скрежетнули и рассыпались под ногой. Аннабель попыталась улыбнуться, но лицо не подчинилось ей. За решетками молчали испуганные до смерти звери — и лишь обезьяны глупо икали. Аннабель почти летела вперед, и Берт был рядом с ней: плечо в плечо.

— Моншер, — сказала Аннабель сухо, — я никогда не прощу вам того, что вы делали со мной, будучи зверем.

Но скрыть своих мыслей она не могла, и поэтому Берт ответил:

— А я — никогда не забуду.

— Что ж, — сказала Аннабель, — может быть, эта формула более точная.

Чугунные узорные ворота возникли на пути, и Аннабель легким движением плеч, подходя, выбила их — с воем повисли на петлях створки, и что-то — замки? — врезалось, высекая искры, в стену и ушло в небо рикошетом. Так же она могла выбить и стену, но это потребовало бы слишком больших трат — а в преддверии боя она не могла себе позволить их. Они вновь пересекли двор, куда их привезли и где выгружали из арестантского фургона — не их, а подменышей, конечно, но слишком большую часть их личностей несли подменыши, а иначе было нельзя, зверей заподозрили бы, — и метнувшиеся наперерез солдаты отлетели, оглушенные, а стрелы сгорели в воздухе, не приблизившись — Аннабель не желала убивать, еще много убийств предстоит им сегодня, и не нужно ненужных, — и шагнули в ту же самую дверь, и пересекли зал-ловушку, наивную и трогательную в этой наивности, и миновали четверых циркачей, понемногу приходящих в себя, и нашли след того, кто побежал докладывать, что ловушка не сработала и вся операция сорвалась, и вот теперь Аннабель выбила стену — рядом с камином — и скатилась первой по уходящей в глубину лестнице, а Берт, раскинув мысленную сеть, шел следом и прикрывал ее от внезапностей, и из боковой ниши прыгнули два одетых в невидимое черное гернота с пламенными мечами, но Берт успел ее предупредить, и Аннабель встретила их в готовности, и герноты растеклись по стене пузырящимися громадными пятнами. Это была первая засада на их пути и первая проба сил…

Сплоченный отряд ждал их в Золотом зале дворца. Около полусотни гернотов и людей в готовности к страшной схватке стояли, замерев, и умерли почти сразу — Аннабель нанесла удар всею своею силой, не оставляя им ни шанса. Кровавые валы докатились до стен и хлынули назад, но Аннабель и Берт неслись дальше, и двери дворцовых залов разлетались черной щепой при их приближении. Изощренная магия гернотов была бессильна перед ними — потому что их внутренняя сила сама отыскивала магические предметы и испепеляла, или выворачивала, или выталкивала в изнаночный мир… Рушились стены, каменные и мнимые, обнажая бессильные пламенные жерла и стальные невидимые косы, и распадались в пыль так и не успевшие ожить глаза василисков за мгновенно истлевшими портьерами, и замирали механизмы хитроумных ловушек над бездонными колодцами, наполненными каменным маслом — сдвоенной мощью нанесли удар Аннабель и Берт по базальтовому дракону, шевельнувшемуся в своем подземелье, и обломки не набравшего гибкости камня глубоко ушли в землю и успокоились там — а все новые и новые двери распахивались перед ними, летящими по сложной траектории, по ломаной спирали, сходящейся к тронному залу, а за их спиной начинало гудеть простое пламя, отрезавшее путь тем, кто был в тронном зале, и тем, кто хотел бы попасть туда — по долгу или по склонности. Аннабель знала, что еще одна такая же спираль чертится по верхним этажам дворца, а другая — по подземным тайным ходам, а по всей стране вблизи кладбищ или на развилках дорог вздымается земля, и из могил встают мертвецы, убитые и изувеченные креатуры Дракона, теперь имеющие силу и власть перед теми, кто их убивал, и черными призраками мчатся над землей туда, где магия гернотов искажает линии мира… сотни оживших снарядов, знающих свою цель.

В один миг — рухнули вместе с передней стеной парадные двери тронного зала, и проломился лепной старинный потолок, и вздыбился, разлетаясь, паркет работы мастера Мапэртиуса. Король Герман поднялся с трона, нечеловечески огромный и жуткий. Черная блестящая мантия обливала его.

— Ты пришла, — сказал он равнодушно, и эти слова значили что-то совсем другое.

— Да, я пришла, — сказала Аннабель — и в ее ответе, неожиданно для нее самой, прозвучал скрытый ответ на скрытый смысл слов Германа.

Ничто не зависело ни от нее, ни от него — просто один из них должен был сейчас окончательно умереть.

Аннабель окинула быстрым взглядом кровавые кляксы на полу и стенах. Их было много. Но герноты все еще оставались во дворце и вокруг дворца — и, опомнившиеся, они могли стать опасны. А здесь… здесь никто не имел права помогать или мешать ей.

Берт понял ее. И генерал, и улан — поняли тоже. Они прошли рядом с нею, и Аннабель увидела, что они ничем не отличаются от Германа. Наверное, она сама от него ничем не отличалась.

Она ударила первой — изощренный удар под правый локоть в середину тела. Не нужно было иметь клинок в руках, чтобы драться в этом бою. Герман отвел удар и закрылся, не нанося ответного.

Зачем все это, сестра?

Аннабель отступила на два шага, присматриваясь к его защите.

Ты знаешь сам.

Герман провел осторожный выпад и быстро вернулся в защиту.

Нет, я не знаю. Все было не так уж плохо.

А если попробовать так? Атака «салимджан»: два ложных замаха и удар в бедро. Мимо.

Не так уж плохо — если не считать господства чужих.

Герман провел ответную атаку, уже смелее. У него были тяжелые, но весьма медленные удары. Аннабель отбила их и нанесла прямой короткий в грудь. Германа отбросило к стене.

Господства? Значит, ты ничего не поняла!

Стена позади Германа рухнула, в пролом ворвалось пламя.

Чего я могла не понять?

Аннабель задержала последний удар. Герман вдруг опустил руки.

Поздно. Все поздно. Уже не объяснить. Уже не сделать. Бей.

Нет.

Бей!

Говори!

С грохотом рушилась кровля.

Мы проиграли, сестра. Мы, люди — проиграли. Когда бьются высшие силы

— проигрывают люди. Альбаст погибал, когда пришли чужие. Они усмирили магов и стали очищать мир. Они вернули мне разум — и не только мне. Еще немного, еще несколько лет — и Альбаст стал бы жемчужиной. Но магам в нем не нашлось бы места. Тебя послал Яппо?

Да.

Ты кукла, сестра.

А ты не кукла, брат?

На мне — просто доспехи.

Сними. Покажись.

Хорошо…

Миг — и высокий состарившийся мальчик стоял перед нею. А потом — черный вихрь смахнул его с лица земли и растворил в общем крошеве. Нет, нет, нет, кричала Аннабель, пытаясь освободиться от прежней личины, вновь овладевшей ее сутью. Дворец рушился вокруг, пылающие балки сыпались мелким дождем, и зарево поднималось над городом. Аннабель звала, но голос ее не был слышен. Стены были уже ей по пояс, и короткими ударами она расшвыривала их во все стороны. Пламя, замирая при ее приближении, вспыхивало за спиной с новой радостной силой. Сотни их было — разрушающих чудовищ. Аннабель металась в своем теле, ища выход наружу. Дверь, дверь, замок, защелка, кнопка…

Она ползла, пытаясь спрятаться от испепеляющего зноя, и клочья огня падали ей на спину. А потом чьи-то сильные руки подхватили ее и понесли — и на секунду она позволила всему пропасть. Ржание многих коней было тем, что вернуло ее на поверхность сознания. Ржание многих коней — лоснящиеся спины и вскинутые головы, и пламя близкого пожара отблесками на всем, что есть. Чья-то рука обнимала ее поперек груди, прижимая и удерживая в бешеной скачке. Лошадиная река утекала в темноту. Потом еще один всадник поравнялся с нею и что-то крикнул… крикнула. Это была женщина. Не было сил различить ее голос за ревом огня. За ржанием. За водопадным шумом копыт. Но она продолжала кричать, будто это могло на что-то повлиять и что-то изменить.

— Да! — ответила Аннабель. — Да, да, да!

Женщина махнула рукой.

У нее были светлые волосы и узкое лицо. Аннабель знала ее имя.

**ЛОТ**

Сначала все было как в вязком повторяющемся сне, и даже встречные фары в переулке — но здесь было где укрыться, и машина скользнула мимо, не остановившись. Выждав даже больше, чем нужно, Лот шагнул из подворотни, осмотрелся. Вернулся за Никой. Взял ее за руку, повел. Она шла покорно, уже не задавая вопросов. Это была не та Ника, которую он помнил. И он сам был не таким, каким помнил себя. Но оба они пережили насилие над собой, над своим естеством, и оставалась надежда, что все вернется.

Не бойся, подумал он, обращаясь то ли к ней, то ли к себе. Выберемся отсюда и сразу пойдем к эрмерам. Они знают, что нужно делать с такими, как мы. Они знают, что нужно…

У поворота, откуда появилась машина, он остановился. Направо, довольно далеко, видны были ворота — ярко освещенные и хорошо охраняемые. А прямо — и близко — серела стена: высокая, с колючкой и сторожевой сигнализацией по гребню. Но он и не собирался лезть через стену.

Почти идеальная зрительная память не подвела его: как и значилось на схеме, на углу дома напротив стояла телефонная распределительная коробка, и рядом с ней — штук шесть телефонных будок. Мальчишеская мысль возникла внезапно, как дурацкий смех: взять и позвонить отсюда Меестерсу… Дорогу они пересекли не спеша и деловито. Если наблюдают, то меньше вероятность, что заподозрят неладное. Впрочем, солдаты смотрят, скорее, наружу. Им мало охоты знать, что делается внутри закрытых кварталов. Так надежнее.

Хотя, конечно, могут быть — да и есть наверняка — и другие наблюдатели… Положимся на милость судьбы, потому что больше не на что положиться.

Перед коробкой, как и следовало ожидать, был люк. Автомобильной монтировкой — ничего более подходящего в лаборатории не нашлось — Лот приподнял крышку, подсунул под край ее ботинок, потом ухватился поудобнее и отвалил ее в сторону. По роду занятий ему приходилось спускаться в канализационную сеть — тамошние крышки были, кажется, полегче. Наверное, кажется. Сразу запахло горелой изоляцией. Пожар внизу? Лот принюхался. Вряд ли, запах стоялый. Он достал фонарь, включил. Скобы шахты были на месте. Спускайся, сказал он Нике, я за тобой. Она послушно полезла вниз.

Самое сложное оказалось — задвинуть за собой крышку. Лот сбил пальцы и запыхался, будто влез на двадцатый этаж. Давненько я не лазил на двадцатые этажи… Сердце вело себя на редкость достойно. Как солдат. Медаль, подумал он. Медаль и двухнедельный отпуск…

Все. А вот теперь — не потерять направления. Туда. Ника ждала. Одна и в темноте. Идти приходилось согнувшись, чтобы не задевать длинный липкий пух, свисающий с кабелей. Шагов через сорок путь преградила решетка.

Значит, идем правильно.

Лот вынул из кармана пилку, но, взяв в руку висячий замок, убедился: он не первый, кто тут шел. Дужка была перепилена у самого основания.

Спасибо, ребята, подумал Лот, за каким бы делом ни шастали вы сюда…

Потом он аккуратно закрыл за собой решетку и повесил замок на место. Вот мы и за стеной, с непонятной тревогой подумалось ему.

Вскоре туннель приобрел заметный уклон. Лот попытался вспомнить рельеф местности. Да, верно, здесь должна быть выемка, широкая такая лощина, ничем не занятая… и справа она упирается в набережное шоссе. Если выйти на поверхность где-то здесь, то за час можно добраться до жилых кварталов. Но — слишком уж близко от стены.

Наверное, под землей надежнее. Хотя, как говорят ремонтники, километр под землей — это три по улицам. Эффект близкого горизонта. Ничего. Дорога всегда кончается.

Спуск прекратился, туннель стал чуть шире. Воздух был сырой и почти горячий. В полу попадались решетки — над дренажными каналами. Сквозь решетки выходил смрадный пар. Завтра проверить, отметил про себя Лот. Впрочем, это не его район…

Туннель резко свернул вправо и шагов через сто влился в гораздо более широкий и высокий — и даже с проложенными по полу вагонеточными рельсами.

Странно. На плане коммуникаций этого не было… хотя, конечно, на планах коммуникаций много чего недоставало. Видимо, какая-то заброшенная хреновина на случай войны.

На случай войны, подумал Лот. Сегодня это почти ностальгически. Войны не понадобилось…

А что понадобилось? Что?

Не знаю. Вдруг все поползло и растеклось киселем… Будто вынули какой-то маленький, но главный гвоздик. И вот — все, как было, но — по отдельности. Каждая деталь на месте, но — сама по себе.

Не было гвоздя — подкова пропала… враг вступает в город, пленных не щадя…

Теперь идти было легче — не требовалось сгибаться. Ника равнодушно шагала рядом. Ничего, маленькая, посмотрел на нее Лот — и вдруг ощутил где-то в глубине остаток прежней нежности. Ничего, уже с робкой радостью подумал он, все образуется, все еще будет хорошо…

Низкое гудение коснулось ног, потом ушей. Было что-то впереди, и сначала Лот подумал: трансформатор, — но нет, у трансформаторов тон выше. Впрочем, все, что оставалось — это идти вперед и быть осторожным. Выходов на поверхность пока не было.

Он считал шаги и насчитал четыреста, прежде чем в луче фонаря возникло черное, не отражающее света пятно на левой стене — и блестящие, как рельсы, перила вдоль этого пятна. Гудение стало громким, угнетающе-пульсирующим. Оно напоминало что-то — совсем недавнее — но оно же и забивало саму возможность вспомнить. Наконец, они поравнялись с перилами и остановились.

Гул шел отсюда и вонь горелой изоляции — тоже. Почти невозможно стало дышать, но почему-то вдруг не получалось, зажав носы, пробежать поскорее мимо этой непонятной ниши. Лот направил в нее луч фонаря. Луч стал ясно виден, как бывает он виден в тумане или в пыльном воздухе мучных складов. И все же, привыкнув, глаза стали различать контуры нового пространства.

В перилах, где они стояли, была дверца, и от дверцы вела вниз узкая металлическая лестница с дырчатыми ступенями. Там, тремя метрами ниже, шла кольцеобразная галерея. Противоположный край ее почти терялся в тумане. До него было метров тридцать-сорок. Но там, кажется, была такая же лестница — уходящая к люку в потолке. Потолок решетчатый, и к нему и сквозь него идет этот туман — значит, там есть ход наружу.

Ниже галереи луч не проникал — туман был слишком плотен. Наверное, не туман, а дым. Потому и запах. Не опасно ли будет спускаться? Потравимся к чертовой бабушке… или задохнемся…

Есть же спичка и свеча! В пещерах всегда ходят со свечами — чтобы не влететь туда, где нечем дышать. И можно сделать даже проще…

Лот зажег спичку и уронил ее вниз. Искорка, не потухая, упала на настил галереи и еще секунду-другую догорала. Кислород есть…

Или все-таки пойти прямо? Он с сомнением посмотрел вдоль туннеля. Черт знает, куда могут привести эти рельсы…

Дверца не открывалась, заклинилась или заржавела, но перила были по пояс, и Лот перелез через них и помог перебраться Нике.

— Держи свечу, — сказал он, поджигая фитилек. — Старайся не погасить… — и улыбнулся. Ника неуверенно улыбнулась в ответ.

Ступеньки лестницы слегка прогибались, и вся лестница подрагивала под двойной тяжестью. И так же стал вздрагивать настил галереи, когда они на него ступили.

Свеча горела спокойно.

И даже запах гари стал не столь ужасающ. В нем появился странный арбузный оттенок.

До лестницы осталось несколько шагов, когда Лот краем глаза уловил какое-то мягкое движение в тумане. Он рефлекторно повел туда лучом.

Всего лишь плотные клубы тумана вздымались со дна этой шахты. Лот догадался, что это шахта — почувствовал бездну под подошвами. Но предвестие чего-то ужасного накатило еще быстрее, чем чувство бездны.

— Скорее вверх! — шепнул он Нике, и она послушно обогнала его и взялась за перекладину лестницы — и в этот миг настил колыхнулся, как понтонный мост под волной, и множественный электрический треск перекрыл теряющее громкость гудение. Из туманных клубов, взлетевших до решеток потолка, вдруг выплыли тонкие сверкающие нити. В луче фонаря они сияли всеми цветами спектра: красным, желтым, зеленым и синим. И эти же нити поднимались из отверстий в настиле — вокруг Ники, и уже оплели ее ноги и поднимались выше… и Лота, шагнувшего к ней, вдруг приподняло новой волной и отнесло назад, и он, еще не поняв беспомощности своей, продолжал бежать к ней, а его относило и относило назад — будто между ним и Никой с тихим шепотом взрывались пылинки спрессованного пространства, обращаясь в метры, еще метры, и еще метры, и десятки метров… он только видел, как застывает ее тело, и на обращенном к нему растерянном лице живут одни глаза, а в глазах вместе с поздней нежностью возникает чужое нечеловеческое наслаждение — нити оплетали ее всю, она сверкала миллионами точечных бриллиантов, остриями алмазных игл — Лот уже стоял в туннеле, вцепившись в перила и только так сопротивляясь мягкому, но могучему нажиму — а потом померк свет в глазах, а когда свет вернулся — неровным желтым пятном с поперечными серыми полосами — уже ничего не было. И сквозь внезапную пустую тишину Лот различил далекое позвякивание. Он сделал шаг назад и приложил руку к рельсу. Едут…

Он нашел себе место, чтобы пропустить вагонетки и не быть замеченным.

Верхом на шахтном мотовозе ехал человек в черном защитном комбинезоне, в противогазе и с автоматом на груди. Точно так же был одет машинист. К мотовозу была прицеплена платформа с чем-то бочкообразным под брезентом. Еще двое в противогазах сидели на платформе — лицами назад. Лот стоял, замерев — сзади горели не только красные огни, но и рассеивающая фара. Его могли увидеть. Не увидели…

Состав превратился в туманное пятнышко, а потом исчез совсем — видимо, за поворотом. Четыреста шагов, помнил Лот. Не ошибиться поворотом, не пропустить… здесь. Да, здесь. Незнакомо — но так всегда, когда возвращаешься. И ближе. Дорога короче. Так тоже — всегда.

Дорога короче…

Лот боялся только, что не сможет откинуть крышку.

Падая, рукой удерживая прыгающее сердце, он забил в щель телефона магнитную карточку и, не попадая по кнопкам и сбиваясь в счете и начиная снова и снова, набрал номер Меестерса.

**НОЭЛЬ**

— Полный бак? — механик удивленно посмотрел на Ноэля. — Это же пять часов!

— Угу. — Ноэль жевал спичку и старался лишний раз не смотреть на маску, прикрывавшую распадающийся череп механика. — Пять часов.

— Я не возражаю, конечно, но ваш друг… неважно выглядит, — механик заговорщицки кивнул в сторону Микка.

— Ничего, — сказал Ноэль. — Если он наблюет в кабине, я уберу. Сам.

— Пять часов болтаться над городом, — пожал плечами механик. — Ну, как желаете. Мое дело — предупредить.

— Предупредить, — повторил Ноэль.

Механик странно посмотрел на Ноэля и открыл кран. Стрелка медленно ползла по шкале бензомера.

— Спасибо, — сказал Ноэль и отдал членскую книжку Микка. — Могу заплатить сейчас, могу потом.

— Вам вышлют счет, не беспокойтесь.

— Я никогда не беспокоюсь. Ни о чем. А вы?

— У меня большая семья, — сказал механик и посмотрел в книжку, — сэр рыцарь меча.

Ноэль вернулся к машине. Микк стоял, как и десять минут назад, синевато-белый и мокрый от пота. Но — живой. За весь сегодняшний день Ноэль видел живых человек шесть-семь.

— Кабриолет подан, — сказал он Микку. — Мадемуазель Флора, — он наклонился и подал руку. — Прошу вас…

Флора гибко выскользнула из машины. Ноэлю она нравилась все больше и больше. У Микка хорошо поставлен взгляд, подумал он, я на нее и внимания бы не обратил… Флора тоже была живая.

— Ну, что, Виль? — спросил он Вильгельма — в последний раз. — А то, может?.. Одно место еще есть.

Вильгельм покачал своей целлулоидной головой.

— Летите, — сказал он. — Удачи.

— И тебе удачи, Виль, — сказал Ноэль.

Он подхватил сумку с эрмом и зашагал к самолету. Микк и Флора последовали за ним.

В кабине было чисто и прохладно — кондиционер уже работал. Микк, как понимающий толк в управлении самолетами, сел на пилотское место. Пилотским оно было, конечно, чисто условно: просто перед ним был выведен дисплей автопилота. Ноэль сел рядом, Флора — на заднем диване.

— Поехали, — сказал Микк и ткнул пусковую клавишу.

Пока автопилот хорошим голосом объяснял насчет поведения в полете, потом запускал двигатели и выруливал на полосу, Ноэль откручивал приборную панель. Собственно, добраться нужно было лишь до разъемов бортпроцессора. Самолет замер в начале полосы и пошел на взлет, а Ноэль продолжал копаться в выводах.

— Дай ему взлететь, — выжал из себя Микк.

— Болит? — посочувствовал Ноэль.

Микк откинулся на спинку. Ему было очень плохо.

— Если вы хотите послушать рассказ о нашем прекрасном городе, нажмите клавишу «Да», — сказал автопилот. Сенситивным устройством он оборудован не был. И это хорошо — иначе, имея на борту Микка, он просто не стал бы взлетать.

Клавишу, естественно, никто не нажал, и автопилот в молчании заложил вираж в сторону моря. Под крылом проплыл стадион. На поле гоняла мяч какая-то команда. Одна, сама с собой. Потом появилась серая, в узорах, похожих на спил дерева, полоса пляжа. Потом — море.

— Можно? — спросил Ноэль. Микк кивнул.

Ноэль совсем отодрал панель и сунул ее вниз, под ноги. Разноцветные ленты кабелей позволяли это сделать. Ага, вот у нас сам процессор — еще «ПИК 4xЕ», старина, надо же… а вот программный блок. А поступим мы… а поступим мы вот так…

— Принимай управление, — сказал он Микку.

— Уже все?

— Да. Но учти — здесь программа для истребителя, — похлопал он по эрму. — Так что делай поправку на моторчики…

— Джойстрика нет?

— Могу сделать голо.

— Давай. А педали?

— Вправо-влево? Поворотом головы. Закрываешь левый глаз и поворачиваешь голову. Ну, попробуй.

Микк попробовал. Призрачная ручка управления двигалась за рукой, и самолет послушно покачивался в такт этим движениям. Так же послушно, даже чуть торопливо он разворачивался, следуя поворотам головы.

— Отлично, — сказал Микк.

— Рутина вся на аппарате, — сказал Ноэль. — Устойчивость, курс. Твое дело — творческое.

— Так бы всегда, — сказал Микк. — Ну, что — спрямим курс?

— Нет, давай вдоль берега, — сказал Ноэль. — И еще долго — вдоль берега.

— А правда, красивый город, — сказал Микк. — Издалека особенно.

— Красивый, — сказал Ноэль. — Не плачьте, девушка.

— Я уже не плачу, — сказала Флора.

**ТАТЬЯНА**

Это были, наверное, самые страшные минуты — когда наверху гремели очереди, а она здесь, внизу, ничего не знала и ничего не могла сделать. Это было страшнее, чем бой с оборотнями на чешуйчатых конях и даже бой с драконом. Хотя тогда ей казалось, что самое страшное — именно это… И даже не очереди, нет — самым страшным была наступившая после тишина. Что же теперь? Она не видела никого, а ее мог видеть кто угодно — отовсюду. И Пончик — почти в обмороке и ничего не может… Это и есть паника, подумала она потом. А тогда, набросив на Пончика пропыленный чехол и ухватив наган зубами за скобу, чтобы не рыдать, полезла по стреле, по тросу, заглянула в окно — лучшей мишенью она никогда не была… Почему-то сначала она увидела только Диму — те двое, в темно-сером, не сразу попали в поле зрения. Только пробегая мимо, она поняла, что это люди, что это они стреляли… Дима лежал на спине, и из правого, залитого кровью глаза у него торчал нож.

Она сразу поняла, что он жив, что он без сознания, что от нее сейчас все зависит… И что торопиться не следует, а следует немного подумать, повспоминать и подготовиться — хотя бы морально. За без малого два месяца ошеровских боев она научилась многому. Так… снять ватник, снять рубаху, рукав долой — пригодится… долой оба рукава. Окса, миляга, ты знала, наверное, на что пойдут твои рубахи… Сразу — бинты. А вот этим — уберем кровь… Господи — глаз не вытек! Веко разрезано — зарастет! Лезвие вошло в глазницу, отодвинув глаз. Теперь бы не повредить, вытаскивая… Левой рукой Татьяна обхватила Димино лицо, удерживая голову, а правой — одним мягким и точным движением извлекла нож. Кровь — это ничего… это вытекает, которая скопилась. Потом она положила на глаз свернутую тряпицу, обвязала голову бинтом. Дима застонал и заворочался. Лежи, Димочка, не шевелись. Он услышал голос и расслабился.

Только потом она встала и подошла к тем, в серых комбинезонах. Один, лежавший близко и лицом вниз, был здоровым амбалистым парнем — таких она не любила. И не жалела, если с ними что-то случалось. А второй вдруг оказался похож на мертвого Мишку, каким он недавно приснился. Не лицом, а

— непринадлежностью к сильным. Нет, неправильно, Мишка был сильный, но это была какая-то не такая сила. Да, Мишка был сильный, а этот просто пацан. Пацана жалко, но он безусловно мертв: пуля попала в лоб. Дима стал классным стрелком…

Теперь стоило позаботиться о Пашке. Татьяна помнила, что у какого-то агрегата там, внизу, была сбоку приварена легкая лесенка ступенек на пять. Как раз — от стрелы до окна… Это заняло час. И еще час ушел на то, чтобы затянуть Пончика ремнями поверх ватника по ребрам. Он никак не мог поверить в то, что это уменьшит боль. Наконец, согласился: выдохнул и замер… Животом дыши! Вот так. Пончик выглядел глупо. Впрочем, после этого и по стреле, и по лестнице он вскарабкался, как обезьяна.

Дима уже пришел в себя и мучался жуткой болью. Ему надо было дать промедол или, на худой конец, анальгин. Надо было положить лед на рану. Ничего этого не было.

— Ты побудь с ним, — сказала Татьяна, — а я поброжу…

Пашка кивнул.

В магазине калаша осталось девять патронов. Татьяна взяла автомат амбала. Автоматик был маленький и ни на что не похожий. Но как обращаться с ним, было вполне понятно. Еще она забрала у амбала фонарь.

За дверью воняло пылью и плесенью, как и должно вонять в пустом доме. Эти двое, теперь уже мертвые, протоптали в пыли весьма заметную тропинку, и Татьяна, не особо раздумывая, пошла по ней — держа на всякий случай взведенный калаш у плеча стволом вверх. Вид был скучен — учреждение, из которого при отъезде забрали все нужное, но побросали старье и хлам. Окон не было видно нигде, лампы, естественно, не горели. Один раз ей попалось освещенное помещение: длинный, высокий и широкий коридор со светящимся, как в том круглом зале, потолком. Он напомнил Татьяне московский ГУМ. Вдоль всего коридора проходила выложенная мрамором канава с перекинутыми через нее мостиками разной формы. Захотелось зайти туда и посмотреть все подробнее, но дорожка шла мимо. А шагов через двадцать в проеме двери возникли тусклые множественные огоньки — как вид Ошерова с Катерининой сопки.

**МИКК, ИЛИ ПАВЛИК**

— Наверное, надо как-то попрощаться, — сказал Микк.

— Давай, — сказал Ноэль.

Они обнялись.

— Думаю, этого достаточно, — сказал Ноэль.

— Мы, наверное, уже не увидимся никогда, — сказал Микк.

— Ну и что? — сказал Ноэль. — Только ли мы?

— Ты прав. Ладно, счастливо добраться. И… а, ты все сам знаешь.

— Тебе тоже — счастливо добраться.

Микк, стараясь не оглядываться, запрыгнул в кабину, пристегнулся и дал газ. Самолет быстро разбежался и легко оторвался от асфальта. Набрав немного высоты, Микк заложил вираж и прошел над местом своего взлета. Ноэль, не поднимая головы, топал по шоссе. Идти ему еще оставалось часа два. Столько же, сколько Микку лететь.

Море появилось впереди — сверкающей полосой. А справа, страшно далеко, там, откуда они прилетели, висела темно-синяя, почти черная туча, висела низко и тяжело. Он оглянулся: Флора спала. Спала, почти повиснув на привязном ремне. Хорошо, подумал он, не надо ей этого видеть…

Море уже было внизу, синее, в белых черточках коротких волн. Самолет ощутимо подбрасывало. Ветер начинал тянуть в адскую топку. А может быть, и без всякого людского вмешательства ему было положено дуть именно так. И вдруг в море, в глубине, под этой острой рябью — он увидел лицо. Свое лицо. Огромное свое лицо. Оно медленно всплывало к поверхности… коснулось ее… и исчезло. Это было так отчетливо и так невозможно, что Пашка отшатнулся от окна. Самолетик — со стрекозу размером — удалялся неторопливо и солидно. И внезапно исчез — на фоне темных, отражающих свет круговых окон. Пашка долго ждал, когда он появится снова — но самолетик не появился. Тогда он вернулся к Дим Димычу.

Дим Димыч был почти плох. Эта новая рана добавилась к недавней контузии, от которой он даже не начал оправляться. Зачем его взяли такого? С десяток парней можно было найти, которые… Ха! А зачем взяли меня, Таньку, Марью Петровну? Все было не просто так…

— Пав… щи… воды… — невнятно — челюсти не разжимались — сказал Дим Димыч, но Пашка его понял.

Конечно, такое здание не может быть без водопровода, это ясно — но есть ли вода в трубах? Все это пахнет то ли разрухой, то ли эвакуацией. А если вода есть — в чем ее нести? Намочу рубаху, подумал он. Выйдя, он постоял, пытаясь логически решить, где может здесь быть туалет — и вдруг раздался крик — и автоматная очередь!

Кричала Танька.

На бегу передергивая затвор своего самопала, Пашка понесся на звук. Каким-то восьмым чувством — сломанными ребрами — он угадывал двери. Позади нервно частил Дим Димыч.

Еще очередь. И еще.

**ТАТЬЯНА**

Она вошла и стала на пороге. Да, это было логово тех — и это был центральный пульт, или командный пункт, или пост управления — в общем, что-то важное и существенное. По всему периметру зала тянулась непрерывная приборная панель: миллион самых разнообразных циферблатов, полукруглых и линейных шкал; иногда попадались темные, расчерченные сеткой, экранчики. У Мишки в комнате над столом висел учебный плакат: контрольные приборы «Ил-18». Что-то подобное было и здесь, но — возведенное в степень. И органы управления напоминали самолетные: тумблеры, переключатели, рычаги, штурвалы… И среди всего этого — висели трусы и портянки на натянутой веревке, валялись в углу пустые бутылки, на затейливом стеклянном столике сохло что-то в неубранных плоских кастрюльках: с такими официанты в поездах ходят по вагонам, разносят борщ и картошку. Два толстых дивана, аккуратно застеленных, стояли рядом.

Морщась, Татьяна пересекла зал и подошла к дышащему кусочку пульта. Горящие ровно и мерцающие лампочки. «Питание». «Настройка грубая». «Настройка точная». «Горизонт». «Склонение…» — какой-то непонятный символ. «Ввод…» — другой и тоже непонятный. Татьяна положила руку на штурвальчик, подержала и убрала.

Непрерывность пульта здесь прерывалась, и открывался невидимый от двери проход к окну. Татьяна постояла, прислушиваясь. Если ее там подкарауливали, то подкарауливали нечеловечески тихо. И все-таки она со всей возможной осторожностью проскользнула через узкое место — и вылетела, присев, готовая к стрельбе — на свободное.

Никого. Никого живого…

Между пультом и окнами было свободное пространство — метра два. И все оно было заставлено: бумажными домиками, игрушечными елочками, пластилиновыми фигурками… Такой же, как и под едой, стеклянный столик возвышался над этим — почему-то омерзительным — кукольным городом. На столе вокруг вырезанного из дерева члена, торчащего вверх, стояли фигурки зверей: крысы, кошки, собаки… нет, скорее, волка… обезьяны, оленя с рогами, оленя без рогов, коня, кабана, барана, быка и льва. Фигурки эти чем-то напоминали шахматные. Еще на столе были оплывшие свечи и прозрачная ваза, полная воды. На поверхности плавали чешуйки воска.

Татьяна шагнула к окну и посмотрела вниз. Мы там были как на ладони…

От окна она город узнала. Это был Ошеров. Уродливый, неправильный, но

— Ошеров. Школа, горком… Мишкин дом… Димин дом, архиповский… Она протянула руку и схватила со столика фигуру льва. У льва было знакомое лицо…

Леонида.

Она, наверное, сказала это вслух, потому что странное эхо вернулось к ней. И тут же что-то произошло с кукольным городом. Текуче-неуловимо он изменялся, будто бы отдаляясь и при этом набирая плоть и вес. Будто бы — готовясь стать настоящим. И — Татьяна напряглась — тихое, на грани слышимости гудение пришло из-под ног. Оно нарастало, вступая в права и вытесняя все прочее: звуки, запахи, свет… И городок ожил под его натиском.

Это было похоже на старинные механические театры. Крошечные фигурки людей сновали по улочкам, гротескно раскланиваясь, неуклюже входили в дома и выходили из домов… и какие-то уродцы, на которых она до сей поры не обращала внимания, сновали меж них, покачиваясь и изгибаясь. Гудение входило в подошвы и текло вверх, засасывая, как ледяная трясина. Что-то творилось с глазами. Лев дрожал в кулаке. Значит, так… значит, мы… Она ударила ногой по столику, и столик, руша все под собой и вокруг себя, беззвучно опрокинулся. Сволочи… Продравшись по ставшему вдруг слишком узким проходу обратно в зал, она замерла перед пультом, лихорадочно разбираясь в его кнопках и рубильниках. Сволочи, сволочи, шептала она, ведь надо же было такое придумать… а мы-то, мы-то…

Рычаг сбоку.

«Сеть».

Тугой. Всем весом…

Звук: бооуууу. Гудение.

Отовсюду.

Замерцали и зажглись лампы под потолком. И один за другим начали оживать пульты.

Будто невидимые руки касались кнопок, щелкали пакетниками, покачивали штурвалы. Вспыхивали целые панели лампочек — разом. Засветились зеленые экранчики.

Людской гул — как на демонстрации — донесся из-за окон. Заглушенный стеклом, он был далек и невнятен, но внушителен.

Татьяна попятилась. Моторный рев вплелся в голоса.

Это было почему-то так невыносимо страшно, что Татьяна закричала. И, чтобы заглушить страх, выстрелила — лопнул круглый экранчик — потом широким веером послала пули по всей панели приборов, бросила опустевший калаш — и из кургузого автоматика стала бить короткими очередями, нащупывая механическое сердце…

Стояли сумерки — то ли позднего вечера, то ли неначавшегося еще утра. Воздух был невыносимо свеж. В просвете облаков, как в колодце, неподвижно стояли огромные звезды. Дима ковырнул носком сапога шуршащие на ступенях листья, сказал:

— Вот и до осени дожили…

После укола морфина речь у него немного плыла.

Луч фонаря доставал лишь до ближайших деревьев. Что делалось за ними — видно не было.

— Пойдемте пока назад, — сказала Татьяна. — Будет утро, тогда…

— Будет день, будет пища, — сказал Пашка. — Еще немного подышим.

— Немного, — согласилась Татьяна.

— Птицы, — сказал Дима.

Все прислушались. Где-то очень далеко разбуженно булькнула ворона — и замолкла.

— Во сне разговаривает, — сказал Пашка.

— Если вороны — значит, жилье, — сказала Татьяна.

— Сейчас они везде, — сказал Пашка. — Это зимой…

— Правда, мальчики, пойдемте, — сказала Татьяна. — А то, если я упаду, вы меня не дотащите, калеки.